

с П
199373

САБИТ
ДОСАНОВ

ГОР-
НЯЯ
ДО-
ГА





**ГОР-
НЯЯ
ДОРО-
ГА**

САБИТ
ДОСАНОВ

РОМАН

Перевод
с казахского
ОЛЬГИ РОМАНЧЕНКО

МОСКВА
~~СОВЕТСКИЙ~~ ПИСАТЕЛЬ
1981

Сабит Досанов — известный казахский писатель. Первой его книгой были очерки о сегодняшнем дне Казахстана. Выступал С. Досанов и как критик. Им написана монография «Свежие следы», посвященная актуальным проблемам современной казахской литературы. В республике вышли в свет его повести «Доброе утро», «Песнь золотого ветра», «Судьба земли страждущей», «Орлы не дремлют» и предлагаемый вниманию читателей роман «Горная дорога», главные герои которого певица Купия и художник Кумарбек — люди, увлеченные своей профессией, не мыслящие себя вне творчества. Рассказывается в романе и о любви — сильной, мужественной, возвышенной.

ХУДОЖНИК Э. Б. АРОНОВ

ПРОЛОГ

Всю ночь напролет он промучился, не в силах сомкнуть глаз, и задремал лишь к рассвету.

Пробуждение было резким и неожиданным: вначале он услышал только голос, негромкий, мелодичный. Потом, будто из тумана — хотя в палате уже было совсем светло, — выплыло белое пятно халата. Кто-то сидел, наклонившись над ним.

С мучительным напряжением вглядывался он в молодое прекрасное лицо, черты которого дрожали и расплывались перед его глазами.

Брови взлет, похожие на крылья ласточки... Небольшой точеный нос... И этот глубокий мерцающий взгляд, полный бесконечной нежности...

Неужели Купия?

...Боги всеисильные, где я? И кто она такая? Если это лишь сон, отчего такое счастливое начало пугает тревожным предчувствием страшного конца? Или, может быть, просто своей неопределенностью? А та густая тяжелая тень в дальнем углу — уж не Шекер ли это? Да, она. Ни наяву, ни во сне не дает мне покоя.

Но кто же эта юная женщина, что с такой нежной радостью, с пытливой надеждой глядит на меня? И черные брови — стремительные крылья ласточки — трепещут, выдавая и тревогу ее, и надежду.

Неужели она, неужели Купия? Да, да, это так! Значит, заново разгорелась под пеплом искра в моем очаге, отыскалось утерянное мною, казалось, навсегда золотое колечко, соединившее две жизни. А если так, отчего же сердце не разорвется на части?..

Нет, не может быть. Откуда здесь окажется Купия? Ее больше нет. Совсем нет.

Где я нахожусь? У себя дома, что ли? О нет, не дома. Это больница. Ведь на женщине белый халат, на

голове у нее шапочка лечащего врача. Но сама она... О, чудо, бывает же такое сходство! Даже улыбка...

Видя, что больной открыл глаза и пристально смотрит на нее, врач улыбнулась, на светлом лице вспыхнул румянец.

— Не пугайтесь, Кумарбек. Все страшное уже позади, теперь вы скоро поправитесь, наверняка поправитесь,— произнесла она тихо.

Больной, собрав все силы, с трудом оторвал голову от подушки.

— Акбокен? Вы здесь?

— Да, это я, Кумарбек. Только умоляю, лежите спокойно. Вам вредно волноваться.

От волнения или от резкого движения, но больной вновь бессильно уронил голову на подушку, глаза его закрылись, лицо покрыла серая бледность. Побледнела и врач. Что делать? Она собралась было вызвать дежурную сестру, но передумала: поправила у больного подушку, удобнее уложила его на спину.

Ее удивляло и трогало до слез, что этот больной с самого начала относился к ней по-иному, чем к остальным врачам и служащим больницы. В первые часы и дни она видела в этом доверие, так необходимое врачу и самому больному для полного выздоровления. Потом ей стало казаться, будто больной хочет спросить ее о чем-то, но не решается. О чем? Конечно, о своем здоровье. И она, приходя в палату, задерживалась лишние минуты у его постели, старалась найти самые добрые и утешительные слова, пока не заметила однажды, что он ее не слушает. Просто вглядывается напряженно в ее лицо, но как странен его взгляд! Упорный взгляд, который не ищет ответа...

Охватившее ее острое чувство сострадания уже не проходило. Интуитивно она угадывала малейшие перемены в состоянии больного, но больше всего ее пугала апатия, странным образом сочетавшаяся с периодами мучительного нервного напряжения.

Вот и теперь — право, впечатление такое, будто он только что испытал тяжелое потрясение. Нет, оставлять его одного в такие минуты опасно. И врач вновь присела на стул, молча глядя в лицо больного.

Вскоре он глубоко вздохнул и открыл глаза. Нахмурился, закусил губу — видно, пытался и не в силах был

что-то припомнить, необычайно важное. Живое подвижное лицо выразило тревогу, удивление, затем горестное смятение. Взор потускнел, на глазах выступили слезы.

— Вам нельзя волноваться,— ласково, но твердо произнесла врач,— прошу вас, соберите все силы...

— Кто вы? Откуда вы здесь? Нет, почему я тут оказался?

— Помолчите, прошу, разговаривать вам вредно.

Неужели опять у него начинался горячечный бред? Женщина поправляла подушку, а больной пытался подняться, разглядеть ее получше. Новая попытка далась ему еще тяжелее первой — голова бессильно упала на руки доктора...





Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нет, конечно, он видел эту женщину раньше, много раньше, чем попал в больницу. И поразительное сходство, так мучившее его здесь, он уловил и тогда, с первой минуты, но тогда все было иначе, полна ожидания и надежд казалась жизнь.

Ему не требовалось напрягать память, чтобы вызвать воспоминания. Они катились чередой, то смутные, то болезненно яркие, иногда отрывочные, почти бессвязные, а в иные минуты подобные медленно разворачивающейся киноленте.

Течение событий остановилось, было лишь прошлое...

Стояла середина ноября. Желтизна проступила на

зеленых листьях, и тонкие стройные тополя оголялись постепенно. Однако не грусть увядания, а веселую пестроту красок видел в этой осенней картине молодой человек, бродивший по городскому саду.

Желто-зеленые листья багровели в лучах заходящего солнца, почти скрывшегося за горизонтом. Небо, казалось, стало еще выше, нежные прозрачные облака окутали седые вершины Алатау, и отраженный свет, пролившийся с гор, был похож на молочное сияние луны светлой ночью, а если чуточку напрячь воображение — на сверкающий Млечный Путь.

Небо еще дышало теплом, но с гор уже повеяло прохладой. Какие-то ночные цветы, будто восторженно, наполнили все вокруг своим ароматом.

Странно, и этот сад, и эти цветы, покачивающиеся головками под мягким ветерком, молодой человек видел не впервые, но никогда еще он так не ощущал радость бытия, никогда не впитывал так жадно впечатления окружающего мира.

Как светло вокруг! Как прекрасен и необъятен мир! И откуда это счастливое чувство обновления? Эта уверенность, что узкая тропа, называемая судьбой, будет покорно стелиться под твоими ногами?

О да, ведь это были дни, когда его приняли в художественное училище! Ноябрь? Или, может быть, последние дни октября?

И еще — он достал тогда газету с портретом Купии, молодой певицы, так поразившей его на одном из концертов, куда он попал почти случайно, во время службы в армии, в дни короткого отпуска. «Если она может так петь, какая же у нее душа?» — подумалось ему невольно.

Газету с изображением группы актеров он увез с собой в армию, — она давно истерлась, слишком часто он вынимал ее из кармана гимнастерки, да и фигурка молодой певицы была оттеснена там куда-то в сторону. И вот у него в руках была совсем свежая газета, и на одной из страниц этой газеты — большой портрет Купии, талантливой певицы, получившей приз на республиканском конкурсе.

Побродив некоторое время по саду, Кумарбек выбрал уединенную площадку, опустился на скамью, вновь развернул газету.

Глаза его смотрели на газетную страницу, но мысли витали далеко. Сердце билось, как строптивый конь. Перед глазами его возник образ Купии, улыбка, взгляд, обращенные именно к нему, только к нему одному. Он сложил газету и сидел, охваченный тоской и вместе с тем предчувствием неизбежной встречи.

Женщина... Олицетворение нежности и стойкости, прелести и таинственности. В тот день, когда женщины утратят свою прелесть, мир для мужчин померкнет. Не будь женской нежности, возможно, на земле взяли бы перевес звериные чувства. Без луноликих красавиц самый светлый день казался бы пасмурным.

Думая о Купии, Кумарбек невольно находил высокие, почти торжественные слова: она сама, ее задушевное пение, мечты о ней — все сливалось воедино, и Купия становилась как бы олицетворением того лучшего, что дарит миру женщина.

Мысли Кумарбека прервал радостный детский возглас: «Папа!» С веселым смехом к нему бежал, переваливаясь, пухлощекий малыш лет двух.

— Иди, иди ко мне,— позвал Кумарбек, поднявшись со скамьи и протягивая руки.

Но малыш вдруг остановился. Стоял и смотрел в упор, недоуменно хмурия бровки. Видимо, не мог сообразить, отчего папа оказался вблизи чужим дядей.

— Ну что же ты? Поздоровайся! — сказала молодая мать — она шла следом за ребенком.

Мальчуган улыбался смущенно и застенчиво. Кумарбек поднял его на руки, бережно погладил смуглый лобик.

— Как тебя зовут?

— Сагин.

— Ты чей?

— Мамин. И папин.

— А как зовут твою маму?

— Акбокен.

— Сколько же тебе лет?

Вместо ответа малыш показал три пальца. Кумарбек слегка замешкался, не зная, что подарить этому славному ребенку. И вдруг догадался: снял с лацкана пиджака яркий значок с изображением Абая и прикрепил на курточку малыша.

— Рости мудрым и талантливым, как дедушка Абай!

Ребенок хотя и не понял смысла произнесенных слов, но засиял весь и, сгибая головку то вправо, то влево, пытался разглядеть на своей груди значок. Молодая мать благодарно взглянула на Кумарбека.

— Сагин, скажи спасибо дяде.

— Спасибо, дядя.

— Мы помешали вам, извините. Пойдем домой, Сагин,— сказала молодая женщина,— не мешай дяде.

— Ну что вы, напротив! — возразил Кумарбек.— Я рад, что познакомился с таким чудесным мальчуганом.

Он опустил мальчика на землю, погладил его по голове.

— Будь счастлив, дорогой!

— И вам всего доброго,— просто и искренне ответила молодая женщина. Матовые щеки ее порозовели. Стараясь скрыть смущение, она поторопилась уйти, а Кумарбек долго еще смотрел вслед ей и мальчику.

Фигура молодой женщины не потеряла девичьей гибкости, шаги ее были легки, и походка казалась танцующей. Она шла, прижимая к себе мальчика, то и дело нагибаясь к нему, точно старалась получше взглянуться в дорогие черты.

Что в этом светлом мире может сравниться с красотой материнства?

Существуют на земле две великие силы, бесстрашные и непобедимые: одна из них — поэзия, вторая — героизм. Но и они отступают перед священным материнским величием... А может быть, растворяются в нем, сливаясь воедино?

И свет, и доброта, и все лучшее в мире сотворено из женского молока. Случалось, что самые кровожадные властители, известные своей жестокостью, не смели противостоят величию женщины-матери.

Кумарбек смотрел вслед уходящей женщине с необъяснимым трепетом... Нет, не потому, что был поражен ее обаянием. Поразило его другое: сходство этой женщины с Купией. И облик, и походка... А еще говорят, будто природа в своем творчестве никогда не повторяется!

Ах, Купия, Купия!.. Заветная, недоступная мечта моя, как больно сознавать, что я — внизу, а ты — на вершине, куда мне подняться почти невозможно. И все

же я верю, надеюсь. Это ты даешь мне силы, хотя и заставляешь мучиться. Не зная меня, ты помогаешь мне поверить в мои способности, в мое будущее, и тогда... Как знать, может быть, наступит день — и я смогу ощутить тебя рядом. . .

Кумарбеку не хотелось возвращаться домой, к родственникам, у которых он остановился, и он долго бродил по городскому саду. Потом, не выдержав, пошел к дому Купии — адрес ее он давно узнал в справочном бюро. В окнах света не было, и он отправился к Дворцу культуры, где — он и это знал — Купия каждый день бывала на репетициях. Бродя по тротуару, он пытался уловить нежные звуки знакомого голоса. . . Если бы он мог дожждаться ее, подойти уверенно, рассказать обо всем, что было пережито за этот последний такой трудный месяц!

Из армии он приехал в Высшее художественное училище, привез свои работы, переволновался страшно: ведь он мог начать тут учиться много раньше, в сущности, был уже принят и сам, из гордости, из стремления к самоутверждению оттянул срок начала занятий. И возвращение это сам он воспринимал как необходимость поступить в училище заново — не так уж много в армии оставалось времени для возни с кистями и красками, хотя его способности художника там были немедленно оценены, разной оформительской работы хватало.

Почему так получилось, что он поступил и в то же время не поступил в училище?

Тогда он был зеленым юнцом, во многом еще не умел разобратся.

Он окончил десятилетку в ауле и вместе с товарищами — некоторые были старше его по возрасту и не впервые пытались сдать экзамены в высшее учебное заведение, — так вот, вместе с этими парнями он и приехал в Алма-Ату. У него была лишь одна мечта: стать художником. Документы он сдал в Высшее художественное училище. Потом начались экзамены — вдохновение, охватившее его с первых минут, едва он вступил в стены училища, не покидало Кумарбека. Он не сомневался, что место его — только тут, и всеми силами стремился доказать это.

В училище экзамены отличались некоторой особен-

-ностью: будь ты хоть семи пядей во лбу, прежде всего требовалось проявить свои художественные способности — создать за несколько часов композицию на заданную тему. Собственно говоря, это и был первый, причем самый строгий экзамен.

Кумарбек с честью с ним справился. Члены экзаменационной комиссии похвалили его за умение обращаться с красками, не скрывали своего удивления, что паренек, приехавший из далекого казахского аула, так хорошо владеет рисунком.

Во время второго тура абитуриент сдавал экзамены, как обычно сдают их, поступая в высшее учебное заведение. Возможно, некоторые молодые люди слишком большие надежды возлагали на свой талант и не слишком тщательно готовились, во всяком случае, к концу экзаменов их осталось считанное количество. Самые доштные узнали, что по конкурсу проходят те, кто получил шестнадцать-семнадцать баллов. А у Кумарбека после сдачи четырех экзаменов было восемнадцать баллов. Двадцати не было ни у кого, и лишь у нескольких — девятнадцать. Но разве кого-то из них хвалили за рисунок больше, чем его?

Значит, вопрос о его поступлении можно было считать решенным.

И все же на душе у него было беспокойно: чем черт не шутит! Пока не поступил — не верь самому себе.

В минуту особенно горьких сомнений он побежал к двоюродному брату — Кенжегулу, сам не зная зачем. Должно быть, ему нужен был добрый слушатель, который развеял бы его сомнения. Однако Кенжегул воспринял этот приход как настоятельную просьбу о помощи и, вместо того чтобы рассеять тревогу и сомнения, вызвал новые.

— Восемнадцать баллов? — спросил он презрительно. — Бывает, и с двадцатью пятью не поступают.

— Двадцати пяти ни у кого не могло быть, — возразил Кумарбек.

— Почему не могло? Ты что, считаешь себя сильнее всех?

— У нас четыре экзамена, значит, если за каждый пятерка...

Но Кенжегула меньше всего интересовали арифмети-

ческие подсчеты. Он нахмурился, что-то обдумывая, потом сказал отрывисто:

— Ладно, помогу. Деньги нужны. Деньги есть?

Внутренне холодея, Кумарбек достал из кармана бумажник.

Кенжегул преспокойно отсчитал несколько бумажек, предупредил:

— На первое время хватит... Для начала, понял?

А в училище подводили итоги конкурса. Экзаменационная комиссия попеременно приглашала тех, кто считался выдержавшим экзамены. Абитуриенту откровенно высказывали мнение о его возможностях и тут же, при нем, советуясь друг с другом, решали его судьбу.

По выражению лица каждого, кто выходил из кабинета, можно было догадаться, каким было для него это решение. Кумарбеку казалось, что перед ним прошла бесконечная вереница человеческих гримас, похожих на театральные маски: застывшее выражение боли, а следом — маска слепого восторга, и тут же, рядом, — гордое молчаливое страдание...

Но вот наступила его очередь. Охваченный внутренней дрожью, он едва перешагнул порог комнаты, забыл поздороваться с членами комиссии.

Плотный мужчина среднего роста, сидевший у края стола, поднялся — в руках у него были документы Кумарбека, — кратко сообщил присутствующим данные абитуриента. Кумарбек почувствовал себя убийственно — ему стало казаться, будто его самого оценивают как некий товар, вызывающий сомнения.

Мужчина говорил, чуточку улыбаясь, и взгляд Кумарбека приковал золотой зуб во рту говорившего. Отчего-то подумалось, что коронка эта поставлена просто так, ради кокетства, и это было неприятно. Он укорил себя за нелепую, несвоевременную мысль, но ни о чем ином думать не мог: даже слова до него не доходили, зато он всем существом своим улавливал тон мужчины с золотым зубом и в тоне этом не ощущал доброжелательства.

Поднялся директор училища, и Кумарбеку сразу стало спокойнее. Он с надеждой смотрел на светлый открытый лоб директора и с облегчением перевел дух, прочитав во взгляде его доброту и живой интерес.

— Итак, у кого какое мнение? — спросил директор, просматривая переданные ему документы Кумарбека.

— По баллам проходит, нужно принимать! — сказал кто-то из членов комиссии.

Кумарбеку казалось, будто каждый из присутствующих слышит оглушительное биение его сердца. «Принят, принят!» — радостно стучало сердце.

Но радость продолжалась недолго. Из-за стола медленно, с достоинством поднялся человек лет тридцати пяти и вопросительно посмотрел на директора. Был он широкоплеч, высок и статен, с улыбочивыми карими глазами на смуглом лице. Директор, занятый документами Кумарбека, не заметил его. Статный джигит, чтобы обратить на себя внимание, негромко кашлянул, встряхнул длинными рыжеватыми волосами. Лицо его выразило неприкрытое раздражение, когда директор и на это не обратил внимания. Густые брови сошлись, сердито дрогнули.

— Разрешите, дорогой Еркин Нуржанович? — произнес он с натянутой улыбкой.

— А-а, это вы, Домбай Бекенович, просите слова? — Директор поднял голову, уселся прямо, всем видом своим выразив готовность внимательно слушать. — Пожалуйста, мы ждем.

Кумарбеку показалось, что взгляд директора, брошенный в его сторону, был исполнен ободрения и ласки. Директор как бы призывал Кумарбека спокойно отнестись ко всему, что будет говориться.

— Уважаемый Еркин Нуржанович, почтенные члены комиссии, — с пафосом заговорил Домбай Бекенович.

От первых же слов его у Кумарбека потемнело в глазах, в ушах зашумело. На лбу выступил холодный пот. Из долгой ораторской речи Домбая Бекеновича он понял лишь следующее: да, он проходит по баллам, но это ли главное? Молодой человек ничего еще в жизни не изведal, у него нет никакого жизненного опыта, стажа работы тоже нет. Не лучше ли будет, если он еще и еще проверит себя, а сдавать экзамены придется в другой раз? Быть художником далеко не то же самое, что стать, например, инженером. Ведь для художника и вообще для человека искусства, в какой бы области он ни пытался себя проявить, самое главное — связь с жизнью. . .

Директор, отложив в сторону документы Кумарбека, оглядел присутствующих. Глаза его выражали немой вопрос: «А что вы на это скажете, товарищи?»

Но, видно, оратор был влиятельным человеком, да и доводы нашел убедительные. В общем, никто не произнес ни слова в защиту Кумарбека. «Все пропало!» — подумал он в отчаянии.

— Кто еще желает выступить? — мягко спросил директор, окинув сидящих дружелюбным взглядом, но члены комиссии нерешительно переглядывались. Видя, что никто не собирается или не решается выступить, директор заговорил сам. Он сдернул с глаз очки в красивой костяной оправе и слегка жестикулировал ими, как бы стремясь подчеркнуть самые важные мысли.

— Товарищи, — произнес он низким звучным голосом, — выбрать среди поступающих наиболее талантливых — наш партийный и гражданский долг. Ошибка, допущенная здесь, малейшее нарушение справедливости — непростительный грех. Мы готовим художников. А перед нами сейчас стоит сложившийся молодой художник. Да, да, не обвиняйте меня в преувеличении: тут, в папке, рисунки, которые он привез с собой. Достаточно приглядеться к ним внимательнее, чтобы не сомневаться в природном даровании автора. Посмотрите на этот «Рассвет в ауле»... Как тонко художник чувствует природу! Или вот — «Укрощение коня». Обратите внимание на этот сложный ракурс. А как прекрасно передано движение, порыв, поединок между человеком и непокорным животным... Эти вещи Абенев рисовал еще находясь в ауле. Но вспомните, как он порадовал нас, когда сдавал спецпредмет, и композицией на тему труда, и натюрмортом, и пейзажем с натуры. Имеем ли мы моральное право не принять в училище юношу, способного так вникнуть в сложный мир красок? Еще раз... На следующий год... Будет ли разумным такое решение? Юный человек, лишь начинающий свой жизненный путь, похож на нежный вестник весны — подснежник. Насколько страшен для едва пробившегося весной цветка преждевременный ураган, так же опасна, если не губительна, первая неудача для молодого человека, еще не стоящего крепко на ногах. И особенно если неудача эта — плод несправедливости, равнодушия. Если мы не примем его на этот раз, как знать, поверит ли он вто-

и уладил все мигом. Иначе не видеть бы тебе этого счастья. Поздравляю с поступлением.

— Да, меня поддержал директор,— упавшим голосом сказал Кумарбек.— Спасибо.

— А я о чем толкую? Где за дело берется Кенжегул, там осечки не бывает. Или ты считал, что твоих талантов достаточно? Мы любого оседлаем.

Тонким голубым платком Кенжегул вытер потный лоб.

Он стоял перед Кумарбеком, молодцевато выпятив широкую грудь, а Кумарбек отводил взгляд будто виноватый. Директор... такой умный, такой обаятельный... Неужели намеки Кенжегула верны? Быть этого не может!

Стараясь не выдать своих чувств, не показать тревоги, Кумарбек сказал торопливо:

— Да, дорогой брат, я в долгу перед вами.

— Ладно, мне от тебя ничего не надо. Это я в долгу перед теми, кто помог тебе поступить. Придется мне их угощать. Остались у тебя деньги?

— Мало, только на еду и кое-что из одежды купить. В прошлый раз вы взяли у меня шестьсот рублей.

— Эх, дитя! Разве это деньги для них: сразу как не бывало. Ты лучше скажи, сколько у тебя осталось?

Холодные серые глаза Кенжегула смотрели на Кумарбека в упор.

— Двести.

— Не оставляй ни копейки, гони сюда.

Кумарбек замешкался, не зная, как поступить.

— Ты что, не слышишь? Надо их задержать, пока не разошлись. Не то директор решит, что мы сбежали, добившись своего.

— Вот, возьмите все,— Кумарбек поспешно вывернул карман, в самом деле не оставив себе ни копейки.— Значит, вы действительно думаете, будто директор...

— Мне думать нечего,— отрезал Кенжегул.— Если говорю, значит, знаю. Жаль, маловато денег, придется свои добавлять.

Он помусолил бумажки, небрежно сунул их в карман брюк, погладил широкими ладонями свое смуглое лицо со следами оспы, длинным носом и толстыми губами. Кумарбек впервые заметил — пальцы у двоюродно-

го брата были тоже толстые и неестественно короткие. С особенной остротой он подмечал в эти мгновения все то, чего никогда не видел прежде, и где-то в глубине души догадывался, что теперь он постоянно будет видеть в двоюродном брате вот эти отталкивающие черты. Такая мысль испугала его, и он спросил жалобно:

— Брат, вы и директора будете угощать?

— А ты как думал? Его-то в первую очередь. Ладно, не мучайся, сказал же, добавлю своих денег. Сходи к нам, обрадуй свою женеше, помоги ей по хозяйству. Что денег мне дал, можешь ей не говорить, понятно?

— Хорошо, ага. . .

Позже, вспоминая собственную наивность, Кумарбек и укорял себя, и сердито подсмеивался над собой. Но в то время. . . Мог ли послушаться старшего брата аульный мальчик, который по обычаю не имеет права перечить старшим? Вдобавок к этому, когда он уезжал сдавать экзамены, вся родня только и твердила: «Слушайся Кенжегула!»

Собственно говоря, никто в ауле толком не знал, чем занимается Кенжегул, какова его профессия, должность. Но его уважали, считали образованным, даже гордились им. Да и как было не гордиться, если по рассказам Кенжегула выходило, что он в Алма-Ате знал всех и вся и его все знали.

Если он приезжал в аул погостить, его буквально на руках носили, резали в его честь баранов и чуть ли не в каждом доме готовы были оказать гостеприимство.

Но удавалось ли кому-нибудь заглянуть в тайники скрытной души Кенжегула? Кумарбеку казалось, что он сделал это первый, но скольких страданий стоило ему неожиданное открытие! Он не в силах был поверить, что директор училища, произносивший такие прекрасные слова о молодых талантах, мог бы говорить иначе, был способен оказаться таким же недобрым, как Домбай Бекенович, не будь Кенжегула с его возможностями, связями и умением любого человека «оседлать», по его собственному выражению.

Кумарбек чувствовал, что не может с радостью и удовлетворением переступить порог училища, пока эти мучительные сомнения будут одолевать его. Дома у него лежала повестка из военкомата. Срок службы естест-

венно откладывался при поступлении в высшее учебное заведение. Он решил отложить на три года начало занятий.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Директор училища был поражен, когда Кумарбек пришел к нему сообщить о неожиданном своем решении. Он допытывался о причинах, объяснял, что не следует обижаться на слова Домбая Бекеновича, тем более что того никто не поддержал. Искренне взволнованный, директор и помыслить не мог, какой суровый экзамен сам он держит в эти минуты.

Его волнение тревожило Кумарбека, не знавшего, чему это приписать. На вопросы молодой человек отвечал коротко, односложно и истинное облегчение испытал, лишь услышав мягко и задумчиво произнесенные слова:

— Вы приняли смелое решение, далеко не каждый решился бы на это. Но если решение ваше твердо, если это не случайная вспышка, вызванная обидой, мы, ваши коллеги, можем лишь гордиться вами. Помните, что вы уже студент, двери училища всегда открыты перед вами, и продолжайте работать, где бы вы ни были. . .

Нет, нет, ничего общего не имел этот человек, державшийся с таким спокойным достоинством, ничего общего не мог он иметь с вездесущим Кенжегулом. Вряд ли вообще состоялся у них разговор о поступлении Кумарбека.

Наверно, Кумарбек испытал бы еще большее облегчение, вспомни он, что сам выложил Кенжегулу, кто и что говорил во время заседания экзаменационной комиссии. Если бы он защитником своим назвал Домбая Бекеновича, все, конечно, повернулось бы иначе. Жаль только, мысли эти пришли ему в голову много позже.

Вышел он из училища с ощущением самостоятельности, свободы и необъяснимой тоски.

Нелегко так вот сразу расстаться с родным домом, с мечтами, еще вчера блаженно тебя согревавшими, нелегко самому напряженным усилием воли отодвинуть исполнение самой главной своей мечты. Однако откровенный цинизм Кенжегула внес в душу его такую сумятицу, что он испытывал неодолимую потребность вер-

нуть себе душевное равновесие, и, если бы требовалась цена несравненно большая, он пошел бы и на это.

Из армии он дважды приезжал в отпуск, и точно так же, как рвался побывать в родном ауле, по которому постоянно тосковал, стремился хоть на час, хоть на несколько минут попасть в стены училища, подышать запахом красок, повидать товарищей, вместе с которыми выдержал страду вступительных экзаменов. Его не пугало, что они обогнали его, — он твердо верил, что наступит время и он если не обгонит, то несомненно догонит их всех.

Кое-кому казалось, что он забросил на это время живопись и рисунок. Они забыли или не задумывались, что в армии тоже нужны художники. В свободные от занятий часы он и там рисовал портреты новых своих товарищей, оформлял стенную газету, писал плакаты.

По возвращении в училище он сразу принялся за большое полотно. Назвал его «Алатау». Часами просиживал он у подножия гор, не ощущая усталости. Да ее и не было. Верно кто-то из великих творцов сказал, что чувство радости и удовлетворения — враги усталости. Работа безмерно радовала его, и рождалась уверенность, будто силы неиссякаемы.

Но наступил день, когда радость внезапно погасла, как залитый водой огонь.

По привычке Кумарбек поднялся в то утро чуть свет. И прежде всего стал разглядывать «Алатау».

Постепенно грусть овладела его душой, брови мрачно сдвинулись. В картине, так радовавшей его вчера, он теперь находил уйму недостатков. Где же светлые яркие краски неба, вечнозеленых деревьев, пластов снега, хрустально играющих в рассветном мареве? Гордые величавые вершины гор напоминали серые скалы, изъеденные ветрами, готовые тут же рухнуть. Краски были положены слишком густо, но не было в картине тех выразительных линий, того единственного мастерского штриха, который подчеркнул бы гордое величие гор...

Эта неудача — а он не ждал поддержки со стороны, он сам для себя назвал работу свою неудачной, — неудача эта сильно обеспокоила Кумарбека. Он то ложился, прикрыв глаза, то вскакивал и ходил по комнате, вновь и вновь размышляя, отчего постигла его такая беда.

Наконец он твердо решил начать все заново. Не сра-

зу, конечно. Требовалось время, чтобы успокоиться, прийти в себя, продумать и найти какие-то новые решения.

Ему хотелось отвлечься. И тут он вспомнил о своем школьном товарище, который учился в Талгарском сельскохозяйственном техникуме. Приезжая в Алма-Ату, тот уже сумел дважды навестить Кумарбека, а Кумарбек все еще к нему не выбрался. Решив воспользоваться воскресным днем, Кумарбек отправился в дорогу.

К обеду он был уже у цели, но, как говорится, беда не приходит одна: товарища не оказалось в общежитии. Он тоже использовал воскресный день, чтобы съездить к родным в аул.

Кумарбек побродил по Талгару, зашел в столовую. Возвращаться в Алма-Ату не хотелось. Он увидел на ДOME культуры афишу и купил билет, подумав, что концерт поможет ему развеяться окончательно.

Концерт уже начался, когда он входил в зал, переполненный до отказа. Поначалу это показалось странным, но тут же он укорил себя: удивительное дело, стоит стать городским жителем, как появляется такое недоверчивое, даже несколько пренебрежительное отношение к тем, кто еще вчера были твоими друзьями, — к их запросам, культуре. Конечно, об этом не говоришь, но где-то в самой глубине души оно зарождается и таится, это недоверчивое и в общем-то несправедливое, недоброе чувство. По какому праву?

Мысленно укоряя себя, Кумарбек тихонько пробрался на свое место. Отметил и то, что никто на него не шикнул, не выказал раздражения — все смотрели на сцену, и в этом напряженном внимании, в этой неспособности отвлекаться на досадные мелочи проявлялся тот обостренно чуткий контакт с артистами, который он ощутил почти мгновенно.

Разумеется, понимали это и артисты. На сцене царило высокое вдохновение, какое проявляется лишь в особо ответственных концертах. Благодарные улыбки чтеца, домбристов — в ответ на горячие аплодисменты — были такими простодушно искренними, что концерт начинал казаться почти семейным празднеством, где все знают друг друга и радуются общей радости.

Но вот на сцену вышла худошавая молодая певица в национальном казахском костюме, с тонким красивым

лицом. Словно белый лебедь, она плавно прошлась по сцене, и Кумарбек мгновенно узнал ее.

«Какая легкая у нее поступь», — подумал он невольно.

Направленный на нее свет показался ему ярким солнечным лучом. И в пламенеющем свете этого луча, неотступно следующего за ней, она сама была светлой и нежной, будто солнечный лучик, гибкой, как тонкая лоза. Бледное, чуть порозовевшее лицо соперничало белизной с шелковым платьем. Красный камзол подчеркивал гибкую талию. Тюбетейка с пучком перьев украшала ее черные волосы, сбегавшие вниз двумя плотными косами.

Кумарбек слушал ее пение. Каким лучистым, буквально ослепляющим был взгляд ее глаз с огромными черными зрачками, глаз — он не сомневался в этом, — смотревших прямо на него и только на него.

У молодой певицы был высокий голос, свободное дыхание, и песня звучала вольно и чисто. И еще удивительно своеобразны были переходы, когда начинало казаться, что песня льется как бы из нескольких серебряных горл, звенит на несколько голосов.

«Если она так поет, какая же у нее душа!» — вновь пришла в голову мысль, поразившая его когда-то, в дни краткого солдатского отпуска.

А душа ее и теперь была в песне, еще ярче, еще выразительнее, чем тогда.

Лицо твое прекрасно, как рассвет,
Глаза, сияя, излучают свет...
Спасибо матери, тебя родившей,
О ясновобая, мечта моя!

«Как много для меня заключено в этих словах тайного смысла, — взволнованно думал Кумарбек. — Отчего я не замечал этого прежде, хотя знаю, не однажды слышал самую песню? Не оттого ли, что песня эта, созданная давным-давно, как бы написана в адрес певицы? Да, слова эти достойны только ее одной, только ее...»

Он испытывал чувство легкого блаженного опьянения, удивительной раскованности, когда все движения твои становятся изящны, свободны. И сделала это она, молодая певица... Силой самой судьбой подаренного ей волшебства! Наверно, те же чувства испытывали и дру-

гие зрители — ее вызывали снова и снова, она пела одну песню за другой, старые, знакомые песни, а ему каждая песня как бы раскрывалась заново. Кто научил ее так оттенять каждое слово? Нет, этому научиться нельзя, это можно лишь почувствовать сердцем.

В те минуты Кумарбек не в состоянии был обдумывать свои впечатления, но одно представлялось ему бесспорным: этот концерт, этот вечер останется в жизни его чем-то необычайно значительным. Он выходил из клуба, исполненный окрыляющей радости, будто и ему открыла молодая певица нечто насущно необходимое...

Садиться в автобус не хотелось, и он пошел пешком. Ночь была светлой и лунной, небо казалось как бы высвеченным изнутри — в глубине его мерцали мириады звезд. Кумарбек шагал по узкому тротуару тихой улицы, щурился навстречу то приближавшимся, то удалявшимся электрическим огням. Голова чуточку кружилась, и все огни — и земные лампочки, и небесные звезды — сливались в один ритмичный хоровод. А музыка, песня, молодой голос, полный задушевной искренности, все еще звучали в ушах...

Долго шагал он так, почти без цели, пока, очнувшись, не взглянул на небо. Здесь оно было глубже, шире, чем в большом городе. А звезды казались ближе. «Говорят, у каждого человека бывает своя звезда», — подумал он, и вдруг захотелось отыскать в этом бесконечном хороводе и ему предназначенную, единственную звезду.

Может быть, она вон там, немного в стороне от других, яркая мигающая точка? Обжигающая, недостижимая... Светлая, как лицо Купии.

Это лицо возникло в памяти, оттеснив яркую звезду, возникло на фоне гор Алатау, и горделивые величественные очертания гор обрели девичью стройность. Как же он не замечал этого, когда писал свою картину? Потом он вспомнил лица зрителей на концерте, счастливые, сосредоточенные, благодарные. Он как бы воочию увидел тех, для кого работает, и от этого было и страшно, и радостно. Он добьется того, чтобы и на картину его они смотрели так же, добьется, иначе навсегда забросит кисти и сменит профессию.

В горах Алатау есть что-то и от них, от этих людей, да и могло ли быть иначе? Природа любого края род-

ственна людям, в нем живущим. Горы — это стойкость, сдержанность, но и богатство, — чаще всего скрытое от постороннего глаза, таящееся где-то в глубинах.

О Купия, как прекрасна и неожиданна была эта встреча!

Кумарбек шагал по узкому тротуару, то попадая в светлый круг от уличного фонаря, то углубляясь в тень, а губы сами шептали:

Я встретил вас, и все былое...

И снова:

Я встретил вас, и все былое...

Тютчев посвятил свои строки прекрасной женщине, встреченной после многих лет разлуки, но строки свои подарил миллионам людей, а в тот вечер он заново подарил их Кумарбеку.

«Я встретил вас, и все былое...» — упорно звучали в памяти слова, и Кумарбек верил, что его восторг сродни чувству давно ушедшего поэта. Он тоже встретил Купию спустя немало времени после того, как слышал ее совсем в ином месте. Газетную фотографию он превратил в портрет, о котором она и не догадывается.

Да, она не менее прекрасна, чем далекая возлюбленная русского поэта, но он, Кумарбек, — кто он сейчас? Всего лишь ученик, не справившийся с работой. Но нет, он справится, залогом тому святой пламень в душе — как его назвать? Мечтой? Счастьем? Великим ожиданием?

Он не ошибается, именно этой встречи он ждал так долго, ждал и искал. Именно эта встреча толкает его вернуться к работе, чтобы все начать заново...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Высокомерное поведение Кенжегула, когда они случайно повстречались в магазине, пробудило у Нагима самые недобрые подозрения. Еще месяц назад Кенжегул сочувственно следил за всеми его действиями, горячо одобрял желание устроить младшего брата в институт, а теперь, переманив деньги из его кармана, вздумал показать ему спину. Прямо как дурная лошадь, которая не подпустит к себе, стоит накормить ее вдосталь.

После встречи в магазине Нагим ясно понял, что брат его в институт не поступит, а деньги Кенжегул возвращать не собирается. Придется ни с чем уезжать обратно в аул. Конечно, можно было вовремя сказать брату, чтобы получше готовился, да ведь понадеялись на родственную помощь, считали, будто так оно надежнее...

Нагиму было особенно обидно попасть впросак: он считал себя человеком деловым, предусмотрительным, способным обвести вокруг пальца любого, а тут вдруг провели его самого! При этом надо было видеть, как нехотя, пренебрежительно отозвался Кенжегул на его приветствие и преспокойно ушел из магазина, даже не считая нужным объяснить что-то, извиниться.

Право, до этого случая Нагим ни разу в жизни не просчитался! Со своим шестиклассным образованием он держит в кулаке целый аул. С ним не в состоянии тягаться даже те, кто окончили институты или техникумы. Многие из них едва сводят концы с концами, а он уже много лет работает счетоводом — эта должность одна из самых почетных в сельской местности.

Раньше он работал главным бухгалтером в колхозе. После, когда несколько колхозов объединились и стали крупными совхозами, он и в совхозе держался некоторое время на той же должности благодаря помощи друзей. Однако удержаться не смог: в укрупненных совхозах, куда вошли и целинные земли, работали теперь люди из разных республик, приезжие, поэтому все деловые бумаги приходилось оформлять на русском. Нагим отлично разбирался во всяких счетах и нарядах, а вот по части русского языка был слабоват. Зато с чутьем, подобным чутью опытного шахматиста, он умел на несколько ходов вперед угадать, какие преграды возникнут перед ним в хитросплетении житейских обстоятельств. Интуитивно узнавал он и будущих возможных противников и ловко обходил их, как судно, ведомое опытной рукой, обходит опасные мели и рифы.

Он хорошо помнил поговорку: «Если время — лисица, будь гончей, не упусти его». И, надо сказать, он тонко улавливал все перемены в жизни, какие приносило время. Потому-то и не цеплялся он за должность главного бухгалтера нового совхоза, наоборот, не прошло и года, как он по собственному желанию перевелся

счетоводом в бухгалтерию одного из отделений. Авторитет его от этого только вырос.

И при этом новое место оказалось еще более выгодным — конечно, при условии, что человек, как говорится, умеет соображать. На Нагиме уже не лежала прежняя ответственность, зато губы от жира не просыхали. Работ в совхозе много, а потому много приходится закрывать нарядов, и здесь требуется особое умение. Нагим этим умением овладел в совершенстве, значит, как гласит пословица, для такого, как он, и верблюда съесть — не проблема. А можно и целую машину с грузом себе оставить, и груз чудодейственным образом превратится в шелестящие купюры, которые опустятся в карман Нагиму.

А чего только не сделают волшебные бумажки-деньги?

В них не просто богатство, в них и достоинство человеческое, и успех. Деньги помогают приобрести друзей, купить положение. Еще никому Нагим не позволил себя унижить. Конечно, с большим начальством все это немножко иначе: оно не очень-то дается в руки, но, откровенно говоря, на что Нагиму большое начальство? А вот начальство помельче он всегда сумеет заставить плясать под свою дудочку — кого хитростью, кого хорошим подарком.

Потому-то в ауле слово Нагима — закон, да и за пределами аула еще никто не обидел и не обхитрил Нагима.

О святая, несокрушимая сила денег, это ты поднимаешь человека, возносишь его над другими!

И, подумать только, его, Нагима, уверенного в себе, всемогущего, сочли за жалкую, слабую душонку!

Конечно, брат его провалился на первом или втором экзамене, но, если бы он все экзамены сдал или был уверен, что сдаст, для чего тогда стал бы Нагим делать денежные подарки Кенжегулу?

Потому-то Нагим и ждал преспокойно окончания экзаменов, чтобы увидеть фамилию младшего брата в списке зачисленных в институт. Должен же он, как старший, проявлять заботу о младших братьях и сестрах.

Однако после встречи с Кенжегулом в магазине Нагим понял ясно: его, делового человека, верного в слове,

втянули в сделку не просто ненадежную, а чисто жульническую. Эх, Кенжегул, Кенжегул, когда что-то делаешь, нужно о последствиях задумываться! Младший брат Нагим по твоей вине в этом году не станет студентом, но ведь и у того, чье доверие ты так низко обманул, есть в запасе кое-что против тебя. Ты не только обманул доверие, но и законы родства поправил: как-никак Нагим тебе приходится родственником, пусть и не самым близким.

Нагим привык в любых обстоятельствах принимать быстрые решения. Так и на этот раз, проведив Кенжегула злым взглядом, он стремительно бросился к телефону-автомату.

— Это кто? — отрывисто спросил Нагим, услышав мужской голос.

— Кумарбек.

Все понятно, отметил про себя Нагим, своего двоюродного брата они вообще у себя дома приютили и в институт наверняка устроили. Все понятно.

Помолчав, он спросил, не сочтя нужным поздороваться с Кумарбеком:

— Невестка моя, Жамал, дома?

— Да.

— Скорее позови ее к телефону, прошу тебя.

Жамал отозвалась немедленно.

— Жамал, дорогая, это я, Нагим.

— А, здравствуйте, Нагим-ага!

— Здравствуй, дорогая. Как вы живы-здоровы?

— Спасибо, Нагим, и живы, и здоровы.

— Жамал, дорогая, — Нагим говорил, запинаясь, — есть у меня к тебе дело. Просто не знаю, как быть, все не решался тебя потревожить...

— Говорите, ага, говорите.

— Нелегко говорить, дорогая, а не сказать тоже нельзя.

— Наверно, это с вашим братом связано? Я слышала, не сдал он экзамены. Но вы не стесняйтесь, говорите, возможно, я сумею помочь вам советом.

Так, про экзамены она знает, а про обещания своего супруга вроде бы слухом не слыхивала. Что ж, возможно, и так. Обманщик, он и есть обманщик, никого не щадит.

— Ну что ты, Жамал-джан! — нарочито весело ото-

звался Нагим.— Про это я больше и не думаю. Не поступил в этом году— поступит в следующем. В крайнем случае станет овец пасти, парень ведь, нигде не пропадет. А разговор у меня совсем о другом, даже и не знаю, с чего начать... Не меня это касается, многих других.

Нагим вздохнул со стоном.

— Что бы ни было, говорите, ага,— попросила заметно встревоженная Жамал.

— Да уж придется сказать волей-неволей. Я — честный человек, у меня душа болит за ваших малолетних детишек. Только не обессудь, дорогая, не подумай, будто я пустозвоном стал на старости лет...

— Умоляю, скажите, в чем дело,— голос у Жамал дрогнул.

— Если так, скажу. Кенжегула бес попутал, да так попутал, дальше некуда. Кто бы мог подумать, что так может испортиться человек?

— Что случилось? Что он натворил?

— Нет, нормальный человек не мог пойти на такое. Может, заболел он? Или какими молитвами его опутали? Ужас, как он опустился, дорогая. Спутался с какой-то скверной женщиной. Не просто путается, а завяз по самые уши в грязи.

— Да вы-то откуда узнали про это? Кто вам наплел?

— Эх, если б наплели, неужто стал бы я повторять грязные сплетни? Сам я видел, собственными глазами, я и братишка мой. Разговор у нас тогда был, но я не поверил, считал — одумается, детей своих пожалеет. А сегодня опять в магазине его увидел... Он ведь не вернулся?

— Нет, еще не вернулся, какое-то собрание у него.

— Говорю же, в магазине он был. Помнишь, я черный портфель ему подарил? Не для собрания же он вина и продуктов в него набрал, еле застегнул. Она, я заметил, на улице дождалась. По-моему, женился он на ней, а если нет — женится. В прошлый раз сам он так и сказал.

— Что именно сказал? Вспомните, прошу вас, ага.

Нагим с облегчением перевел дух. Главное было сделано: Жамал уже не могла скрыть волнения и ревности.

— Эх, дорогая, прости меня, если больно тебе делаю. Я его тогда спросил: «Кто она такая?»

— А он? Что он ответил?

— Он ответил так: «Считайте, что есть у меня невеста в десять раз лучше Жамал, только держите язык за зубами, обо всем узнаете после. Сейчас мы торопимся». Мой брат, мальчик, так и зашатался. Может, оттого и на экзаменах все забыл, волновался очень, все время спрашивал: «Что же теперь будет с тетей Жамал?» Сегодня я пошел ему навстречу, хотел пристыдить, о долге напомнить, да где там!..

— Нагрубил?

— Вовсе разговаривать не стал. Едва заметил, что я его укорить хочу, повернулся и пошел, нечестивец!

— Значит, это все правда?

— Ну как ты сама думаешь, Жамал-джан, решился бы я возвести такое на родственника и тебя вдобавок расстроить? Истинная правда, не видеть мне радости своих детишек, не доехать до своего аула, если я вру.

— Верю, ага, не клянитесь.

— Ох, как бы я хотел, чтобы это все во сне мне привиделось, как бы я порадовался! Но ты успокойся, прошу тебя, такого, как Кенжегул, всегда легко найти, вот только ребятишек жаль, с ними-то что будет? Из-за их слез и пришлось мне выдать своего родственника, иначе разве я решился бы...

— Вы могли бы повторить это все при Кенжегуле?

— И повторю, и докажу все при нем самом. Могу даже сказать, в каком районе она живет. Он оба раза в одном месте крутился.

— Где же?

— На Тастаке. Магазин там большой...

— Хорошо, спасибо! Вечером приезжайте к нам домой... — И Жамал, договорив последние слова убитым голосом, опустила трубку.

Нагим вышел из будки телефона-автомата удовлетворенный.

А Жамал тем временем загнала двоих детей в соседнюю комнату, заперла их там и, кинув Кумарбеку краткое: «Посхали!», стала торопливо надевать пальто. Кумарбек, который зашел рассказать о своем поступлении в училище, молча последовал за ней. Он не спросил, куда они идут, да Жамал и сама этого не знала. Кровь

бросилась ей в голову, она бежала как слепая. Ревность, боль, обида гнали ее вперед и вперед.

Пройдя несколько кварталов почти бегом, Жамал постепенно замедлила шаг и начала размышлять над своими действиями.

Она давно почувствовала, что Кенжегул охладел к ней и нашел усладу на стороне. Вначале она не решалась поверить в такое, но потом поступки Кенжегула, его равнодушие заставили ее всерьез забеспокоиться. Да и люди добавляли тревог. Нагим не первый проявил такое трогательное внимание к судьбе ее детишек: она уже знала по слухам, что причиной всех ее несчастий стала известная актриса. Жамал простить себе не могла почтительного поклонения, какое испытывала к ней прежде, слушая по радио в концертах. Однажды они оказались вместе на свадьбе, и Жамал удивилась, поняв, что муж давно знаком с этой женщиной. Зная многочисленные и разнообразные связи Кенжегула, она и тогда не заподозрила ничего дурного.

Напротив, она чувствовала себя даже польщенной, когда Кенжегул представил их друг другу.

Актрису звали Шекер Сарманова. Ей было около сорока, но догадаться об этом можно было лишь вблизи, заметив толстый слой грима и косметики. Вдобавок она сохранила стройность и была изящно одета, а стройная фигура и красивый костюм, как известно, весьма молодят женщину.

В тот раз она была буквально очарована новым знакомством и не скрывала это от мужа, имела глупость сказать ему, что, будь она мужчиной, Шекер покорила бы ее с первого взгляда.

И эта самая Шекер теперь заявляет права на ее законного мужа!

Еще бы ей не искать молодых мужчин: там, на свадьбе, муж ее казался рядом с ней стариком. Кто-то успел шепнуть, что он старше ее почти два десятка лет, если не больше. Да и Кенжегул не промах — на каждую интересную женщину заглядывается, причем особенно любит именно таких, модных, накрашенных. Как-то даже признался, что его всегда поражает женщина, умеющая сделать себя красивой. Это ему казалось ценнее истинной красоты и естественности.

Рыбак рыбака видит издалека — видно, эти двое на-

шли друг друга. Поговаривали даже, будто Шекер и Кенжегул встречаются в чьем-то доме в районе Тастака. И Нагим видел Кенжегула там же. Значит, все это правда.

Занятая своими мыслями, Жамал и не заметила, как добралась до дома Шекер. Ноги сами привели ее сюда, чего греха таить, уже не первый раз. Но если в прошлые разы она лишь осторожно проходила мимо, моля судьбу, чтобы не столкнула ее с мужем, то теперь она не сомневалась: необходимо что-то предпринять, необходимо действовать.

Что, если прямо войти в дом и спросить, где сейчас Шекер? Но какая от этого польза? Ведь Нагим сказал яснее ясного: она с Кенжегулом. Впрочем, нет, он сказал: «Наверно, ждет на улице...» Ну что ж, значит, уже дождалась. Где бы ни была она, этот вечер они проводят с Кенжегулом вместе.

Жамал почти зримо представила себе Шекер, которая жадно обнимает ее мужа, и застонала сквозь зубы. Испуганный Кумарбек подхватил ее под руку, пытливо заглянул в глаза, но она отвела взгляд. Не нужно было брать с собой мальчика. Но и одной тяжело.

«А что, если пойти и рассказать обо всем ее несчастному старику?» — подумала Жамал и уже сделала шаг к подъезду, но тут заметила двоих выходящих из дома женщин. Одна из них была Шекер.

Вместо того чтобы спокойно перейти на тротуар, Жамал засуетилась, круто повернула обратно, почти побежала через дорогу. Вскоре поблизости простучали тонкие высокие каблуки. Шекер, горделиво вскинув голову, прошагала мимо, скосила глаза на Жамал, но не поздоровалась. Шедшая рядом пожилая женщина что-то говорила ей, но она, похоже, не слушала.

Кумарбек проводил женщин взглядом.

— Какая она... — произнес тихо.

— Какая? — быстро спросила Жамал, и сердце у нее сжалось. Неужели и этот юнец потрясен искусственной красотой Шекер?

— Такая... хищная.

Обе женщины сели на углу в такси. Лишь тут Жамал пришла в себя, с невероятной торопливостью остановила одну из проходивших машин, расположилась на заднем сиденье, не говоря ни слова шоферу. Знаком

пригласила в машину Кумарбека и только после этого выпалила в лицо ошеломленному водителю:

— Отдам сколько запросишь, рабой твоей буду, только не высаживай нас, поезжай прямо по этой улице.

— Да куда ехать-то?

— Вон, видишь, далеко впереди такси? Догони, не отставай от него. . .

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Как и договорились, они встретились тогда в фойе театра.

Джигит, который, стараясь скрыть свое волнение, прохаживался по фойе, замер на месте при виде девушки, спускавшейся по широкой лестнице.

Девушка направилась ему навстречу, тоненькая, в светло-синем костюме и коричневых осенних сапожках. С мягкой улыбкой подала ему руку.

— Наконец-то мы познакомились,— сказал джигит, сжимая длинные белые девичьи пальцы.— Вы угадали, я и есть тот самый беспокойный Кумарбек Абенов, что не давал вам покою, надоедал бесконечными телефонными звонками. Как я рад познакомиться с вами!

Кумарбек старался говорить шутливо, а сам не мог унять дрожь в руках, которые обычно не дрожали, даже если он поднимал пудовую гирию.

— Спасибо,— сказала девушка.— Я заставила вас ждать, простите, репетиция затянулась.

— Ничего страшного.

— Долго ждали?

— Не знаю,— искренне сказал Кумарбек и смутился.

На миг оба замолчали. Кумарбек заговорил первым:

— Что же мы стоим? У вас здесь так уютно, может быть, сядем вон у того столика?

Купия молча кивнула. Они прошли к стоявшему у стены низкому столику, сели в удобные кресла друг против друга.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Кумарбек.

Тонкое нежное лицо Купии порозовело, она потупилась.

— Благодарю вас, хорошо.

— Все мы желаем одного: чтобы вы были в форме. Поверьте, слушая вас, обновляешься душой. Спасибо вам за это.

— Спасибо и вам на добром слове.

— Вчерашний ваш концерт был великолепен. За ваше исполнение «Соловья» хотелось отвесить вам сотню поклонов. . .

Купия сделала легкое протестующее движение, она явно испытывала неловкость. Да и Кумарбек смутился: стремясь искренне выразить свои чувства, он никак не предполагал, что речь его окажется столь цветистой.

Актеры расходились после репетиции, фойе стало наполняться людьми.

Со столиком, у которого сидели Кумарбек и Купия, поравнялась худощавая скуластая женщина; лицо ее вдруг напомнило Кумарбеку нечто давнее, полузабытое, однако он не мог сразу припомнить, что именно.

Женщина тоже глянула на него с любопытством, приостановилась. Было ей на вид около сорока — то ли больше, то ли чуточку меньше. Искусная косметика мешала определить возраст. Одета она была элегантно, только, пожалуй, излишне молодо: приталенное черное платье казалось коротковатым, коричневая шаль легкомысленно сползала с плеч, да и каблук у изящных черных туфель был чрезмерно высок.

Большие серые глаза с холодным любопытством оглядывали Кумарбека. Он заметил, что Купия вдруг вся сжалась, потом неестественно выпрямилась. Заметила это и женщина, так внезапно нарушившая их беседу, и изменилась как по мановению руки. Теперь на лице ее играла дружелюбная улыбка, глаза смотрели вопросительно и приветливо.

— Братец, дорогой, можно тебя на минутку? — произнесла она шутливо, глядя на Купию, хотя обращалась к Кумарбеку.

— Извините, я сейчас, — и Кумарбек, оставив Купию, последовал за незнакомой женщиной.

— Ты моложе меня, но все же попрошу у тебя прощения, что помешала беседовать с красивой девушкой, — игриво сказала женщина, когда они отошли в сторону. Кумарбек невольно отметил ее умение играть глазами — выражение их мгновенно стало почти страдальческим.

— Ничего, ничего, что вы! — поторопился возразить Кумарбек.

— Извини, мне кажется, я знаю тебя.

— Возможно.

— Ведь ты из газеты?

— Да.

— Познакомимся. Мое имя Шекер, фамилия Сарманова.

Женщина бросила беглый торжествующий взгляд на Купию, очень беглый, но Кумарбек внезапно вспомнил все: поспешно пойманную машину, расстроенную Жамал и такой же, искоса, надменный торжествующий взгляд. Вот почему лицо женщины показалось ему давно знакомым — ведь в тот единственный раз он увидел ее не на сцене, без театрального костюма и грима, так же, как и сегодня. И та же самая мысль заставила его вздрогнуть: «Какая она... хищная!»

— Я много слышан о вас, — сказал он сдержанно.

— Э, дорогой, спасибо, только скажи — обо мне ты слышан или меня слышал? У казахов не так уж много певцов, а мы как-никак и звание имеем. Кстати, как тебя величают?

— Кумарбек Абенов.

— Ну как же, знаю. Прекрасно знаю. Не однажды читала твои замечательные статьи. Хорошо пишешь. Талантливо. Твои вещи я всегда читаю с особым удовольствием.

— Извините, я не пишу статей.

— Это ты меня извини. Я хотела сказать про стихи.

— Да я и стихов не писал.

— Совсем меня запутал... — Женщина говорила, ничуть не смущаясь, но мастерски изобразив смущение. — Кажется, ты драматург.

— Нет, не угадали.

— Э-э, ты только что сам сказал, что работаешь в газете. Или я ослышалась?

— Да, работаю в газете.

— Так что же ты пишешь?

— Ничего.

— Как это «ничего»? Разве тебя стали бы там держать?

— Художник я, оформляю газету. Учусь в училище, а работаю по совместительству.

— Вон оно что! Купия землячка твоя или родственница?

— Ни то, ни другое. Мы только сейчас познакомились.

— О, пыл молодости, значит. Хорошо, хорошо.., Прекрасная девушка, красивый джигит. Мы все прошли через это. Если нужна будет помощь, охотно сосватаю вас.

— Вы снова не угадали, я здесь по заданию газеты.

— А мне снова приходится просить у тебя прощения, дорогой, за мое любопытство. Какое же это задание?

— Буду рисовать портрет.

— Чей портрет? Купии? — быстро спросила Шекер. Лицо ее, минуту назад доброе и смеющееся, обрело внезапную жесткость.

— Да, ее.

— Для газеты?

— Конечно.

— Когда она выйдет? Какого числа?

— Не знаю, время покажет.

— На этой неделе, что ли?

— Что вы! — засмеялся Кумарбек. — Написать портрет — дело нешуточное, для меня, во всяком случае. Требуется время.

Шекер заметно успокоилась, глаза ее опять заулыбались.

— Отвлеклись мы. Я ведь собиралась говорить вовсе не про Купию. Ты нужен мне по одному делу, поэтому я тебя и отозвала.

— Пожалуйста, говорите, — произнес Кумарбек, осторожно поглядывая в сторону Купии, которая сидела пригорюнившись. Шекер заметила его беспокойство.

— Задержала я тебя сильно. Видать, Купия заждалась, — сказала она с улыбкой. — Вот здесь все мои координаты, — Шекер протянула свою визитную карточку. — Сегодня вечером или завтра позвони мне по телефону. Как-никак ты помладше меня, не мне же тебя искать.

— Хорошо, — торопливо сказал Кумарбек, желавший лишь одного: поскорее прекратить затянувшийся разговор.

— Мы должны специально встретиться и поговорить обо всем. Не забудь, ладно? Буду ждать с нетерпением.

← Нет, нет, не забуду.

— Родненький, так и сделай. Поверь, разговор будет важный, интересный для нас обоих.

— Верю, верю,— ответил Кумарбек, не спуская глаз с Купни.

— Всего доброго, до встречи, молодой джигит! — Шекер задержала его руку в своих ладонях, тихо рассмеялась. Взгляд ее был на этот раз многозначительным. Однако Кумарбек не решился бы заподозрить ее в кокетстве: он предположил, что речь может пойти о Кенжегуле, и внутренне сознавал полную невозможность подобного разговора.

— Будьте здоровы,— сказал он вслед Шекер, которая уходила танцующей походкой. Она прошла мимо Купни, гордо закинув голову, нарочито отвернувшись.

— Вы заждались меня,— сказал Кумарбек, присаживаясь возле Купни.

— Нет, нет, ничего,— возразила Купня. Чуть помолчав, она добавила: — Вы знакомы с этой женщиной?

— Нет, знаю только издали.

— Вы беседовали долго, как старые знакомые...

Купня опять умолкла. Молчал и Кумарбек, не зная, как вернуться к внезапно прерванному разговору. Он не мог припомнить ни одного из тех, как ему казалось, проникновенных и задушевных слов, с которыми так часто мысленно обращался к Купни. Даже сегодняшнюю беседу он для себя отрепетировал заранее, и хотя с самого начала все пошло совсем не так, теперь ему стало казаться, что Шекер, именно она, внесла полную сумятицу в его мысли. Все-таки что ей нужно от него?..

— Я вас слушаю,— мягко напомнила Купня.

— Все так, как я вчера объяснил вам по телефону: мне необходимо написать ваш портрет... — Кумарбек слегка замялся,— для газеты.

— Сколько это займет времени?

— Не очень много. Достаточно будет встретиться несколько раз,— произнес Кумарбек осторожно, боясь, как бы она не отказалась.

— Хорошо, я согласна,— проговорила Купня после недолгого раздумья.— Об одном только прошу: по возможности не задерживайте меня надолго. Сейчас я очень занята.

— Спасибо. Итак, мы договорились. Большое, большое вам спасибо!

— За что же?

— За согласие.

— Ну что вы! Это, наоборот, я должна благодарить вас.

— Почему?

— За оказанное внимание.

О Купияш, думал Кумарбек, мысленно переходя на «ты», теперь ты никуда не денешься от меня. Неужели ты искренне веришь, что меня привело к тебе лишь поручение написать твой портрет? Да прежде всего это был мой собственный замысел, я сам предложил редакции написать твой портрет для газеты. И написать его мог бы за одну, самое большее — за две встречи. Но я-то хочу написать настоящий портрет, для себя, и уже с него сделаю тот, который нужен газете. А ты за это время, может быть, поймешь, что именно привело меня к тебе...

— Вы позволите мне кое-что рассказать вам? — спросил Кумарбек, которому эти мысли придали решимости.

— Пожалуйста.

— Но у меня просьба: не перебивайте, не смейтесь. Выслушайте. И поверьте, что все, о чем я буду говорить, — истинная правда.

— Все так торжественно, мне даже страшно.

— Вы уже смеетесь.

— Поверьте, нет. Слушаю очень внимательно...

Кумарбек говорил долго, на этот раз стараясь быть сдержанным в проявлении чувств. Рассказал о том, где и когда увидел и услышал впервые Купию, какое душевное волнение испытал. Перебрал события своей жизни после того памятного дня — без горечи, скорее с юмором.

Ни единым намеком не выдал он чувства, которое для себя давно уже определил кратким словом «люблю». Ему казалось кощунством, оскорблением для них обоих заговорить об этом при первой встрече.

Сидел молча, потупившись, как бы показывая всем своим видом: «Больше сказать мне нечего, остальное решай сама». Он испытывал огромное облегчение, знако-

мое почти каждому, кто долго нес в душе своей груз невысказанной тоски и надежд.

Купия то краснела, то бледнела, слушая рассказ Кумарбека. Она не скрывала своего волнения — ее взволновал этот внезапный порыв откровенности со стороны человека, которого она едва успела узнать. Женским сердцем она угадывала в откровенности Кумарбека тягу к бóльшей близости и невольно сама поддавалась обаянию чужой искренности. В то же время она была благодарна Кумарбеку за его сдержанность. Скажи он лишнее слово — и обаяние рассеялось бы. . .

Когда Купия и Кумарбек вышли на улицу, уже наступил полдень. Стоял теплый осенний день, краски неба, зелени, подернутых желтизной листьев были особенно густы и сочны.

Дошли до остановки. Ему показалось, что она немного боится его, так застенчиво и робко протянула она, прощаясь, руку.

Круто повернувшись, они зашагали в разные стороны. У Кумарбека мелькнула мысль, что ей, наверно, нужно было сесть тут на автобус. Уж не торопилась ли она убежать поскорее?

ГЛАВА ПЯТАЯ

В те дни Купия работала буквально не зная передышки.

Утром, едва поднявшись с постели, она спешила в театр. Там ее ожидала репетиция, которая иногда затягивалась до обеда. После репетиции — домой, чтобы через несколько часов опять вернуться в театр: вечером либо репетиция, либо спектакль.

Вот так — ежедневно.

Окружающим будто мало показалось этого: ее нагрузили и общественной работой.

Их театр заключил договор о творческой связи с молодым городом Капчагаем, расположенным под боком у столицы. Раньше общественные обязанности Купии сводились к тому, что она с небольшой группой артистов выступала с концертами перед тружениками города. Теперь, вдобавок ко всему, ее обязали заняться выпуском стенной газеты в театре.

В один из таких до отказа загруженных дней в кол-

лективе театра состоялось открытое партийное собрание.

Собрание было намечено на три часа дня. Когда Купия вошла в зал, почти все уже были в сборе. Люди рассаживались, как обычно, в порядке, продиктованном должностями и званиями. Первые ряды заняли дирижер, художники, балетмейстер, режиссер, администратор, за ними — музыканты. Дальше — солисты, хор, кордебалет...

Купия беглым взглядом окинула зал, увидела с краю справа, в одном из средних рядов немолодую, чуть сутулящуюся женщину.

— Иди, иди сюда, Купия, — позвала та, — сядем вместе.

— Спасибо, Зода-апа! — поблагодарила Купия, усаживаясь на соседний стул.

— Ты была дома?

— Разве я бы успела?

— Где же ты обедала?

— Перекусила в нашем буфете.

— Ах, какая жалость! — начала сокрушаться Зода. — Знала бы я, пригласила бы тебя к нам. Ну что ты за человек, Купия! Ведь знаешь, что мы живем под боком у театра, могла бы и забежать при спешке. Теперь будет голова болеть из-за сухомытки.

— Ничего, потерплю.

— Хорошо, если собрание продлится не более трех часов.

— Ну что вы, неужели так долго?

— Это не долго, если разговор идет серьезный и нужный. Хуже, когда трибуну захватывают любители словоблудия. Ты же знаешь Шекер: она одна способна говорить целый час, причем повторять то же самое по нескольку раз.

— Может, она откажется сегодня?

— Даю голову на отсечение, заговорит нас всех. Разве прошло хоть одно собрание, чтобы она не говорила? Человек, который хочет себя показать, никогда не откажется лишний раз покрасоваться на трибуне. Даже если сказать ему не о чем.

Зода умолкла, ожидая слов Купии. Ей явно хотелось высказать и обсудить давно накипевшее. Не дождав-

шись ответа, она заговорила вновь, но тут в зале прозвучал строгий сильный голос:

— Товарищи, попрошу тишины!

На сцене, из-за стола президиума, поднялся высокий светлолицый человек. Это был секретарь партийной организации театра Алмас Аубакиров. Как всегда, он четко и быстро провел организационную часть собрания и, когда члены президиума заняли свои места; передал слово для доклада директору театра.

Директор поднялся на трибуну, стоявшую справа от стола, и, не торопясь, обвел глазами переполненный зал. Надел очки и заговорил, откинув назад густые черные волосы. Начал он свою речь почти шепотом, с долгими паузами, затем голос у него окреп, слова полились быстрее. Он лишь изредка взглядывал на листок бумаги, который держал в руке. Казалось, он напряженно следит за реакцией и настроением людей, заполнивших зал. Рассказав о сегодняшнем дне театра, о его творческих достижениях, директор напомнил всем, что впереди их ждут трудные, но славные дела и что коллектив театра всегда с честью справлялся с поставленными перед ним задачами.

Все было правильно в этом докладе, но люди в зале начали томиться, а докладчик, почти неотрывно смотревший в зал, почему-то не улавливал настроения слушателей. Да, все было правильно, только правильные эти тезисы следовало оживить чем-то очень конкретным, близким каждому из присутствующих. А ведь жизнь коллектива складывалась нелегко!

Однако директор как бы умышленно отгородился от всего конкретного частоколом верных, но заимствованных установок. Купия почему-то подумала, что речь эта напоминает диаграмму без цифр, каркас без покрытия. Она заметила: люди остались равнодушны, несмотря на умелые ораторские приемы директора. Общие слова ни в ком, похоже, не нашли отзвука. В зале стоял приглушенный, но непрерывный шум, какой свидетельствует обычно о гаснущем напряжении: кто-то шевельнулся, обратившись к соседу или принимая более удобную позу, кто-то кашлянул либо перекинулся словом с сидящими рядом. . .

Все, что произносилось в эти минуты с трибуны, было верным, но это было не о них, не об их тревогах,

волнениях, удачах и неудачах. В то же время им предлагали поверить, будто речь идет именно о том, что повседневно связано с ними, и будто человек, стоявший на трибуне, знал о них больше, чем они сами о себе, знал их вчерашний и сегодняшний день, зорко прозревал будущее.

И в этом была та фальшь, которая создавала незримый барьер разобщения между докладчиком, произносившим звучные, красивые слова, и слушателями, равнодушно внимавшими ему.

У председательствующего на руках был список желающих выступить. После директора на трибуну поднялись несколько человек, но и в этих выступлениях не было ничего, способного всколыхнуть зал, заставить людей прислушаться, взволноваться. Все тот же монотонный приглушенный шум стоял в воздухе.

Люди насторожились лишь после того, как председательствующий объявил:

— Слово предоставляется известной актрисе театра, председателю местного комитета Шекер Айдархановне Сармановой.

Все знали, что выступать Шекер Сарманова умеет: она могла и рассмешить людей, и стравить их друг с другом, и повергнуть в состояние тревоги. Говорила она всегда горячо, страстно — независимо от того, сладко или злобно звучали ее слова.

Купия многозначительно посмотрела на свою соседку, Зода-апа молча пожала плечами, не без досады признавая, что лишь одна Шекер может изменить настрой собрания, утомившего людей однообразием и монотонностью.

Шекер поднялась на трибуну, сияя дружелюбной улыбкой. Прежде всего она заверила, что полностью присоединяется к мнению директора и всех, кто выступал до нее. А присоединившись, немедленно упрекнула руководство театра в пренебрежении к завтрашнему дню прекрасного, заслуженного коллектива.

— Конкретнее! — прозвучал в полной тишине чей-то голос.

— О да, — ласково отозвалась Шекер. — Лишь конкретность помогает преодолевать недочеты и ошибки...

Проникновенно, придавая каждому слову особую значимость, она стала говорить о том, что руководство по-

рой безответственно относится к приему на работу новых людей.

— Наш театр, — сказала Шекер, — это не обычный рядовой театр. Значит, работать в таком театре для всех представителей искусства, особенно для молодых, должно быть недосыгаемой, как луна, мечтой. . .

Легкое движение произошло в зале, и Шекер мгновенно отозвалась на него:

— Кому-то слишком сильным может показаться слово «недосыгаемой». Что ж, я все равно не откажусь от него, потому что самое искусство, в высших его проявлениях, также представляется людям недосыгаемым. А между тем творят его именно люди. Да, люди, но далеко не каждый! И вот об этом-то порой забывает наше руководство. Принимая в коллектив нового человека, всегда ли оно прислушивается к мнению местного комитета? Необходимо прекратить эту практику — приглашать из филармонии кого попало, за молодость, за красивые глаза. Красота и молодость еще не делают человека артистом. Если выбирать за внешность, в Казахстане достаточно красивых женщин, зовите к нам всех подряд. Но не лучше ли помнить поговорку «Свое золото не ценишь» и ценить золото в собственном доме? Наше золото — наши таланты, а мы их часто не ценим, не замечаем. Талант требует уважения, бережности. Если мы хотим трудиться плодотворно и спокойно, нельзя забывать об этом.

Начав свое выступление с добрых слов, Шекер и закончила его так же. Попросила у товарищей извинения, если погорячилась и что-то сказала не так.

После ее выступления председательствующий обратился ко всем присутствующим с просьбой высказываться. В зале опять стоял шум, но теперь он был иным — взволнованным, беспокойным. Горячая речь Шекер действовала на людей возбуждающе, однако никто не решался выступить первым. Купия с надеждой посмотрела на свою соседку Зоду-апа, но та сидела, еще больше ссутулившись, и явно говорить не собиралась. В ответ на вопросительный взгляд Купии она с горестным недоумением пожала плечами — мол, не поймешь людей: готовы слушать любую болтовню.

Нет, это не была пустая болтовня, Шекер явно кого-то имела в виду. Кого же еще, кроме нее, Купии? . .

Председательствующий произнес было: «В таком случае попросим...» Видно, он собирался пригласить на трибуну кого-то, чье мнение считал весомым, но его прервал звонкий голос из последних рядов: «Позвольте мне...»

— Это вы, Мубаш Байжановна? — спросил председательствующий, не скрывая удивления. — Хотите высказаться? Э-э... Прекрасно. Очень уместно. Просим.

Молодая застенчивая женщина стремительно прошла между рядами, поднялась на трибуну и замерла на некоторое время в замешательстве. По ее смущению, порозовевшим щекам можно было понять, что она не привыкла к публичным выступлениям. Все же она довольно быстро овладела собой и заговорила тихо, неторопливо:

— Дорогие друзья, у меня и в мыслях не было выступать, но вот сейчас Шекер Айдархановна сказала кое-что в адрес молодежи. Может сложиться впечатление, будто у нас все внимание уделяется молодым, да еще не совсем достойным работникам, а люди старшего поколения, кто потрудился на славу, остаются в тени. Так ли это? Кто не знает, что у нас всегда на первом плане артисты старшего поколения. О них не просто заботятся: даже их мелкие прихоти выполняются. Директор перед ними бессилён. Почему? Да оттого, что у одних — звание, у других — воинственность, а бывает — и то и другое вместе. Директор и режиссер вынуждены во всем потакать им. Прошу вас, поймите меня правильно. Я не собираюсь ставить пограничный столб между молодыми актерами и нашими заслуженными старшими товарищами. Было бы нечестным сказать, будто все старшие заботятся лишь о собственном благополучии: у нас немало добрых, отзывчивых учителей, которые всемерно помогают молодежи...

Напряженная тишина стояла в зале. Шекер своим выступлением бросила искру, и сейчас люди хотели понять — гасит ли эту искру молодая балерина либо, напротив, пытается разжечь.

А Шекер из-за стола президиума смотрела на Мубаш матерински-добрым взглядом, иногда кивала головой, как бы стремясь показать всему залу, что она имела в виду то же самое. Все то же самое.

Но прошло немного времени, и Шекер сокрушенно покачала головой — мол, с какой легкостью эти моло-

дые способны допустить бестактность. Мубаш в это время говорила о том, что, если талант требует к себе уважения, то обделены этим именно молодые, например, балетная труппа, которая целиком состоит из молодых. В словах Шекер Айдархановны прозвучала и личная обида. Но есть ли у нее причины жаловаться? Все ведущие партии — у нее. Слава, почет, премии — ничем она не обойдена. Чего же недостает этой прославленной и талантливой женщине? Отчего не радуют ее успехи младших товарищей? Да, не радуют. Она воспринимает их чуть ли не как покушение на ее престиж и славу. А ведь она всеильна по сравнению с теми, кто еще лишь начинает свой путь в искусстве.

По мере того как Мубаш говорила, мимическая игра Шекер становилась все выразительнее. Лицо ее выражало боль и сочувствие, искреннее соболезнование человеку, не ведающему, что он говорит. Не за себя она страдала, нет, душа у нее болела за Мубаш, которой конечно же не стоило подниматься на трибуну.

«Артистка, ах, какая артистка», — думала Купия, не спуская глаз с Шекер. Она не сомневалась, что та имела в виду именно ее, ведь это она пришла в театр из филармонии.

Мубаш лишь подтвердила ее догадку:

— В чем провинилась Купия Сулейменова? Она предана работе, талантлива. Но, к чему скрывать, мы же все поняли, о чьих «красивых глазах» шел тут такой некрасивый разговор! Зачем? Во имя чего? Шекер Айдархановна, будьте достойны своего таланта, учите других нести с достоинством звание артиста. Только в этом — истина. Я выступила ради истины.

Мубаш спустилась с трибуны и стремительным легким шагом пробежала между рядами к своему месту. Люди, в полной тишине слушавшие ее выступление, задвигались, заговорили между собой, и вскоре вместительный зал наполнился гулом. Можно было слышать отдельные реплики:

— Оказывается, есть среди нас герои, способные вызвать на поединок Шекер!

— Ай да Мубаш, вот тебе и тихоня!

— Она говорила правду, истинную правду.

— А ты знаешь, как трудно бывает сказать эту правду?

— Да, порой сказать правду — это уже героизм.
— Как бы сегодняшнее выступление не обернулось бедой против самой Мубаш.

— Шекер ей это припомнит.

— Да уж, льготных путевок ей не видать!

— Э, до каких пор бояться — не видать путевки, не видать квартиры. Чем дольше прячешься, тем больше наплачешься.

— Теперь Шекер никого из нас не пощадит.

— Она и прежде чуткостью не отличалась.

Нелегко было призвать к порядку взволнованное собрание. Председательствующему пришлось несколько раз постучать карандашом по графину с водой, стоявшему на столе. Шекер, сильно побледневшая, молча смотрела в зал. Лицо ее окаменело. Сейчас, как нельзя больше, подходило к ней определение, брошенное однажды кем-то по ее адресу: «каменный цветок».

Алмаз, председательствующий, выступал последним, подводя итог сказанному. Он не останавливался на успехах и удачах коллектива — об этом было достаточно сказано в самом начале, — а сосредоточил внимание на делах предстоящих. Речь Алмаса, понравившаяся всем, не понравилась, пожалуй, лишь одному человеку — Шекер. Потому что, давая оценку выступлению Мубаш, указав на некоторые ее торопливые суждения, Алмаз в то же время поддержал ее и подверг критике Шекер.

Когда собрание закончилось и люди единым потоком двинулись к дверям, Купия отстала от всех. В самую душу кольнули ее слова-шипы, вырвавшиеся из уст Шекер. Да, Мубаш была права. Никого иного из филармонии в театр не пригласили, во всяком случае за последнее время. Значит, это она, Купия, для Шекер как бельмо на глазу. Как быть? Как работать дальше?

Медленным шагом, чувствуя себя бесконечно усталой, Купия поднялась по лестнице и направилась к своей гримёрной.

Внезапно она заметила, что навстречу ей идет Шекер. Купия остановилась, чтобы в узком коридоре дать той дорогу. Остановилась и Шекер, сказала ядовито:

— Что же ты застеснялась? Проходи, проходи.

Купия сдержала вспыхнувшее было раздражение, решив не ссориться из-за пустяка.

— Нет, нет, прошу, проходите вы,— и она вплотную встала к стене, уступая дорогу.

— Ну что ты, как я могу! — продолжала Шекер.— Ведь завтра пожалуешься, будто мы, заслуженные артисты, не даем дорогу молодым талантам. Теперь с поклоном будем уступать вам путь. Иди, прошу, иди. Или тебе еще поклониться нужно?

Купия уже не сдерживаясь, однако раздражение прошло, она испытывала лишь боль и горечь.

— Апай, сестра,— произнесла она с дрожью в голове,— почему у вас всегда какая-то досада против меня? И ваше выступление... Неужели это правда было в мой адрес?

— Понимай как хочешь,— отрезала Шекер.— Если приняла на свой счет, значит, уловила правду. Вот, я даю тебе дорогу, но далеко ли ты уйдешь? Знаешь ли ты, что значит биться за себя, за свое место в искусстве? Это совсем не то, что вихляться на сцене в концерте...

Купия стояла неподвижно, с силой прижав руки к груди у самого горла, как бы сдерживая готовый вырваться крик. Откуда эта злоба, эта страшная несправедливость? А Шекер все говорила и говорила:

— Да, я не вижу в тебе ничего, кроме смазливого личика и умильных глазок. Твой писклявый голосок слаб даже для хорошего хора, не говоря уже о серьезной оперной партии. Пока не поздно, может быть, тебе стоит подумать, где твое настоящее место? Опера — не эстрада, где могут с успехом заливаться кузнечики вроде тебя...

Купия не могла слушать дальше. Она пробежала мимо Шекер и заперлась в своей гримерной.

Как была, не сбросив легкого плаща, она упала на диван у окна, заплакала беззвучно. Плакала долго, не в силах взять себя в руки. Грубо нанесенная незаслуженная обида всегда пробуждает в душе множество других, порой полузабытых, заставляет припомнить и то, что до этой поры хоть и огорчало, но не вызывало отчаяния, не казалось непреодолимым.

Купия плакала о своем одиночестве, горько оплакивала разочарование в работе, еще недавно такой желанной, плакала, вспомнив, что и со здоровьем в последнее

время у нее неладно, и творческий подъем она испытывает далеко не каждый день. . .

Перебирая в памяти, нанизывая одну на другую неудачи последних недель, Купия ощущала беспросветную горечь и боль, плакала все безнадежнее.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Кумарбек, здравствуй! Как твои дела?

Кумарбек, углубившийся в чтение стеной газеты, оглянулся на голос да так и застыл. Ему подумалось, будто окликнул его кто-то из приятелей, он никак не ожидал увидеть перед собой директора училища — Еркина Омиржанова.

Директор с улыбкой повторил вопрос, а Кумарбек, казалось, не верил глазам своим, хотя тот был такой же, как всегда: высокий, с волнистыми черными волосами над чистым открытым лбом, с ясным пронзительным взглядом.

Когда директор протянул ему руку, Кумарбек ответил робким, нерешительным пожатием.

— Ты получил стипендию?

— Да, спасибо.

— Как у тебя с жильем? Все в порядке?

— Все хорошо, спасибо.

— Где ты живешь?

— В «Горном гиганте», на частной квартире.

— Да, это нелегко. Сам знаешь, сейчас трудно в общежитии, потерпи немного. От силы через месяц получишь в общежитии место. Я рад, что ты отслужил и вернулся в училище. Ты никуда не торопишься?

— Нет, нет, не тороплюсь.

— Тогда идем ко мне в кабинет, поговорим спокойно.

Омиржанов взял Кумарбека под руку и довел до своего кабинета. Голубоглазая круглощекая секретарша, которая знала, что Кумарбек — один из студентов, перестала стучать на машинке и воззрилась на него с изумлением, будто спрашивая: «Как ты сумел удостоиться такой чести?»

— Ну, Кумарбек, присаживайся, — сказал директор, указывая на кресло возле своего письменного стола, но

Кумарбек стоял в нерешительности и мучительно пытался решить, с чего бы это неожиданное приглашение?

— Прощу тебя, садись,— повторил директор, и взгляд его показался Кумарбеку исполненным ласкающей теплоты,— не стесняйся.

Кумарбек опустил­ся в кресло. Оно оказалось лишь обманчиво высоким — он провалился в мягкую подушку, как машина, засевшая среди барханов.

— Итак, рассказывай все по порядку. Чего тебе не хватает, в чем я могу тебе помочь?

— Все хорошо, спасибо вам, ага!

Наконец-то Кумарбек смог смело и открыто взглянуть в глаза директору: ведь он ни о чем не просил, ничего для себя не собирался получить благодаря этому визиту. Он просто испытывал бесконечную благодарность за ту теплоту, которую вновь ощутил при встрече с Омиржановым. И он повторил еще решительнее:

— У меня все очень хорошо, ага!

— Ну-ка, не скрывай ничего. Принадлежностями для рисования ты полностью обеспечен?

— Можно сказать, да.

— Раз «можно сказать», значит, не полностью. Чего недостает, в чем ты нуждаешься?

— Спасибо, я ни в чем не нуждаюсь.

— Кисточки у тебя все есть?

Кумарбек сокрушенно вздохнул, выдавил, как ребенок, которого вынуждают признаться в провинности:

— Нет кисточек номер шестнадцать и двадцать два.

— Вот видишь! Еще чего нет?

— Картона, акварели,— Кумарбек горестно вздохнул, так тяжелы были для него эти признания,— но мы достанем, ребята уже узнавали. . .

— А масляная краска, гуашь?

— Есть.

— Темпера? Мاستахин?

— Их нет,— Кумарбек опять вздохнул.— Я достану. Мне обещали.

— Чем же ты счищаешь краски?

— Сам специально сделал инструмент.

— Ладно, Кумарбек, я не знаю, кто и что тебе обещал, но знаю, что тебе после возвращения труднее, чем остальным нашим студентам: для них мы кое-что сделали раньше. Конкретно договоримся так: все, чего тебе

недостаёт, я постараюсь найти для тебя за несколько дней. А ты за это начни-ка новую работу. Поищи тему. Наверняка у тебя накопилось немало замыслов.

— Замыслы есть, конечно,— Кумарбек смутился.

— Хорошо, я не допытываюсь. Решись сам. Садись за новую картину. Вне учебной программы.

— Постараюсь, если получится.

— Получится, несомненно. Только постарайся не чувствовать себя школяром, которого ведут в искусство за руку. Дерзай, ищи.

Пафосную торжественность последних слов Омиржанов смягчил дружелюбной улыбкой. Помолчав, спросил:

— К слову, ты знаком с произведениями Пикассо?

— Немного.

— Какие его вещи ты помнишь?

— «Портрет Воллара», «Девушку с мандолиной», «Женщину с веером», «Игрока с гитарой»...

— Ты говоришь о произведениях, которые художник создал в периоды увлечения своего кубизмом, тяготения к геометрическим формам. Ты обрати внимание, в произведениях его тогда преобладали куб, шар, конус... И все равно это был Пикассо, гениальный мастер...

Омиржанов задумался, прикрыл глаза. Перед мысленным взором его ожили просторные залы Лувра, выставка произведений Пикассо, которая явилась великим событием в истории искусства Франции. Кумарбек смотрел на своего учителя, боясь двинуться, но где-то в глубине души самолюбиво шевельнулось чувство досады: отчего он постеснялся сказать, что знает Пикассо больше, чем «немного», что прошел полосу увлечения именно ранними его произведениями? Не потому ли, что, несмотря на дружелюбие директора, чувствовал себя чуточку как на экзамене и осторожничал?

— Какие из произведений Пикассо тебе больше всего нравятся?

— «Герника».

— А почему именно?

Кумарбек слегка замаялся: хотелось ответить возможно точнее, не рисуясь и не мудрствуя, а нужные слова отчего-то не приходили.

— Ну... Там есть совсем новые решения, очень светлые...

— Погоди, не торопись. Ведь чем-то взволновала, зацепила тебя именно эта вещь, правда?

— Да, конечно,— Кумарбек ощутил прилив уверенности: речь шла о произведении, которое он мог в любой момент припомнить во всех подробностях, столько раз вглядывался он с волнением в репродукции.— Знаете, меня поразило, что в этой картине, направленной против войны, нет ни самолетов, схватившихся друг с другом в небе, ни бомб, ни взрывов. Есть просто человеческое горе. Но как его чувствуешь! Этот чуть заметный свет одинокой лампы показывает весь ужас многострадальной жизни: полное разрушение, умерших детей, горечь и скорбь матерей, ужас и отчаяние... Все, все с такой неподдельной ясностью!

— Ты прав. Сторонники войны были неспроста так напуганы этим полотном. Ты, возможно, читал: генерал Франко в Испании сажал в тюрьму тех, кто даже упоминал имя Пикассо, а Гитлер приказал изъять все картины художника из музеев. Я тоже люблю «Гернику», но особенно мне нравится полотно Пикассо «Храм мира». Оно состоит из двух панно — «Война» и «Мир». Там на втором плане лишь силуэты, но каковы эти силуэты!

Омиржанов опять умолк, будто стремился восстановить в памяти подробности картины. Прикрыл глаза. Лицо его вдруг показалось Кумарбеку погасшим и усталым. Но вот он провел рукой по волосам, зорко глянул на юношу:

— Ты много работаешь?

Кумарбек неопределенно пожал плечами.

— А ведь сейчас для тебя самое время работать в полную силу, как говорится, набирать темп. Ты — талантлив, и в твоём характере есть настоящая сила. Действуй свободнее. Пора студенчества не возвращается дважды. Только труд, труд, который становится повседневной привычкой, помогает в полную меру вспыхнуть пламени таланта. И помни: все наши добрые слова, похвалы — это всего лишь авансы, а на авансы в искусстве не проживешь. Это хорошо понимали великие мастера. Репин не жалел себя, не выпускал из руки кисти, пока однажды не упал во время работы в обморок. Карло Растрелли несколько дней подряд мог провести в мастерской, совершенно отключаясь от внешнего ми-

ра... А Рембрандт? Плодом его неустанного труда явились пятьдесят портретов, двести пятьдесят офортов, тысяча пятьсот рисунков. А ты никогда не задумывался, что этот неустанный труд не сокращал, а, напротив, удлинял жизнь великих мастеров? Репин прожил долгую жизнь. Пикассо, который все дни, даже субботу и воскресенье, проводил за мольбертом, скончался несколько лет назад в своей мастерской за работой. Ему было девяносто два года... Некоторые успокаивают себя мыслью: «Я еще молод, успею». Это заблуждение. Только творческий труд помогает сберечь молодость...

Уходя из кабинета Омиржанова, Кумарбек приостановился в дверях, обернулся. Директор стоял у окна и смотрел ему вслед, ласково, тоскливо, устало. Кумарбек поспешно вышел, смутившись, будто подглядел незначай чужую тайну. Как внезапное озарение, явилась уверенность, что беседа эта не была ни экзаменом, ни поучениями старшего, который считает долгом своим направлять молодых на путь истинный. Да, он был рожденным педагогом, Еркин Омиржанов, без этого разве взвалил бы он — сам хороший профессиональный художник — на свои плечи ответственность за училище и за тех, кого выпускают из этих стен в трудный путь служения искусству? Он родился с призванием педагога и теперь был вынужден вести повседневную борьбу — иногда с учащимися за них самих, а нередко — за них с людьми опасными и сильными.

Кумарбек не мог не вспомнить о своем поступлении в училище. Не поддержи его тогда Омиржанов, многое в его жизни могло бы сложиться совсем по-иному. Пусть даже он сам на время отсрочил свое поступление — у него оставалась высокая цель, вера в главную свою мечту. Но то, что для него явилось доброй и благородной поддержкой большого мудрого человека, для Омиржанова стало очередным поединком, одним из тех поединков, когда противник надолго становится врагом победителя, потому что оружие этого противника — беспринципность.

С легкой насмешкой над самим собой Кумарбек подумал, что ему льстит, когда мать пугается, как много он читает, а товарищи иногда спрашивают: «Откуда ты все это знаешь?», если ему удастся разъяснить кому-нибудь неясный вопрос или быстро подсказать ответ к

очередному вопросу кроссворда. А вот Еркин Омиржанов, который сегодня разговаривал с ним так просто, он — доктор наук, побывал во многих странах, ребята говорят, что он наизусть читает стихи Поля Элюара, с ходу может рассказать эпизод из французской либо английской истории, до мельчайших подробностей знает искусство и культуру России. Случалось, малoverы на спор задавали ему самый неожиданный вопрос; говорят, вопросы бывали и весьма заковыристые, но тогда он, как умелый моряк среди океана, по звездам находил верный путь — подсказывал, что можно прочитать, чтобы найти исчерпывающий ответ. . .

Да, он не такой, как Домбай либо Кенжегул. Домбая Кумарбек уже повстречал в училище, тот прошел мимо, гордо закинув голову, даже на приветствие не ответил. Но и на этот раз пришли на помощь ребята со своими советами и рассказами, прежде всего посоветовали не обижаться, мол, не он первый, не он последний, кому гордый Домбай не счел нужным ответить хотя бы легким кивком.

А Кенжегул в городе с той же непревзойденной ловкостью очищает чужие карманы, да так, что и не обвинишь его ни чем!

И вновь мысли Кумарбека возвращались к Еркину Омиржанову. Ведь он заботится не только о каком-то Кумарбеке, но обо всех. Он бывает холоден лишь с теми, кто слишком явно проявляет неуважение к избранному делу, не работает, не ходит на занятия. И все же стремится всегда понять даже такого учащегося: по ошибке тот попал в училище или с ним что-то происходит.

В прошлом году, рассказывали, он один защищал студента третьего курса, когда все преподаватели сошлись во мнении, что того следует гнать из училища. После долгого разговора с директором и клятвенного обещания вести себя по-иному студент изменился неузнаваемо, а ведь некоторые называли его неисправным.

Да разве перечислишь все добрые поступки Еркина Омиржанова, разве припомнишь всех, кому он так или иначе помог? Какое счастье, когда есть у тебя такой сильный и умный старший друг!

На миг Омиржанов представился Кумарбеку человеком, достигшим в жизни буквально всего, самых недо-

сягаемых вершин. Но тогда откуда эта тоскливая грусть в его взгляде, эта преждевременная усталость?

Может быть, долг наш помнить, что и самому сильному человеку необходима в какие-то минуты жизни поддержка?

И долг, и благодарность, потому что это будет лишь возвращением того, что в свое время получили мы сами, когда сильный и прекрасный человек поверил в нашу способность обрести крылья. . .

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ни днем ни ночью Купия не могла забыть ненавидящие глаза Шекер, ее слова, полные беспощадной язвительности. Как ни старалась она приписать последнюю стычку недоразумению, злобному характеру Шекер, о котором немало была наслышана, сердце точило сомнение: неужели и правда голос у нее слишком слаб? Но почему же так много добрых слов говорили специалисты, знатоки музыки? Ради чего пригласили ее в театр? Ведь лишь недавно удостоилась она чести называться дипломантом конкурса эстрадных исполнителей, и вдруг оказывается, что она неспособна петь. . .

Нет, это неправда! И голос у нее стал чище и дыхание выровнялось. Тогда откуда же это недоброжелательство, эта неприязнь со стороны старшего товарища, чья поддержка насущно необходима?

Но сколько бы ни искала Купия ответа на свои вопросы, она все равно не сумела бы его найти. Для этого ей нужно было бы пережить то, что переживала в последние недели Шекер.

Нет, Шекер отнюдь не считала, что Купия лишена голоса и таланта. У нее было достаточно опыта, чтобы с самого начала оценить данные молодой певицы, но с самого начала ощутила она и непреодолимую неприязнь. Ее раздражало в Купии буквально все: за мягкостью и вежливостью она видела лицемерие и притворство, за легкостью исполнения — отсутствие трудолюбия, стремление скользить по верхам.

Талант — священный дар. Никакой делец самыми изощренными хитростями не заманит его в свои сети. Шекер с дней ранней юности понимала, как щедро одарила ее судьба, и вся жизнь ее стала служением. . . Са-

ма она сказала бы — «искусству». Люди, близко ее знавшие, считали, что собственному тщеславию.

Но так или иначе, она была ведущей актрисой театра или, по меньшей мере, одной из ведущих актрис, на первых ролях.

Она прекрасно изучила свои возможности, знала, что голос ее не так силен, чтобы растрачивать его с излишней щедростью. И поэтому она научилась умело перекладывать весь груз на оркестр в моменты, трудные для исполнителя. Остальное она восполняла мимикой, игрой глаз, эффектной позой.

Как любая актриса, она после первых же выступлений приобрела поклонников, но что еще дороже — сразу поняла им цену. Восторженные возгласы, аплодисменты стали для нее мерилом ее дарования. Она готова была занскивать перед теми, кто восхищался ею, лишь бы не потерять никого из них.

Постепенно вокруг нее образовался как бы целый аппарат: тут были, кроме зрителей и слушателей, журналисты, музыкальные критики, готовые по каждому случаю воспеть ее талант. Хвалить ее стало настолько привычным, что любое, даже маленькое замечание в ее адрес многим могло показаться нарушением каких-то навсегда установленных норм.

Однажды Шекер услышала брошенные вскользь слова: «Без учеников нет мастера». Она призадумалась, прикинула, не в ее ли огород они были брошены. Занятая упорной повседневной борьбой за свое место под солнцем, она мало обращала внимания на идущих следом, на молодых, начинающих актрис. После слов, показавшихся ядовитыми, выбрала девушку с сильным, но не обработанным голосом, недавно поступившую в театр, предложила прослушать ее отдельно, после репетиции. Они задержались так два или три раза, и Шекер постепенно стала ощущать непреходящее раздражение, которое с трудом скрывала. Раздражало в молодой певице все: и неумение держаться на сцене, и простодушие, с каким она ожидала большой роли, полагая, что имеет для этого все данные. «У тебя голос просится на эстраду, — сказала однажды Шекер, — и манера петь чисто народная, не губи себя оперой — на эстраде тебе обеспечен огромный успех».

Шекер не могла себя упрекнуть: она даже помогала

молодой певице устроиться в Казахконцерте солисткой, но в дальнейшем никогда не интересовалась ее судьбой. Видимо, ни славы, ни успеха певица не приобрела, поскольку афиши с упоминанием ее имени на глаза Шекер не попадались.

Попыталась она взять и вторую ученицу. Даже поселила девушку у себя, приглашала домой концертмейстера, охотно звала знакомых послушать молодое дарование. Однако и на этот раз спустя немного времени ощутила глухое раздражение, про себя стала называть девушку «квартиранткой», поскольку та действительно, подобно нежелательной квартирантке, нарушала налаженный быт, покой, хотя бы даже своим смехом, неосознанным кокетством. А однажды вечером она поехала покататься на машине со старым приятелем Шекер, многоопытным холостяком, и воротилась сама не своя, в слезах.

Но и это вызвало у Шекер лишь острую досаду: не в няньки же наниматься к взрослой дурехе!

Через пару дней девушка, захлебываясь слезами, стараясь не встречаться взглядом с исполненной негодования Шекер, собирала свои вещи, чтобы уехать в аул к родным. В театре ее больше не видели. . .

Шекер, уже не пытаясь найти вдумчивую и способную ученицу, разуверившись в способностях и целеустремленности молодежи, взялась за общественную работу. Ей уважительно доверили руководить местным комитетом театра.

И тут-то в театре появилась Купия, молодая, обаятельная, покорившая всех своим голосом.

В недобрые для Шекер дни она появилась.

Шекер стала уставать после спектаклей сильнее обычного. Иногда она ловила себя на том, что в знакомой партии отдельные моменты становятся трудны для нее — она объясняла это либо недомоганием, либо подавленным настроением, однако возникающая однажды тревога не рассеивалась. Напротив, сгущалась. Ей было необходимо состояние творческого покоя, именно творческого. Ему не мешала ни суета общественной работы, ни театральные шум и гул — помешать мог только нервный сбой, неверие в свои силы. За долгие годы Шекер научилась заботливо оберегать самое себя, и чув-

ство раздражения являлось одним из сигналов, что откуда-то грозит опасность.

Раздражение против Купии возникло едва ли не с первого дня.

Верно говорится, думала Шекер, «верь не верь, а из под земли выбрался зверь, ушастый да клыкастый»... Должно быть, радостнее было повстречать этого самого ушастого да клыкастого зверя, чем миловидную, сдержанную, талантливую певицу. Хотя пришла она на вторые роли, но кто может гарантировать, что завтра ей не доверят главные партии? А по какому праву? Конечно, в театре и вокруг театра полно таких, у кого сразу потекут слюнки при виде красивой женщины, и тогда...

Жизненный опыт подсказал Шекер, что перед ней — человек неискушенный, не способный ни к интригам, ни к закулисной борьбе, но, оказывается, и незащищенность способна стать оружием и броней одновременно. Изящная, всегда скромно одетая, Купия при каждой встрече кланялась ей почтительно, молчаливо уступала дорогу, и это выводило Шекер из себя. Хоть бы догадалась, какую вызывает неприязнь, хоть одно бы слово сказала, за которое можно отчитать как следует. А может быть, все прекрасно видит, но, убежденная в завтрашнем своем успехе, не считает нужным опасаться уходящей соперницы?

Нет, нельзя было медлить ни дня, ни часа. Шекер была убеждена, что интуиция ее не обманывает: если потерять время, выигрыш Купии будет огромен. Стоит ей получить главную партию, она покажет, на что способна... А на что, собственно, она способна? Просто публику подкупит молодость, хорошая внешность, но знают ли зрители, пришедшие в театр, каким трудом достигается не только то, чем они восхищаются, но даже какая-нибудь короткая пауза, когда артист молчаливым своим заставляет весь зал затаить дыхание?

Если публика встретит Купию восторженно, разве сумеешь, как бы ты ни была сильна, противостоять толпе? Это покатится, как волна, волна, которая поднимет и вознесет Купию к звездам!

Нельзя позволить ей исполнять главные партии. Слишком рано. Пусть присмотрится, прислушается, поймет, что такое отточенное, истинное мастерство. Если вдруг поймет, что не вскочить ей на такого норовистого

скакуна, тем лучше. Человек всегда должен соразмерить собственные силы с делом, за которое принимает-ся...

Шекер уже немного жалела, что так резко выступила на собрании, о случайной же встрече с Купией она вовсе забыла.

В ее планах и построениях внешне все, казалось, было правильно: как старший товарищ, как опытная актриса, она желала видеть на сцене рядом с собой и после себя певиц, которые были бы не хуже. Но внутренне она считала несравненно хуже себя любую певицу, которая начинала казаться ей кандидаткой на первые роли.

Как глубоко оскорбилась бы она, намекни ей кто-нибудь, что состояние ее похоже на зависть! Да и на самом деле все было много сложнее, запутаннее.

Она сама не могла бы объяснить, отчего не однажды случалось так, что она и кто-то другой из ее коллег одновременно совсем по-разному оценивали одного и того же человека. Как будто разглядывали его сквозь разные стекла: она — сквозь зловеще черное, другой — через розово-голубое. Впрочем, объяснить можно все. Если Шекер требовалось, она объясняла это принципиальностью, требовательностью, уважением к искусству. Только значительные эти слова, не согретые подлинным чувством, звучали слишком холодно в устах такой опытной актрисы.

За первыми шагами Купии в театре Шекер следила ревниво и придирчиво. Коллектив театра собирался ставить большой новый спектакль «Целинники». Как и всем, Купии досталась рядовая роль — девушки-комбайнера Карлыгаш, искренней, горячей, одновременно и застенчивой и активной. Какими красками передать этот характер? Купия вчитывалась в либретто, стараясь увидеть в нем больше, чем сказал автор, советовалась с режиссером, дирижером, музыкантами. Кто-то увидел бы в этом старательность недавней школьницы, которая хочет возможно добросовестнее выполнить задание. Другой мог бы одобрить стремление начинающей актрисы постичь все сложности и тонкости мастерства, не минувя никого из своих коллег, прощупывая все незримые нити, что связывают единым дыханием большой и разнохарактерный коллектив.

Совсем иное увидела Шекер: самоуверенное желание

показать себя, всем о себе напомнить, сделать из крохотной роли нечто значительное.

Однажды она вмешалась — как старший и опытный товарищ, как председатель месткома, наконец, — спросила у Купии, не лучше ли было бы поначалу узнать кое-что о работе настоящего комбайнера-девушки, чтобы хоть немного знать, кого тебе предстоит играть. Купия, не поднимая глаз, ответила, что выросла в ауле и хорошо знает все сельские работы. Знакома и с работой комбайнеров, притом девушек, — такая у них в ауле была.

Шекер отошла, глубоко оскорбленная спокойным холодным ответом.

Она была оскорблена отнюдь не оттого, что Купия хотела хоть немного задеть ее самолюбие.

Ей нужно было почувствовать себя оскорбленной: это развязывало ей руки.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Купия проснулась от волнения и испуга, пережитых во сне. Что это было? Она не могла вспомнить. Стало почти привычным дурно спать и видеть плохие сны.

Но будто в противовес гнетущей тяжести сна в окно ворвалась бравурная музыка марша. Это по улицам уже шли колонны демонстрантов, первыми встречавших праздник Первомая.

Купия торопливо поднялась, убрала постель, побежала умываться, словно радуясь освобождению от непонятных испуга и волнений.

Впрочем, таких ли уж непонятных?

Брат и жене — жена его — куда-то ушли, видимо, на целый день. А с вечера даже не сказали, что уйдут.

Купия оделась и подошла к окну. Улица была многолюдной и по-праздничному оживленной. Если еще вчера никто не решался сбросить плащи и пальто, сегодня все будто договорились друг с другом: яркие рубашки мужчин, пестрые платья женщины усиливали ощущение праздника.

А Купия невольно поймала себя на том, что глаза ее ищут в людской толпе знакомую фигуру. . . Ах, не все ли равно, если он просто пройдет мимо окон, не приостано-

вившись, не свернув к подъезду! Неужели все могло завершиться так примитивно и грубо?

Она задумалась. Какими радостными были для нее Майские праздники несколько лет назад! Трудно было дожидаться этих дней, сердце колотилось, пытаюсь обогнать время. В канун Первомая она и во сне уже была наготове вскочить по первому сигналу радио, по первому зову. Радость ее была сродни вдохновению полета.

А теперь? Постоянно что-то гнетет ее, и в праздничные дни становится особенно одиноко и тоскливо. Увы, у этой гнетущей тоски есть имя: Домбай!

Разве она хотела, чтобы он пришел? Нет и еще раз нет.

Не могла она винить его и в каких-либо горьких обидах, причиненных ей. Все было хуже, много хуже...

Купия потеряла мать, когда ей едва исполнился годик. А в восемь лет потеряла отца. Она не помнила облика матери — даже ни одной фотографии не сохранилось. Отца же и по сей день представляла зримо: светлолицый, скуластый, с точеным носом и длинными черными усами, он был красивым, сильным человеком.

Отец работал чабаном, и она хорошо помнила, как им приходилось, меняя пастбища, переезжать с места на место. Зимовали они в одиноком домике на берегу реки, лето проводили в горах.

Как любила она уйти под вечер на берег ручья и, опустив ноги в прохладную воду, любоваться сонными красками уходящего дня! Вскоре на противоположной сопке показывалась возвращающаяся отара и катилась, катилась вниз к ручью пенной волной. А за отарой, тихо похлопывая плетью своего гнедого, появлялся отец. Он всегда сидел в седле, склонившись на один бок, таким и запомнился ей, а она неслась ему навстречу, раскинув руки. Заметив ее, отец прищпоривал своего коня.

Неподалеку от ручья лежали одна на другой каменные плиты, напоминавшие ступени. Люди называли их «сандыктас» — «каменные сундуки». Так получалось, что у этих каменных сундуков смеющийся отец и подхватывал дочь, не сходя с седла.

Но эти самые счастливые дни продолжались недолго. Нужно было учиться. Осенью Купия уехала в интернат, в колхозный центр, а через неделю узнала, что потеряла навсегда своего дорогого отца. Человек, не знав-

ший, что такое хворь, скончался внезапно, проболев всего несколько часов.

В том же году старший брат Купии, окончивший десятилетку, отвез ее в дом дальнего родственника в районный центр, а сам надолго бесследно исчез. Несколько лет Купия послушно помогала по хозяйству в семье сурового родственника и, окончив семь классов, уехала учиться дальше в Алма-Ату. Потом — медучилище, кружок художественной самодеятельности, смотры молодых исполнителей, конкурсы... Она мечтала стать врачом, а кружок самодеятельности привел ее в среду артистов...

Она стояла у окна, вглядываясь в лица проходивших людей, прислушиваясь к оживленному праздничному говору, а поток привычных нерадостных мыслей захлестывал ее...

«...Я была молодым саженцем, пышно зазеленевшим среди густого бора. Еще не успела я укрепиться корнями в земле, как судьба беспощадно свалила по очереди высокие дубы, служившие мне опорой и защитой. Да, не успела я окрепнуть, раскинуть вольно ветви, как все вокруг меня стало пустынно и голо. Правда, вернулся мой родной единственный брат, приехал, когда я уже вовсе потеряла всякую надежду. Я обрадовалась ему, как воскресшему из мертвых. Казалось, вновь зажглось угасшее пламя родного очага. Но судьба и брата не захотела приблизить ко мне. Это всего лишь внешнее — что мы живем вместе. Общей семьи у нас нет, за последние годы я никогда не ощущала проявления родственных чувств ко мне. Возможно, так и бывает, когда между близкими людьми становится человек, ставший родным кому-то одному и совсем чужой другому. Холод в наши отношения внесла своенравная женге. Что бы я ни делала, ей все не нравится. Конечно, я могла бы снять отдельную комнату, но стыдно перед людьми: скажут, не ужилась с родным братом. Или его осудят. Иногда мне кажется, что весь путь мой усеян острыми камнями. Правда, если я споткнусь неожиданно, найдутся добрые товарищи, что меня поддержат, а вот по-настоящему близкого у меня никого нет. И если я вдруг упаду, никто не задержится надолго, чтобы помочь мне подняться. Поэтому-то стиснув зубы нужно идти, идти не уставая, когда устанешь, не слабея, когда

ощутишь слабость. . . Но не изменит ли мне моя стойкость? . . .»

Оживленная толпа шумела за окнами, а Купия смотрела, и теперь чуть ли не каждый мужчина казался ей похожим на того, кого она не ждала и видеть не хотела.

«. . . С тех пор как я по-настоящему себя осознала, вспыхнул во мне этот неутолимый огонь — жажда творчества. Жажда, которую действительно утолить невозможно, потому что все, что бы ни делала, — несовершенно! Но в этом и счастье — видеть перед собой прекрасный путь, которому нет конца, одолевать вершины — и ощущать в себе силы для преодоления вершин, еще более неприступных. Но. . . То, что понимала я, не могли понять мои близкие. Женге тревожилась, отчего я не выхожу замуж, начала величать меня старой девой. Это она отыскала для меня подлеца по имени Домбай. . .»

При воспоминании о Домбае Купия ощутила нервную дрожь. Лицо ее потемнело, тонкие брови сошлись в одну линию.

Брат вновь появился в ее жизни, когда дела у него пошли в гору. Возможно, по-своему он был прав, что поначалу опасался принимать на свои плечи ответственность, с которой мог бы и не справиться. Забрав Купию в свою алма-атинскую квартиру, он, преуспевающий на работе в каком-то строительном управлении, был жизнерадостен и заботлив. А Купия и вовсе воспрянула духом, перебравшись из общежития в собственную комнату. Эта комната была специально переоборудована и обставлена для нее в просторной квартире брата. Для нее купили тахту, кресло, гардероб — сверкающие красивые вещи. И женге тогда еще не проявляла своего властного характера, тем более что Купия начала приобретать известность, часто появлялась на сцене.

В один из таких светлых, безоблачных дней женге вернулась домой в приподнятом настроении.

— Завтра ты свободна, Купия? — спросила она ласково.

— До обеда у нас репетиция.

— А вечером?

— Свободна.

— Тогда я приглашаю тебя в кино. Брат твой в командировке, с кем же мне еще гулять, как не с тобой.

→ Что ж, я с удовольствием.

— Но предупреждаю заранее: эта прогулка будет особенной.

— Какой?

— У меня приготовлен для тебя сюрприз.

— Что именно?

— Увидишь в свое время.

— Если начали, договаривайте до конца, женеше, я так не могу.

— Хочу познакомить тебя с одним чудесным парнем.

— Ну что вы, я ни с кем не хочу знакомиться!

Однако под молниеносным сердитым взглядом женге Купия сразу притихла, готовые сорваться с губ негодующие слова так и не были произнесены. Помолчав, она спросила уже не без любопытства:

— Кто он такой?

— Мой земляк, кандидат наук. Бог его не обидел ни внешностью, ни знаниями. Вот это действительно джигит! — женге показала большой палец и подмигнула лукаво.

— Право, мне не хочется...

— Опять начинаешь? — прикрикнула женге уже слишком строго. — Ты что, собираешься до тридцати разгуливать, разбирать, что у одного не те глаза, у другого — не те слова? Не понравится, никто тебя неволить не станет. Но уж если придется по душе, не упускай этого джигита.

— Раз он кандидат наук, значит, не так уж молод, — сказала Купия. — Надеюсь, это не какой-нибудь вдовец, замучивший жену?

— Что ты глупости болтаешь, прекрасный молодой человек. Просто пока что холостяк, которому едва перевалило за тридцать.

— Отчего же он до сих пор не женился?

— Видать, сильно был занят наукой. Кроме того, он, как и ты, переборчив, хочет всерьез выбрать себе друга в жизни. Уверена, он тебе понравится.

— Вряд ли.

— Ну уж это слово ты оставь, посмотри сначала. Мой совет: познакомься и непусти его, пока другая не ухватилась.

Купия промолчала. С первых же месяцев совместной жизни она разгадала характер своей женге: если ей перечить, та становилась еще злее. Да и мысль мелькну-

ла: до каких пор оставаться одной? И сколько можно выбирать? А вдруг женге права и это прекрасный, скромный человек?

На следующий день, под вечер, они вышли вдвоем на прогулку. Стояла теплая летняя погода. Было воскресенье, и улица, заполненная гуляющими людьми, казалась по-особому праздничной. Или это предчувствие счастливой встречи делало ее такой?

Пешком они дошли до площади Абая, и тут навстречу им стремительно направился стройный высокий молодой человек с густыми каштановыми волосами, зачесанными назад. Истинный джигит!

— Познакомьтесь,— сказала женге, не отрывая взора от джигита.

Он, смутившись, протянул руку первым:

— Домбай!

— Купия. . .

Все трое на миг умолкли в некоторой растерянности. Первым молчание нарушил джигит:

— Если вы не против, поторопимся. До начала сеанса осталось не так уж много.

Они пришли в кинотеатр «Арман». Купия ничего не помнила: видела ли она индийский фильм или арабский, в каком зале сидела — в красном или голубом. Помнила только, как они вышли из кинотеатра и джигит с женге долго уговаривали ее пойти ужинать в ресторан. Как она уступила их настояниям, а в ресторане ни куска не могла взять в рот, хотя джигит очень ласково и заботливо ее уговаривал. Она в душе корила себя за эту скованность, но не в силах была с собой справиться. Наверно, все было бы много проще, если бы Домбай не ошеломил ее с первых же минут. И не оттого, что она не видела и до него красивых, обаятельных, умных парней. Ошеломило сознание того, что этот человек может быть предназначен именно ей и что он тоже знает об этом и тоже приглядывается, хотя говорит совсем о другом. . .

В ресторане они так и не сумели разговориться. Возможно, и обстановка не располагала к этому. Гул приглушенной беседы за каждым столиком, звон посуды, музыка — все накатывалось вместе, будто вздыбившаяся волна, и в ушах стоял непрерывный шум.

Зато когда они вышли из ресторана, прохожих на

улице было уже меньше. Они втроем неторопливо шли, выбирая самые тихие улицы, и тут Домбай разговорился порядком: шутил, рассказывал милые смешные истории. Купия заметила, что он умеет и слушать, деликатно прерывая свою речь, если жене вдруг пыталась перебить его.

Купия замечала буквально все, остальное додумывала. К концу вечера ей стало казаться, что она во всех подробностях представляет себе характер нового знакомого: он очень воспитан, добропорядочен, у него хороший вкус, о чем свидетельствует хотя бы манера одеваться, неброско и элегантно.

Домбай проводил их до дома. У подъезда жене стала шумно уговаривать его зайти, попить чаю, но он, не теряя благовоспитанной сдержанности, не вошел так поздно в чужой дом и даже не задержал их долгим разговором. Вежливо поблагодарив, простился и ушел.

Начиная с того дня Домбай проторил дорожку между домом, где жила Купия, и театром. Он встречал ее утром и провожал на репетицию, после репетиции провожал домой. Это было самое начало ее работы в театре, она лишь готовила первую свою большую роль. А в свободные часы они с Домбаем не расставались: то смотрели вместе спектакли, и она поражалась его чуткости, дельным замечаниям, то отправлялись ужинать в ресторан или поднимались в горы полюбоваться сверху родным городом. Самый придирчивый ум не нашел бы ничего бестактного или предосудительного в поведении Домбая. Он был безукоризнен. Должно быть, таким вот безукоризненным, без единой соринки, выглядит человек в мундире с иголки, застегнутом на все пуговицы.

Но подобные мысли пришли ей в голову много позже.

А тогда... Однажды в полдень, после очередной репетиции, когда Домбай ожидал Купию у театра, он вдруг повел ее домой совсем другой дорогой. Поначалу она удивилась, готова была возмутиться, за что чуть погодя уже себя укоряла: они пришли к загсу. Домбай привел ее сюда, чтобы подать заявление, почтительно, даже несколько старомодно объяснил, что сочтет за величайшее счастье видеть ее в лучшей роли, какую суж-

дено играть женщине: в роли своей супруги, хозяйки своего дома.

Они подали заявление.

В честь этого события отправились в ресторан, а на обратном пути Домбай зашел к ним домой; он давно уже заходил запросто, не стесняясь, как поначалу.

Дома никого не оказалось. Брат был в длительной командировке, а женге уехала в колхоз к родным. В записке, прикрепленной к двери, она сообщала, что придет завтра.

То ли Домбай почувствовал себя слишком свободно, оставшись с Купией наедине, то ли ему придало самоуверенности сознание того, что вскоре они станут мужем и женой, но ей показалось, будто она видит перед собой иного, незнакомого ей человека.

— Ну-ка, байбиче, ставь чай, — произнес он шутливо, снимая пиджак и вешая его на стул.

Хотя слово «байбиче» и означало «старшая жена», а следовательно, несло в себе оттенок уважительности, Купия этого уважения не ощутила.

— Не торопись меня так величать, — возразила она с мягкой улыбкой.

— Э-э, ты что? Другая бы на твоём месте гордилась.

— Ну зачем же сейчас думать о других?

— Все понятно, — самодовольно улыбнулся Домбай. — Я и не думаю, уверяю тебя. Ты у меня единственная, несравненная моя баба.

— Что ты сказал?

— То и сказал. А у тебя теперь есть надежный мужик, в доме — хозяин.

— Итак, что прикажете, хозяин?

Домбай либо не заметил иронии в тоне, каким эти слова были произнесены, либо умышленно не обратил внимания, но он тут же ответил:

— Постырай мне носки и рубашку, до утра, думаю, высохнут.

— Как тебя понимать? А что ты наденешь?

— К чему мне что-то надевать? Ведь я буду тут почевать, надеюсь, не прогонишь. . .

От пошловатой самонадеянной игривости последних слов Купию покорило.

— Нет, дорогой, это у тебя не получится.

— Купия, выслушай меня внимательно, — заговорил

Домбай совсем иным тоном.— Мы с тобой должны объясниться серьезно.

— Разве раньше мы разговаривали несерьезно?

— Выслушай меня!

— Хорошо, я слушаю.

— Тогда вот в чем дело. Наш предок казах говорил: «Ребенка учи с малолетства, бабу — с первого дня». Если поначалу жестко стелешь, под конец станет мягко. Я к разным выкрутасам не привык, люблю обо всем говорить прямо: пока мы еще не стали семьей, нужно решить некоторые проблемы.

— Какие еще проблемы? — упавшим голосом спросила Купия, глубоко уязвленная грубостью его слов.

— А вот какие. Мужик есть мужик, на нем держится дом. Ты вот как-то несерьезно сказала «хозяин», а от такого отношения многие беды идут. Дом не может быть без хозяина, и слово хозяина — закон в доме. Вот мне и хочется тебе объяснить, что во всех значительных делах решающее слово остается за мной, поняла? Во вторых, я уже намекнул тебе сегодня, но ты, по-моему, не поняла, что лучшая роль для любой бабы — это роль мужней жены, матери, хозяйки очага. Какая из артистки жена? Разве она сумеет по-настоящему ухаживать за мужем? Вдобавок ко всему я вовсе не желаю, чтобы моя жена у всех на виду заигрывала на сцене с чужими мужчинами, целовалась с ними. Так что тебе предстоит выбор. . .

— Какой? — беззвучно спросила Купия, уже прекрасно понимавшая, что это за выбор.

— Заработки твои мне не нужны, обеспечить семью — мужское дело. И не пугайся, твою театральную зарплату я возьму пятикратно. Пока я здоров, ты нуждаться ни в чем не будешь.

— Дело не в деньгах.

— Ну, ну, не разводи тут красивую демагогию. Деньги всегда деньги. Как говорят, не в них счастье, а в их количестве.

— Я же певица!

— Петь, между прочим, можешь и дома. А твоя актерская карьера ломаного гроша не стоит. Сама подумай, во что ты превратишься через пяток лет! Баба прежде всего должна быть бабой, все остальные тяготы я взваливаю на себя, договорились?

— Неужели ты это всерьез? Ведь ты делал в театре такие тонкие замечания, давал мне такие умные советы. Ты же сам пишешь диссертацию о живописи, ты — человек искусства! . .

Купия говорила горячо, взволнованно, сбивчиво. Она как бы пыталась защитить дорогого человека от него самого, от того темного и бесконечно страшного для нее, что так неожиданно и так грубо раскрылось в нем. Вначале он слушал снисходительно, потом она стала замечать, что взгляд его становится все холоднее, губы досадливо кривятся. Наконец он не выдержал, перебил ее:

— Запомни, это разговор принципиальный. Я хочу обо всем договориться заранее, чтобы потом — ни попреков, ни скандалов.

— Ну что ж, — бесцветным голосом произнесла Купия. — Если это разговор серьезный, я твоих условий принять не могу.

— А я тогда не могу на тебе жениться.

— Это твое право.

— Подумай, Купия, — голос его зазвучал проникновенно. — Мы с тобой не так уж молоды. . . Как бы не пожалеть завтра.

Кто-то резко позвонил в дверь, и Купия бросилась открывать, не дослушав последних слов Домбая. Приехал из командировки брат. После кратких слов приветствия Купия пошла на кухню приготовить чаю, вслед за ней явился и Домбай.

— Сегодня нам не повезло, — шепнул он многозначительно, — а ты молодец, как предвидела, хороши бы мы были. . . Ну, ну, не злись, подумай обо всем серьезно, я ведь не шутил. . .

После этого Домбай исчез на несколько дней — должно быть, давал ей полную возможность все взвесить и обо всем подумать. Когда он появился, Купия не спросила о причине такого долгого отсутствия, он сам тоже ни словом не обмолвился. Зато сразу не без холодка справился, обдумала ли она его условия. Это было похоже на торг: ни слова нежности, ни слова о чувствах. Во время прежних встреч он хотя бы делал вид, будто прикрывает чувства свои шутливостью. Но что это были за чувства? Купия с горечью думала о том, как мало она была ему нужна, как бесцеремонно готов он был перечеркнуть все, чему она отдала так много сил.

Расстались они вовсе холодно. С тех пор Домбай уже не показывался ни разу. Наступил день, когда они должны были пойти в загс, узаконить свои отношения. Купия все еще не верила в подлинность и глубину раз-молвки. Она испытывала попеременно обиду, тревогу, надежду, отчаяние. Казалось, уж в этот день он непременно явится, пошутит, попросит прощения, что заста-вил ее так мучиться. После отца и старшего брата он был для нее первым мужчиной, которого она в своем воображении наградила самыми высокими достоинства-ми и, наградив, решила, что жизнь ее должна быть свя-зана только с ним. Она приписывала ему качества, ка-ких у него не было, и любила его за эти воображаемые прекрасные качества.

Но Домбай не явился и в этот день, зато женге, все понимавшая, потому что с самого начала она неослабно следила за успехом своего предприятия, не могла скрыть раздражения: это же надо, упустить такого же-ниха! Не воображает ли Купия, что она со своими песен-ками сможет всю жизнь сидеть на шее брата-тружени-ка? Да уж, если на то пошло, любая казашка умеет петь, только не у каждой такая беззаботная натура, чтобы не думать ни о близких, ни о том, что пора со-здать и собственную семью. Впрочем, где уж иной эго-истке, думающей лишь об удовольствиях, взвалить на свое плечи заботу о муже и детях? .

Купия молча слушала это сердитое ворчание, а в ду-ше у нее было тоскливо и пусто, точно злая сила отняла способность радоваться. Если еще так недавно она стро-ила грандиозные планы на будущее, обдумывала роли, которых ей пока что никто не предлагал, но — она не сомневалась — непременно предложат, то теперь она как бы остановилась в неведении на половине пути. Она изводила себя сомнениями: а вдруг Домбай был прав и все ни к чему? Кто знает. . . Но как безнадежно уныло казалось то благополучие, которое он ей сулил! Он да-же не считал нужным поискать иные, более теплые сло-ва. Повторись этот разговор, она ответила бы точно так же, а между тем глаза ее невольно искали Домбая в толпе прохожих, хотелось верить в недобрую ошибку, случайность.

Она пыталась утешить себя мыслью, что с другими девушками бывает и похуже — ведь Домбай не лгал ей,

не обольстил, чтобы потом грубо покинуть. Но сердце не соглашалось с этими беспомощными уловками: у тех, с кем бывало и похуже, наверно, была и настоящая любовь, готовая на все. Пусть краткая, неверная, но подлинная. А что было у нее? Несостоявшийся торг, где все в ней оказалось оцененным и тут же обесцененным. И она сама, вольно или невольно, стала участницей этого торга, допустила, что ее обесценили.

Как же ей после такого собрать силы, поверить в себя...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Кумарбеку, который шел от Купии к автобусной остановке, неожиданно повстречалась Шекер. Удрученный своими мыслями, он не сразу ее заметил. Угнетал подчеркнутый холодок, с каким его встречала Купия, ее желание всякий раз проститься сразу же после очередного недолгого сеанса. Он нарочито затягивал работу, вглядывался пытливо в лицо девушки, ловил ее жесты, движения. Как художник, он интуитивно был убежден, что внешность человека может выразить малейшие движения души, самые сокровенные свойства характера. Рисуя портрет Купии, он лишний раз убеждался в собственной правоте: ему открывался характер искренний, эмоциональный, жизнерадостный, но оттого-то удивляла и тревожила скрытая печаль, которая минутами угадывалась во взгляде, в обреченно опустившихся плечах. Иногда он пытался вызвать Купию на доверительный разговор, но она досадливо хмурилась, поглядывала на часы. В самом деле, портрет для газеты можно сделать за более короткое время и при этом без доверительных бесед...

— Как дела, братишка? — Шекер, в противоположность Купии, была полна оптимизма. — До чего же удачно ты мне встретился! Ну, как наша договоренность? Я уж заждаюсь.

— Простите, Шекер Айдархановна, совершенно не было свободного времени.

— Ну а сейчас как, свободен?

— Именно сейчас?

— Конечно, к чему откладывать!

В это время повенькая «Волга» остановилась,

несколько протянув от остановки. Шекер решительно потянула Кумарбека за руку:

— Пошли!

— Куда?

— Садись, говорю! — Шекер суетливо открыла заднюю дверцу машины.

— Куда? — повторил с беспокойством Кумарбек.

— Ко мне.

— Но, извините, Шекер Айдархановна, так внезапно...

— Ничего особенного, садись.

— Да неудобно вроде...

— Ладно, садись, не пререкайся. Если не хочешь к нам, можем довести, куда тебе нужно. Быстрее же!

Шекер стояла у открытой дверцы машины, а Кумарбек невольнo пятился. Люди, стоявшие на автобусной остановке, уже обратили на них внимание, и Кумарбек волей-неволей полез в машину.

— Спасибо! — сказала Шекер, усаживаясь рядом с ним. — Спасибо, что при людях не оставил мою просьбу без внимания. Слушай, а мы, похоже, земляки: очень мне твое лицо знакомо. Я еще в театре тогда обратила внимание.

Кумарбек молча пожал плечами. Не напоминать же этой женщине о Кенжегуле, о той гонке на машине, когда... Впрочем, об этом вообще лучше забыть. А зрительная память у нее прекрасная, ведь его-то она видела лишь мельком, минуту-две.

— Да-а, земляков узнаешь сразу, — продолжала Шекер. — Теперь у нас дома познакомимся как следует.

— Нет, нет, спасибо!

— Спасибо скажешь, если сумеем хорошо принять.

Машина свернула на боковую улицу. Шекер по инерции привалилась к Кумарбеку и, воспользовавшись этим, шепнула ему со смехом:

— Не пугайся, старик мой дома, никто ничего худого про нас не подумает.

Кумарбек опять промолчал. Странны были для него эти слова: сидевшая рядом с ним женщина казалась ему такой безнадежно старой, что он не решился бы определить ее возраст.

— Вот мы и дома, — сказала Шекер, выходя из машины и даже не поблагодарив безмолвного шофера, ко-

торый за все время пути так и не обернулся к ним ни разу.

Кумарбек собирался было проститься и идти дальше по своим делам, но навстречу им уже спешил полный пожилой мужчина, лысый, с горбатым носом.

— Ну как доехала, Шаке? Не заждалась ли машины? — спросил он заискивающе.

— Разве твоя машина приходила хоть раз без опоздания? Конечно, пришлось ждать.

— Ой, сегодня такой день тяжелый, совещание, а ему стоять пришлось. Я его только перекусить отпустил...

— Ладно, не будем спорить при госте. Вот, познакомься с моим земляком.

— Да, да, прости, родной. Стараюсь жену не обидеть, ну и забыл познакомиться. Мое имя Окас, — мужчина протянул Кумарбеку руку.

— Кумарбек.

— Ладно, об остальном поговорим дома. Входите...

А в доме, за угощением, речь зашла о портрете. Нет, не о портрете Купии — о нем Шекер и не упомянула ни разу: она желала, чтобы молодой художник написал ее портрет.

— Только не для газеты, — сказала она, чуточку скривив губы и этим как бы давая оценку работе торопливой и недолговечной. — Очень-очень хотела тебя попросить. Я ведь кое-что о тебе слышала, земляки не однажды говорили...

Кумарбек сильно сомневался, чтобы земляки Шекер могли ей что-то говорить о нем, понятия не имевшем, из какого уголка Казахстана она родом. Но возражать он не стал, даже чуточку польстило это настоятельное желание заказать портрет именно ему. К тому же было любопытно узнать поближе эту женщину, известную актрису, о которой ему пока что удалось слышать лишь недоброе. А какой будет она на полотне? Ведь он и сам, почти случайно, подсмотрел в ней черты, какие отнюдь не красят... Например, хищность. Но, может быть, он ошибся? Вряд ли!

Так или иначе, Кумарбек дал согласие писать портрет Шекер.

Но, как ни странно, во все последующие встречи вни-

мание его больше занимал ее муж — Окас, чем сама Шекер.

Были все причины именовать Окаса счастливецом, избранником судьбы, получавшим от нее лишь подарки. Наверняка он у многих вызывал зависть, и неспроста. Жизнь, которая нередко бывает скаредной, отнеслась к нему со щедростью. И положение, и достаток, и семейное счастье — еще бы, такая прославленная жена! — все было отпущено ему полной мерой.

И образование он получил, и побеседовать мог на любую тему, что вполне соответствовало солидной внешности человека, умудренного житейским опытом и весомым багажом знаний. Просторную четырехкомнатную квартиру он сумел прекрасно обставить, детей вырастил. Впрочем, если он порывался сказать что-то о детях, уже отделившихся, взрослых, Шекер всякий раз недовольно прерывала разговор. Как известно, взрослые дети старят женщину, и она явно избегала этой темы, чего Кумарбек не мог понять, перед ним-то она могла бы не молодиться! Но, видно, сказывалась натура актрисы, все еще игравшей роль молодых женщин. Ей необходимо было всегда оставаться в форме, а для нее формой, из которой она не смела выйти, была непреходящая молодость, и она почти инстинктивно устраняла со своего пути все, что могло бы нарушить установившееся равновесие.

Хотя Кумарбек мог таким образом объяснить ее отношение к любому слову о детях, понять это ему все равно было трудно. Тем более что он замечал, как удручающе это всякий раз действует на Окаса, пусть тот даже и пытался скрыть горечь под шуткой.

Так чему же тут завидовать? Тому, что в любое необходимое время суток к дому его, блистая свежей краской, подкатывает новенькая «Волга»? Тому, что он давно уже не ходит пешком, не считая того, что от полноты приобрел одышку, да и походка, видимо, с годами стала грузной, и ноги не слишком-то слушаются?

А человек он, судя по всему, добрый, мягкий. Не забывает родных и близких в ауле, тепло говорит о сотрудниках научно-исследовательского института с мудреным названием, где он — один из руководителей.

Правда, слова о руководителе в науке Кумарбек давно уже воспринимал с недоверием — возможно, по

молодости. Слова «учитель», «наставник» ему нравились, в них он верил. Своим учителем он считал Еркина Омиржанова, хотя тот и не всегда мог уделить ему время. Он очень бы хотел, но пока что побаивался считать своими учителями и Пикассо, и Рембрандта, и Репина. Да разве только их! Сотрудников газеты, где он решил поработать, пока не накопит достаточный творческий багаж для вступления в Союз художников, он считал своими наставниками. Действительно, в повседневной работе ему трудно пришлось бы без их советов и замечаний: поначалу он с трудом угадывал, если вообще угадывал, что сохранится в рисунке, а что исчезнет при печати. Он привык выполнять каждый рисунок в одном единственном экземпляре и тщательно заботился о точной передаче тонов и полутонов, использовал порой слишком тонкий штрих. В газете же выразительности нужно было добиваться более простыми средствами. И тут, особенно поначалу, добрая подсказка была необходима.

Но вот наука виделась ему чем-то совсем иным. Имея о ней представление весьма, конечно, отдаленное, он испытывал ко всему, что связано с наукой, почтительное уважение. Нет, этого мало: скорее, трепетное любопытство. Наука, как казалось ему, это всегда нечто новое, внезапное, как взрыв. Рождаются открытия — и опрокидывают теории, признанные научные авторитеты.

Во время небольших передышек он завязывал с Окасом разговор об этом. Выслушивал спокойные рассуждения о планомерной научной работе, соглашался и тут же начинал спорить. Он знал за собой эту черту: до хрипоты, до изнеможения воевать за то, что считал верным и справедливым. Полемики с ребятами в армии, а потом в училище научили его выслушивать и чужое мнение, притормаживать самого себя, так делал он и на этот раз, однако согласиться не мог. Окас был терпелив, спокоен, но за этим спокойствием Кумарбеку чудилась инертность мышления, спокойствие иного плана — стремление пожилого человека, достигшего вершин, удержаться на этой высоте, избегая всякого рода волнений, попридерживая все то, что могло бы поколебать прочно вросшие в научную почву удобные стулья.

Рядом с Окасом Кумарбек чудился самому себе этаким неловким парнем, в великоватом — на вырост, что

ли, купленном? — costume, с жесткой, непослушной шелвелюрой. Глядя на своего солидного собеседника, который любой вопрос встречал понимающей усмешкой — она особенно раздражала, — Кумарбек пытался объяснить, что в науку человека нельзя вводить за руку, что новой работой трудно руководить тому, на чьи выводы и вчерашние научные построения эта работа посягает. Если же она не посягает ни на что — где же тут открытие?

Окас, с понимающей улыбкой старшего, умудренного опытом человека, пояснял Кумарбеку, как строится научная работа в институте, перечислял названия работ, где Кумарбек не понимал ни единого слова, и создавалось ощущение, будто два человека разговаривают на разных языках. Один, опираясь на здравый смысл и логику, стремился подчинить науку достижению обозримых человечеству жизненных благ, другой, с вершины собственного житейского благополучия, обозревал дальние перспективы фундаментальных научных достижений.

Спор заходил в тупик. Обстановку обычно умела разрядить Шекер, готовая вновь позировать.

И Кумарбек видел, как постепенно гаснет лицо Окаса, в глазах появляется уже ставшая привычной тоскливая тревога. В таком вот состоянии тревоги и вместе отрешенности солидный этот человек иногда просто мыкался по квартире, пока Шекер позировала Кумарбеку.

К работе над портретом Кумарбек всегда приступал с осторожностью. Много времени тратил на подготовку, и частью подготовки становилась внутренняя готовность начать работу. Он скрыл от Купин, что пишет портрет Шекер, но ему страстно захотелось воссоздать этот характер, жесткий, явно незаурядный. Кумарбек уже написал портреты нескольких известных в республике людей. Возможно, это была дань юношескому тщеславию, но ему хотелось создать, пусть пока и небольшую, портретную галерею, и первенство он отдавал пока что людям прославленным, полагая, что среди них найдет характеры наиболее яркие и выразительные.

И все равно ни один портрет не дался ему без мучений, без предварительного поиска, когда, пытливо вглядываясь в лицо своего героя, он надеялся заглянуть в самую душу его, понять — а что там, дальше? . .

Но портрет Шекер давался ему особенно трудно. Он видел перед собой усталое настороженное лицо немолодой женщины, однако едва она начинала позировать, как лицо это принимало выражение девичьего наивного кокетства. Чувство внутреннего протеста мешало ему зафиксировать это выражение, но неосознанная застенчивость не позволяла положить на полотно и все подспудно угаданное, жесткое, хищное, властное.

А еще труднее было писать два портрета одновременно: Шекер и Купии. Не только двух разных женщин, два несходных мира!

Шекер не просто попросила — она почти принудила его приняться за работу, когда душа у него совсем не лежала к этому. А вот Купия отнеслась с непривычным для него равнодушием к самой идее создать ее портрет, даже попросила поначалу: «А может, все-таки не надо? К чему это?»

Терпение Купии, когда она позировала, бывало порой таким унылым, что Кумарбек спешил припомнить, а то и выдумать какую-нибудь забавную историю, смешное происшествие, которому якобы сам был очевидцем. Купия вежливо улыбалась.

Зато Шекер была исполнена подъема и жизнерадостности, готовности часами сидеть не шевелясь перед мольбертом. После сеанса поспешно накрывала на стол, просила отобедать у них.

А рядом с ней, вокруг стола, неприкаянно мыкался хозяин дома Окас, покорно выслушивал резкие, а то и откровенно язвительные замечания жены, иногда пытался жалко отшутиться, чаще мрачнел, замыкался.

Кумарбек мог лишь догадываться о причинах неблагополучия в этом таком с виду счастливом и благополучном доме...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Окас, твой долг — мне помочь. Мне нужна серьезная помощь.

— Дорогая, ты же знаешь, ради тебя я готов на все.

— Ты убежден в этом? Ты действительно готов на все?

Шекер пытливо посмотрела на мужа. Что-то в этом долгом взгляде встревожило Окаса, и он спросил:

— Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду? Шекер с горьким смехом откинулась на стуле.

— Этого я и боялась. Твоя готовность слишком застенчива, она ограничивается лишь робкими заверениями и тут же готова на попятный.

— Дорогая, ты говоришь туманно, я не могу понять. Какая тебе нужна помощь?

— Повторяю: серьезная, очень серьезная.

— У тебя что-то случилось?

— Да, случилось.

— Неприятности?

— Хуже.

Шекер умолкла. Молчал и Окас в ожидании, когда она снова заговорит. Он знал: если уж жена начала какой-то важный для нее разговор, связанный с непременной просьбой, то доведет его до конца. Действительно, не прошло и нескольких минут, как Шекер произнесла скорбно:

— Труд актера — это труд на износ. Некоторым жизнь наша представляется сплошным празднеством, торжеством. Они видят лишь внешнюю сторону: успех, слава, аплодисменты. Но если бы они заглянули за кулисы, когда измученный артист не в силах бывает даже снять грим после спектакля... Впрочем, нужно влезть в нашу шкуру, только тогда все это можно понять.

Окас невольно усмехнулся: он мог бы сказать о себе, что узнал всю черную сторону актерской жизни, познал ее тяготы, неудачи, ревнивое соперничество лучше, чем радости и торжество, недоступные для него, ведь его-то жизнь, в сущности, протекала за кулисами театра. Но он промолчал, как привык молчать за годы совместной жизни, боясь всякий раз вызвать раздражение жены.

Шекер поймала его усмешку, спросила язвительно:

— Кажется, я тебя немножко позабавила?

— Ну что ты говоришь! — смутился Окас. — Слушаю тебя внимательно. Что у тебя произошло, дорогая?

— Если бы только произошло! Происходит. Будет происходить. Я просто в отчаянии.

— Но в чем дело?

Шекер опять помолчала, вздохнула, устало опустила голову на руку.

— Помнишь, я говорила о молодой актрисе? Ее приняли в наш театр из самодеятельного ансамбля...

— Кажется, ты говорила, что она уже пела на профессиональной эстраде.

— Это не меняет дела, — досадливо возразила Шекер. — Девочка из самодеятельности — и по манере петь, и по всем замашкам. Как раз профессионализма ни грана.

Окас сказал осторожно:

— Ты бы могла, конечно, ей помочь. Как родители повторяют себя в детях, так и учитель...

Он не договорил. Понял по изумленному лицу Шекер, что она вовсе не это имела в виду. Досадливо крикнув, Окас решил только слушать: удивительно, как это он все еще не изучил характер своей жены.

— Ты обезумел! — Шекер не говорила, а почти кричала. — Повторять себя? В ком? Я была и остаюсь сама собой, без этого я никогда не решилась бы назвать себя актрисой. У меня — опыт, репертуар, любовь зрителей. И все это отдать какой-то выскочке? Я — это я, понятно тебе? Никто другой повторить меня не сможет!

Окас слушал, отводя глаза, стараясь не встретиться взглядом с женой. Такова она была все годы, пока они вместе, такой, видно, и останется: никаких уступок никому и ничему, даже годам.

Шекер говорила и говорила, но Окас уже не слушал. Он вспомнил, как несколько лет назад, когда в их доме еще собирались коллеги Шекер, однажды за столом кто-то провозгласил игривый тост — за любовь и одновременно за хозяйку дома. Поначалу это прозвучало, как показалось Окасу, весьма для него лестно: «За Шекер, полюбившую однажды и на всю жизнь!» Помнится, он сконфузился, закашлялся, но концовка тоста была неожиданной: «...однажды и на всю жизнь — самое себя!»

Должно быть, товарищи по театру знали жену его лучше, чем он. Всегда все — для себя. Раньше он объяснял это беззаветной преданностью искусству, но ведь служение искусству требует от человека самоотверженности, а Шекер и в искусстве любила только самое себя...

— Ты слышишь? Сумеешь это организовать?

Окас, не слышавший заключительных слов Шекер, растерянно пожал плечами:

— Нужно подумать...

Он знал, что коль скоро появилась у его жены настоятельная просьба, она будет повторена много раз, поэтому не стоит переспрашивать, чтобы не навлечь на себя лишний раз гнев и упреки.

— Я не могу выступать вместе с ней в концерте, не могу и отказаться — это примут за уловку, за малодушие. Придется купить большую часть билетов, пригласить наших знакомых, твоих сослуживцев...

— Не могу же я торговать билетами! — воскликнул ошеломленный Окас.

— Позволяю тебе их раздарить, лишь бы твои знакомые получше мне аплодировали. Мне, а не ей.

— Подумай, о чем ты говоришь! Неужели я стану обращаться с этим к порядочным людям!

— Вот как? Тогда придумай что-нибудь другое, а не сумеешь — уж, пожалуйста, выполни мою просьбу, иначе... давай наконец разрубим эти путы, и дело с концом.

Окас взглянул на Шекер: не шутит ли она? Нет, она говорила вполне серьезно. Стояла перед ним во весь рост — ноздри расширены, лицо побледнело, большие серые глаза — почудилось ему — налились кровью, как у волчицы, готовой броситься на овцу. Да, такая не остановится, пока не обагрит руки кровью противника либо сама не изойдет кровью. Но что с ней? На глазах уже слезы. Истерика. Не явная — скрытая истерика, хорошо ему знакомая, когда слезы высыхают мгновенно, будто испаряясь от внутреннего накала ненависти, упрямства, стремления во что бы то ни стало настоять на своем.

— Ты хорошо меня понял? Может быть, вы все хотите, чтобы я повесилась?

Нет, нет, она вовсе так не думает. Просто все средства пущены в ход, чтобы добиться цели — устранить с пути возможную соперницу. Какой тяжелый, опасный человек...

Шекер вышла из комнаты с высоко поднятой головой, Окас же погрузился в свои печальные думы. За годы совместной жизни он все еще не привык к этим переменам в настроении жены, к этим неистовым взры-

вам раздражения, угрозам, недостойным близких людей. Угрозы для Шекер давно стали одним из способов добиться своего. «По миру пущу!» — было одной из ее любимых фраз. В самом деле, в наше время закон, коллектив, родня — все поддерживают женщину: стоит Шекер пожаловаться — и его разнесут в пух и прах, а причину для жалобы она уж сумеет найти, сыграть обиженную, затравленную мужниной жестокостью тоже сумеет. И тогда прощай должность, до которой вторично ему уже не дотянуться...

Теперь она чуть ли не каждый день подчеркивает, что с годами между ними растет различие, демонстративно величает его при людях «стариком». А сама — «каменный цветок», как бросил в шутку один молодой актер.

Он же все чаще с болью вспоминает восемнадцатилетнюю Шекер, которая приехала в Алма-Ату учиться, — веселую, жизнерадостную, мечтавшую стать композитором. Она поселилась у родственников, в том самом доме, где жили Окас и его жена Жулдуз, врач. Его тогда восхищала смелость и решительность девушки, так непохожей на своих застенчивых подружек. Он и не скрывал своего восхищения, верил, что при ее упорстве и решительности она непременно добьется своего — станет композитором. По всей республике не хватало национальных кадров в искусстве, особенно мало было женщин. Талантливому молодому композитору-девушке открыты все пути, и первый из них — путь к славе. Окас не сомневался в даровании молодой соседки: он всегда был убежден, что упорство и целеустремленность идут с талантом рука об руку.

Талант — это и есть горячая, неистребимая увлеченность каким-то одним делом.

Окас не знал в подробностях, как идут у Шекер дела. Слышал, что она поступила в Институт искусств, видел ее вечно куда-то спешившей, озабоченной, иногда лицо ее светилось радостью, порой казалось унылым и мрачным.

Поначалу у него и в мыслях не было, что интерес его к молодой соседке может перерасти в другое чувство. Он даже сделал так, что сама Жулдуз пригласила Шекер заходить к ним, старалась угостить ее получше, посытнее. Жулдуз... Ее называли красавицей. Самое имя

ее — Жулдуз, что означает «звезда», удивительно ей подходило: она как бы вся лучилась изнутри добротой, приветливостью, отзывчивостью. Но именно эта ее отзывчивость порой делала жизнь супругов почти невыносимой. Окас не мог привыкнуть к тому, что по первому зову Жулдуз спешит в семью, где заболел ребенок, — она была детским врачом, — а Жулдуз болезненно огорчалась, уходила в себя, слыша его сетования и упреки. Беда в том, что он стал сомневаться в неотложности вызовов к больным. Он получил два или три анонимных письма, в которых неведомый доброжелатель раскрывал ему глаза на неприглядное поведение его супруги. Случалось, в строках письма проскальзывала насмешка, доброжелатель и сочувствовал ему и издевался над его недалечновидностью, тупым терпением. За письмами последовало несколько странных телефонных звонков — мужские голоса вызывали к телефону Жулдуз именно в те часы, когда она отлучалась из дому, не назывались, дерзили ему.

Однажды Жулдуз уехала в командировку в отдаленный район. Неожиданно поздним вечером к Окасу проскользнула Шекер, бросилась ему на шею и, рыдая, привалась в любви. Она ничего не требовала, каялась в своей вине, если можно любовь назвать виной, гладила его руки, повторяла, что бросает все, уезжает обратно в аул, лишь бы забыть, вырвать из сердца овладевшее ею чувство.

Он был потрясен, утешал девушку как мог, исполненный нежности и благодарности. Никогда не слышал он подобных слов от сдержанной и вечно занятой Жулдуз. А тут еще эти анонимные письма, звонки. . .

Однако он ничего не смог сказать жене, было в Жулдуз что-то вызывавшее у него трепетное уважение. Она даже о письмах так и не узнала. Но правда раскрылась для нее во всей отвратительной неприглядности, когда однажды, тоже поздним вечером, к ним пришла заплаканная Шекер, вызвала Окаса в кухню и сказала ему о своей беременности. Женское чутье подсказало встревоженной Жулдуз истину, впрочем Шекер того и хотела. Прошла мимо Жулдуз по коридору, ни слова не сказав ей, оглянулась на Окаса, бросила коротко: «Я жду!» — и выбежала со слезами.

Разные женщины ведут себя по-разному в подобных

ситуациях. Позже Окас думал, что, если бы их поменять ролями, Жулдуз никогда не поступила бы подобным образом, а Шекер, будь она тогда его женой, ни за что не уступила бы своего места. Но каждая из них оставалась самой собой: Жулдуз, потрясенная, подавленная, стала немедленно собирать свои вещи, чтобы вернуться к родителям. Отъезд ее облегчало то, что детей у них не было. Окас, ревниво и придирчиво наблюдавший за действиями жены, поверил про себя в правоту анонимных писем, слишком уж, как ему казалось, легко жена готова была с ним расстаться. Оскорбленный сам и телефонными звонками и письмами, таивший это глубоко в душе, он не в силах был понять, как глубоко оскорблена Жулдуз.

Стоило двери закрыться за его женой, и к нему ворвалась Шекер, сияющая, влюбленная, счастливая, благодарная.

Лгала ли она ему тогда? Руководил ли ее действиями грубый примитивный расчет? Возможно, и нет. Просто она брала свое. А его она уже считала своим. Если же говорить о любви... У нее была счастливая способность проникаться пылкой привязанностью к тем, кто бывал ей нужен, и утрачивать привязанность, если нужда в человеке отпадала... В ту пору ей, при всей ее неутомимой настойчивости, приходилось нелегко. Пробы ее на композиторском поприще оказались несостоятельными, сочиненные ею одну или две песни сочли попросту заимствованными. Но спела она песни собственного сочинения сама, и спела неплохо. Так стала она студенткой вокального отделения, с тем же самым жаром мечтала о карьере певицы, как до этого о славе первой женщины-композитора в республике.

Окас Сарманов был известным ученым, знакомства и связи имел самые обширные, и это, разумеется, выделяло Шекер из среды молодых певиц. Фамилия Сарманова сама по себе открывала многие двери, но для Окаса дальнейшая жизнь складывалась так, что его дела как бы отодвинулись на второй план. Постепенно из ученого он превращался в чиновника, администратора, хотя с большинством чисто административных забот вполне справлялись его помощники. Сам же он постоянно был занят делами Шекер. Видимо, она не отдавала себе отчета в том, что буквально каждый час суток,

каждая мысль Окаса были заполнены хлопотами о ее устройстве, ее благополучии, должной оценке ее дарования. Его тревоги, его научные поиски совершенно ее не интересовали, представлялись ей неимоверно скучными и вообще нужными лишь для получения приличной зарплаты и солидной должности. Трое детей, которых она подарила Окасу, выросли как-то сами по себе, почти лишенные материнской ласки, под присмотром приглашенных из аула родственниц.

Не только жизнь Окаса, но и жизнь детей была полностью подчинена волнениям и взлетам театральной карьеры Шекер. Однако требований, подобных нынешнему, она еще ни разу ему не предъявляла...

Окас, сгорбившись, сидел в кресле, вновь и вновь испытывая горькие сожаления о бездумно утерянном покое. Покой был утрачен навсегда с приходом Шекер. И вот теперь это унижительное требование, способное лишить его уважения самых снисходительных знакомых и друзей...

Шекер, сидя в соседней комнате, с раздражением прислушивалась к тяжким вздохам мужа. Время пылкой влюбленности давно миновало, и теперь она порой сомневалась, была ли она вообще по-настоящему влюблена в этого медлительного человека, способного подолгу размышлять даже над маленькой ее просьбой, такую неговорчивого в особо ответственные моменты.

Конечно, это было очень важно для нее — готовая квартира с готовыми вещами, покладистый муж, готовая работа. Иные всего этого добиваются годами. Но разве не ее ум, воля, находчивость помогли ей обрести все разом? Окас в то время был очень привлекателен, и она не на шутку увлеклась им. Оказавшись в их доме, она заметила, что в жизни супругов не все идет ладно. Жулдуз, с ее самоотверженной любовью к чужим детям, готовностью бежать в любое время суток на помощь незнакомым людям, была непонятна Шекер. Она заметила досаду и ревность Окаса, а дальше... Если Жулдуз так и не узнала об анонимных письмах, то Шекер и по сей день помнила каждую строку, хотя написаны были письма не ее почерком. Ну что ж, Жулдуз сама повинна, если всему написанному можно было поверить.

Знала Шекер и про телефонные звонки, да и как

было не знать! Звонили-то ее приятели, убежденные, что просто кого-то разыгрывают, но никому не причиняют ни зла, ни вреда. Шекер сумела их в этом убедить.

Окас сделал хорошую карьеру, имел солидное положение. Шекер была убеждена, что в дальнейшем долгого — помочь ей сделать такую же карьеру в искусстве. Родив троих детей, она зареклась больше детей иметь. Нужно было думать о себе, о своей внешности, фигуре.

Ну что ж, должно быть, именно поэтому она так хорошо сохранилась. Кто сказал бы, что она — мать троих взрослых детей? Хотя ей около сорока, талия у нее гибкая, морщин нет. Слегка наметившиеся тонкие линии вдоль щек она ловко маскирует косметикой, а вообще, как говорят, гоняется за каждой морщинкой, подолгу просиживает у зеркала. Где-то, еще в ранней молодости, она услышала французскую поговорку: «у женщины есть лишь одна возможность быть красивой, но тысячи возможностей красивой казаться». Поговорка прилась ей по душе, стала своего рода руководством. Свою внешность она изучила подробнейшим образом, безжалостно отмечала каждый пробел, допущенный природой. Короткие рыжеватые ресницы, веснушки на лице, толстая и короткая нижняя губа... Зато глаза большие, брови, в отличие от ресниц, темные, высокие.

Сидя перед зеркалом, Шекер чувствовала себя художницей, завершающей работу над портретом. Просиживала подолгу, трудилась неторопливо, меняла выражение лица, чтобы потом уже непроизвольно следить за своей мимикой. А разве не так должна поступать любая актриса? Иногда бывает мало даже прекрасного голоса, если артистке или артисту недостает сценического обаяния. В других случаях сценическое обаяние помогает скрыть недочеты в исполнении: одни зрители их не замечают, другие прощают, покоренные согревающим зал обаянием.

Это немалое искусство — выглядеть красивой. Шекер научилась прятать все неприглядное и как бы напоказ выставлять лучшее: когда она шла по улице, многие останавливались, узнавая ее, почтительно уступали дорогу, смотрели вслед. И она приветливо улыбалась навстречу людям, не различая лиц, — все они были для нее той зрительской массой, что поднимала ее, награждала

аплодисментами, подносила цветы. Красиво причесанная, статная, всегда нарядно одетая, она шла к театру, сверкая дорогими серьгами и кольцами, поражая женщин модной новизной туалетов...

Сидя в соседней комнате, Шекер слышала, как Окас с трудом поднялся, прошелся по комнате. Чутким слухом она улавливала по его шагам, по унылому кряхтению, с каким он поднимался, что он страдает, колеблется. Ну и пусть. «Старик,— подумала она с отвращением,— старческий склероз!»

Ничего, она сумеет обойтись и без помощи Окаса. В голове у Шекер стал в подробностях вырисовываться другой план: она позвонит в общежитие Педагогического института, пригласит дочь своих односельчан — эта девушка приходит помогать ей по хозяйству и от нее тоже получает помощь деньгами, подарками.

Девушке нужно будет дать кипу афиш и денег на такси; до концерта, где вместе должны выступать Шекер и Купия, еще целая неделя. Устроители концерта постарались: помимо афиш общих каждому дали отдельную, с портретом. Так вот, афиши с портретом Шекер и сообщением о концерте нужно будет клеить прямо на афиши Купии. С нее довольно нескольких, что останутся на дальних улицах, и это вполне справедливо. Нельзя ставить знак равенства между опытной, известной актрисой и девочкой из самодеятельности, без опыта, без мастерства, выезжающей лишь на эмоциях.

Шекер поднялась, приосанилась. Пожалуй, она была слишком резка с Окасом, не привыкла за долгие годы мириться с его дряблым характером, безвольным упрямством. Разумеется, она могла бы в два счета разрушить его карьеру, избавиться от него... Только нужно ли это?

Ничего, во-первых, впереди еще есть время, а кроме того, даже если он будет стоять на своем, это не повод, чтобы разрушать вместе с его карьерой и свой очаг, созданное годами благополучие.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Втайне от всех Купия писала стихи.

У каждого стихотворения из ее маленького карманного дневника была своя история.

Самое первое она записала в поезде, возвращаясь в Алма-Ату из отпуска, проведенного в Доме отдыха. Собралась и уехала она поспешно, почти никому не сказавшись. Впрочем, вряд ли многим, кроме ближайших товарищей по работе, следовало об этом знать.

Уехала Купия вскоре после концерта, на котором пела и Шекер.

Странное чувство осталось после этого концерта. Ее хорошо приняли, несколько раз вызывали. У входа в концертный зал она видела людей, искавших лишний билетик. Между тем в зале оставалось много свободных мест, а это неизбежно вызывает у артиста чувство горечи.

Кто-то из своих шепнул ей, будто много билетов купил Окас, муж Шекер. Чуть ли не все первые ряды. Но именно эти ряды и пустовали. И Купия не поверила. Решила, что билеты были оставлены для приезжих гостей или для участников какого-нибудь совещания, в общем, для тех, кто хотел, но по серьезным причинам не смог прийти, а вовсе не для того, как ей сказали, чтобы устроить нарочито бурную овацию Шекер. . .

Бесконечная серая степь, серое небо перед глазами. Со свистом проносятся мимо окон телеграфные столбы, и поезд спешит, набирает скорость, точно пытается уйти и от этих похожих один на другой столбов, и от печального однообразия осенней степи.

А может, он торопится поскорее прибыть в Алма-Ату?

Купию не оставляло неосознанное чувство вины. Как ни старалась она убедить себя, что ни в чем не повинна перед Кумарбеком, посторонним молодым человеком, моложе ее, тягостное чувство не проходило.

Нет, он давно уже не был для нее посторонним, Кумарбек, как ни пыталась она убедить в этом себя и его. Разве с самой первой встречи не испытала она щемящую боль и радость, разве не испытывала потом пьянящего удивления от одной лишь возможности взглядываться в чужую душу и открывать в ней то нечто родственно близкое, то совсем неведомое.

В Доме отдыха она не отличалась общительностью, свойственной многим отдыхающим, избегала новых знакомств. Ей нравились долгие одинокие прогулки — они давали возможность вспоминать. . .

Она позировала Кумарбеку в театре, обычно после репетиции. И после каждого сеанса пыталась побыстрее проститься с ним и уйти, но потом уступала его настойчивым просьбам и разрешала проводить себя. Он мог бы посадить ее на автобус, но такая мысль не возникала ни у него, ни у нее, и они шли пешком, выбирая самую длинную дорогу, присаживаясь на скамью в городском парке отдохнуть. Это лишь казалось, что необходимо отдохнуть: просто ничто так не продлевает дорогу, как передышки в пути. И ничто так не располагает к разговору.

Купия говорила мало, больше слушала. Случалось даже, напускала на себя излишне холодный вид, вроде бы не поощрявший собеседника к дальнейшему разговору. В первые дни Кумарбек терялся, умолкал, молча шагал с ней рядом, и вдруг она сама, вскользь брошенным вопросом, показывала, что разговор не прерван, она ждет продолжения. Поначалу он терялся еще сильнее, пытливо вглядывался в ее лицо, видимо стараясь разгадать, не простое ли это проявление вежливости в ответ на его назойливость. Она повторяла вопрос и с нежностью, пугавшей ее самое, наблюдала вспышку почти мальчишеской радости...

Майским утром, когда она всматривалась из окна в оживленную праздничную толпу, раздался телефонный звонок. Предчувствие тогда не обмануло ее: она услышала голос, который сразу помог ей забыть и обиду свою и Домбая:

- Доброе утро, Купия!
- Здравствуй, Кумарбек.
- С праздником тебя, Купия!
- Спасибо, пусть этот день будет праздничным и для тебя...
- Если ты мне этого желаешь, выходи на улицу, погуляем вместе.
- Куда ты собираешься повести меня?
- Куда захочешь.
- Нет, нет, извини, лучше в другой раз.
- Когда же ты перестанешь откладывать до другого раза?
- Не нужно об этом, Кумарбек.
- Но почему? Если я слишком назойлив и тебе неприятны мои звонки, скажи...

— Разве в этом дело? Просто я не пара тебе, Кумарбек.

— Как ты можешь такое говорить? Это мне нужно тянуться и тянуться до тебя.

— Хочешь знать правду? Я же старше тебя, и со здоровьем у меня неважно.

— Не надо мне такой правды! Опять скажешь: «Целых три года разницы!» Ну и что? Я не вижу ее, этой разницы, и не увижу никогда! Они ошиблись, писавшие твою метрику, вот что я тебе скажу.

— О да, предсказали мой приход за три года!

— А что ты думаешь? Предчувствовал же я нашу встречу. И, кстати, тоже за три года. Все сходится.

— Кумарбек, прошу, забудь меня.

— Это не в моих силах. Во всем остальном ты вольна приказывать, но в этом — нет.

— Кумарбек, извини, я кладу трубку.

— Ты обиделась?

— Нет, кто-то звонит, нужно открыть дверь...

В дверь звонила соседка, просила о какой-то мелочи, но в дверях задержалась, стала рассказывать про сына, который не хочет учиться, пожаловалась на здоровье и, в общем, отняла немало времени.

После ее ухода Купия занялась домашним хозяйством, но ничто у нее не клеилось: начинала мыть посуду — и бросала, решила почистить кастрюлю — и кастрюля валилась из рук. Расстроенная, она пошла в свою комнату, прилегла, взяла в руки первый попавшийся журнал, но через несколько минут поймала себя на том, что не помнит ни слова из прочитанного.

Думать она могла только о Кумарбеке.

Весна в природе повторяется, но повторяется ли весна в человеческой жизни? Нет, не повторяется. И не нужно обманывать себя надеждой на новую весну. Женщину иногда уподобляют прекрасному цветку. Лестное сравнение! Лестное, но и не обнадеживающее, к сожалению. Жизнь цветка, самого прелестного, коротка. Начинается увядание — исчезают и кружившиеся около цветка мотыльки.

Разве не то же испытывает и женщина? Разве не испытывает она в пору увядания горечи, видя, как редет число поклонников, кружившихся возле нее, щедро осыпавших ее комплиментами?

Нет, Купия не могла пожаловаться на отсутствие внимания со стороны молодых людей. Поклонники были у нее и в театре, и из числа зрителей, хотя постоянная холодность и сдержанность девушки многих довольно быстро отпугивала. Подобные потери не вызывали у нее сожаления. Она прекрасно понимала, что среди внешне вежливых и деликатных кавалеров, всегда готовых проводить ее после спектакля или концерта, немало просто ловцов легкой удачи.

Иное дело Кумарбек. Каждая их встреча — вспышка радости. Купия пытается свою радость скрыть, минутами становится более сдержанной, чем обычно. Он же ничего не хочет и не умеет скрывать, и она полна благодарности к нему за то, что он просто радуется, независимо оттого, сердита ли она или добра к нему. Радуетесь потому, что ее видит, потому что они идут рядом. А глядя на нее, смешно жмурится, будто ребенок, которого слепит солнце.

И она сама около него оттаивает, хотя всячески старается не подавать ему излишних надежд.

Права ли она, что непрерывно колеблется, решает, хорошо или дурно поддаваться чувству? Но ведь она действительно старше и обязана все обдумать и взвесить. Сегодня он тянется к ней, а что будет завтра? Мужчина, молодой человек, даже ровесник, чувствами всегда моложе, чем женщина, и, наверно, путь его в любви более долг. Что будет завтра с ним? И что будет с ней?

Бесконечные отрывочные мысли Купии прервал телефонный звонок. Снова тот же Кумарбек. Хочет увидеть ее хоть на несколько минут. Просит так, будто целый век этого добивается, а сам лишь вчера провожал ее из театра.

Купия разрешила ему зайти, и он примчался почти мгновенно. Значит, звонил из автомата поблизости. Преподнес праздничные сувениры: духи и маленькую заводную домбру, исполнявшую кюй.

Купия была растрогана и обрадована. Брат и жене уехали, даже забыв поздравить ее, а Кумарбек не один час бродил под домом, чтобы вручить ей заботливо выбранный подарок.

Ах, Кумарбек, наверно, от молодости ты всегда по-

лон огня, энергии. Тебя интересно слушать — ты много знаешь, ум у тебя пылкий, ищущий.

Даже поспорить с тобой бывает интересно. Любой, самый маленький спор взбадривает, вызывает новые мысли.

Сколько подлинного огня, чувства и сколько профессионализма должен нести на сцену актер? Кумарбек спорил об этом так пылко, будто сам намеревался стать артистом.

Купия насторожилась, едва он заговорил о чувстве самосохранения, необходимого любому, кто посвятил себя искусству. Слушала, не глядя ему в глаза, ожидая слов, похожих на произнесенные некогда Домбаем. Не пытается ли и этот молодой человек изложить свои взгляды на жизнь, не собирается ли сказать, что женщина должна беречь себя для главного предназначения — ухода за любимым?

Но ничего подобного не было в словах Кумарбека, и, выслушав его, она, к его удивлению, рассмеялась.

— Тебе это кажется смешным? — спросил он с легкой досадой.

— Нет, я смеюсь над собой.

— Значит, ты не согласна?

— Я смеюсь над своей непонятливостью. Повтори мне, пожалуйста, все сначала, и я пойму, согласна я или нет.

Он вновь терпеливо, будто ребенку, начал объяснять ей, что, по его мнению, нет, по глубокому его убеждению любому человеку искусства необходимо безотказное чувство самосохранения. Талант — это не личная собственность, им никто не имеет права распоряжаться безрассудно, а между тем сколько можно найти примеров такого безрассудства. Не случайно бытуют выражения «растрчивать талант», «губить талант», «зарывать талант в землю...» Каждый, одаренный талантом, обязан и беречь его и защищать порой от самого себя...

— А как человеку угадать, талантлив ли он или всего лишь обольщается пустой надеждой? — спросила Купия.

И опять Кумарбек терпеливо, сдерживая свою горячность, стал объяснять, как это, в общем, нетрудно — разгадать у человека талант и как в то же время легко его утратить, не свершив ничего. Талант без подлинного

профессионализма подобен чудесному роднику, который уходит в землю, ничем никого не одарив. А что касается чувства самосохранения, то артисту, выходящему на сцену, оно особенно необходимо...

— От кого же должен охранять себя артист? — с улыбкой спросила Купня. — От зрителей?

— В какой-то мере да. И от себя самого тоже. Например, у артистов из самодеятельности почти всегда много чувства, очень много. Профессионал не смеет идти на такие щедрые траты.

— Вот как? Значит, талант — это нечто не связанное с чувствами? И зрители не поймут, что у артиста сердце — холодный камень?

— Я этого не сказал. Талант — это сам человек, весь, со всеми своими чувствами, умом, характером. Но на сцену артист несет не только самого себя, не только собственные чувства и свое обаяние: ему предстоит показать людям то, ради чего он вышел — песню, роль, стихотворение, а значит, и чувства других людей, создававших это.

— Неужели артисты этого не понимают? — возразила Купня, и в голосе ее прозвучала нескрываемая обида.

— Прости, я не хотел тебя обидеть. Разумеется, понимают, — взволнованно сказал Кумарбек, мгновенно уловивший перемену в ее настроении. — Просто, я думаю, тут необходимы верные пропорции, а это дается лишь мастерством. Конечно, плох артист, если на сцене он искусственно сдерживает себя, гасит свой пыл... Ты слышала выражение «прицельный огонь»?

Купня кивнула.

— Так вот, прицельный огонь — тоже плод искусства и мастерства и еще — сосредоточенности, точного расчета.

Купня покачала головой:

— Как-то все у тебя слишком рассудочно получается... И почему ты все об артистах да об артистах? Ты же сам — человек искусства, художник. Неужели у тебя все так четко разложено по полочкам?

— А знаешь, мне в чем-то легче. Даже в самые напряженные моменты у меня есть возможность остаться наедине с собой, значит, я могу хоть ненадолго переключиться, взглянуть на себя со стороны. Не подумай,

Купия, будто я хвастун, но дорога моя, как и твоя, определена, и по ней нельзя идти бездумно...

Слова Кумарбека всякий раз заставляли Купию задуматься. Он говорил вообще о судьбе артиста, но она чувствовала: слова эти адресованы именно ей, и это не простая предусмотрительность. Что-то не устраивает Кумарбека в ее выступлениях, хотя она прекрасно знает, с какой радостью он всякий раз приходит на концерт или в театр. Она знает заранее, где он будет сидеть, находит его лицо среди массы зрителей, обращается прямо к нему. И видит, как чутко откликается он душой и сердцем на каждый звук ее голоса.

Так что же он имел в виду? Не хочет же он видеть ее холодно-самоуверенной, подобно Шекер, у которой каждый шаг рассчитан и продуман, а голос скорее напоминает хорошо настроенный инструмент.

Здесь Купия восстала против собственных мыслей. Не зависть ли говорит в ней? И хотя она была убеждена, что нет, отнюдь не зависть, она все же укорила самое себя: не нужно спешить осуждать актрису, добившуюся такой широкой известности. Не лучше ли подумать, чему можно поучиться у нее. Ах, Шекер-апа, как дорого было бы твое слово, твой дружеский совет для той, что еще лишь вступила на трудный сценический путь, по которому ты шагаешь с таким успехом!

Серая, осенне-унылая степь за окном поезда... Она хороша весной в своем пробуждении, а теперь все выжжено палящим зноем летних месяцев, и уходящее на зимний отдых солнце равнодушно накинуло на нее серую пелену неба.

Кулия задремала под ровный перестук колес, как вдруг какой-то неожиданный толчок заставил ее очнуться. Она раскрыла глаза и увидела парящих в небе птиц.

Сразу все ожило, прояснилось вокруг. Беспредельно глубокое небо над степью и сама степь, дремлющая чутко, распахнутая для глаз широко и величаво.

А в небе, ликуя, парили птицы. Пусть они почти не приметны среди гордого величия природы, но они вольны. Пусть малы, но крылаты,

Вновь мысли Купии вернулись к Кумарбеку. Сердце екнуло, едва она вспомнила, что увидит его завтра. Завтра! Но к радостному чувству едко примешивался не-

осознанный страх, тревожное опасение утраты душевной независимости.

Птицы, вот кому можно позавидовать!

Раскрыв на чистой странице маленькую коричневую тетрадь, свой карманный дневник, Купия достала из сумочки красную ручку, подаренную ей Кумарбеком. Строки, в которых была и мольба, и надежда выстоять, защититься, легли на бумагу:

О чем мечтают птицы,
Парящие в небе?
От них не может укрыться,
Что рядом ты не был.

Ты далеко и близко.
Лишь птицы все знают:
И высоко, и низко
Они летают.

Зачем так пылко к другу
Душа стремится?
Летят, летят по кругу
И мысли, и птицы. . .

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Нелегко было на душе у Купии, когда она пришла, надеясь немного побыть в одиночестве, в городской сад.

Она не ошиблась: в эти предвечерние часы тут было почти пусто, и она присела на скамью. Вознамерилась было почитать стихи Есенина, которые прихватила нарочно с собой, но из этого намерения ничего не вышло: буквы расплывались перед глазами, плясали, образовывали причудливые линии, и на открытой странице вдруг всплыло сияющее лицо Кумарбека.

Здесь, на этой скамье, они не однажды сидели после репетиции, и каждый их разговор был похож на исповедь. Точно повстречались два человека, перенесшие долгое вынужденное молчание, и спешат, торопятся поведать друг другу обо всем, что происходило за время, пока счастливые обстоятельства не свели их вместе,— обо всех ошибках, горестях, трудностях, но и радостях также.

Да, то было славное время, но нужно призвать на помощь отрезвляющие силы: Кумарбек слишком молод,

легко идет навстречу первому чувству, она же не смеет этого. По телефону она сказала ему суровые, но справедливые слова. Могла бы сказать и больше: на нее навалилась страшная беда, врач признал у нее порок сердца, а певице необходимы физические силы. Немногие знают, какая это огромная физическая нагрузка — сыграть роль на сцене, не говоря уж о затрате нервной, душевной энергии. . .

Купия на миг освободилась от тяжелых дум, огляделась вокруг. Оттого ли, что не окончился рабочий день, а возможно, из-за осеннего похолодания, в саду не было таклюдно, как прежде. Небо обложили густые черные тучи. Ветер набирал силу, раскачивал ветви деревьев, с сердитым шепотом обрывал и пригоршнями катил по земле желтые увядающие листья.

Картина увядания рождала грустное чувство. Купия подумала, что в непрерывном потоке листопада есть нечто схожее с человеческим существованием: человек растет, распускается, подобно яркому зеленому листу, но и его подстерегает осень, безжалостный холодный ветер. . .

Она открыла сумочку, достала карманный дневник, к которому не прикасалась долгое время. В тревожной скорби увядания ей почудилась холодная горделивая чистота и захотелось излить на бумаге такие же чистые и скорбные чувства. На полупрозрачном листе дневника она вывела слова «Желтые листья» и долго просидела в задумчивости.

Купия знала, о чем хочет написать, но всякий раз терялась, не решаясь приступить к этому. «Странно, — подумала она, — мы часто с необычайной легкостью критикуем какого-нибудь автора, даем советы, учим его. А про то, что сами порой не умеем написать как следует письмо, не говоря уж о книге, не думаем. Что может быть труднее искусства писателя, поэта, заставляющего ожить бумагу?»

Легкий жалобный треск прервал мысли Купии. Она оглянулась — рядом не было ничего, способного внушить беспокойство. Что же произошло? И тут она заметила: упала, сломавшись, одна из веток у нее за спиной.

И сразу пришли первые строки стихотворения:

Металась я одна,
Как желтый лист в последней муке. . .

Сломиться я б могла —
О, если бы не эти руки!..

«Эти добрые руки... Все началось с первого мгновения, когда я увидела Кумарбека. «Будь осмотрительной», — говорила я себе. Зачем? Почему именно эти слова едва ли не первыми пришли в голову? Да оттого, что с этих первых минут я начала бороться с собой. Как говорится, кто обжегся однажды, будет дуть на воду. Но нет, все прежнее не имело никакого значения, обжечься я могла лишь теперь, и это не пугало меня... Знаешь ли ты, Кумарбек, что я уже последовала за тобой?»

И вновь Купни захотелось излить свои чувства в стихах:

В тебе огонь пылает,
О, мой сокровенный,
Преграды сжигая
Меж нами мгновенно.

Быть может, ты судьбою
Мне предназначен?
И я пылаю, не скрою,
Желаньем горячим...»

Но я спасовала...»

«Спасовала... Спасовала...» Слово не ложилось в рифму. Купня про себя повторила его несколько раз, будто наткнулась на невидимую преграду.

Всегда в светлые минуты ей хотелось говорить стихами — подкупала заключенная в них приподнятость, а рядом с непритязательными, наивными строками возникала музыка, иногда ликующая, иногда тоскливая и печальная.

Свой маленький дневник она постоянно носила с собой, в сумочке, боясь, чтобы он не попал случайно на глаза дотошной женге. Стало привычным в минуты одиночества перекладывать на бумагу свои мысли и чувства.

Неудача с последней рифмой огорчила Купню. В конце концов, какая сила вынуждает ее писать стихи, если нет ни настоящего поэтического дара, ни мастерства? Нет, лучше просто немного прогуляться по саду, проветриться.

Но все же она не сразу поднялась с места, еще раз придиричиво перечитала последнее стихотворение. Какое это, оказывается, трудное искусство — писать стихи! Даже ее, любителя, дилетантку, которая никогда не решилась бы отдать свои стихи в многотиражку, нередко способно извести всего только одно слово, самое точное, необходимое, но так и не пойманное. Необходимое не для рифмы — это подобрать не так уж трудно, — а для того, чтобы возможно точнее выразить чувство, продиктованное стихотворением.

Купия вспомнила прочитанное где-то: «Слово — как птица на ладони у человека. Сожмешь сильно — умрет, отпустишь — улетит». Если так говорил писатель, что же сказать ей, часто не способной даже угадать, где оно прячется, нужное, многогранное слово?

Погуляв немного, Купия направилась в сторону дома, давно переставшего для нее быть родным. Чем ближе она подходила, тем медлительнее были ее шаги.

Как непомерно возрастают любые житейские трудности, если у человека нет теплого, родного угла! Нет родственной, чуткой доброты, какая разлита в самом воздухе в настоящей семье. . .

Не оттого ли ей кажется, будто гаснет ее дарование? И дни представляются порой проведенными впустую. . .

Она должна обогатить свой репертуар, готова перенести ради этого любые муки, но что она может сделать, если старшие коллеги в лице Шекер думают иначе?

Что делать? Не пойдешь ведь жаловаться: «Режиссеры не обращают на меня внимания, начальство обо мне не заботится. . .» Да и к кому идти, если бы даже захотела? Кто взвесит и определит правоту либо несправедливость той или иной стороны?

Великая сложность искусства в том, что твой личный успех зависит не только от тебя. Да как бы ни была ты даровита, если, выходя на сцену, ты затеряна в толпе других артистов, кто тебя заметит и оценит! А если такое безнадежно затягивается, человек падает духом, талант его угасает.

Говорят, чтобы тебя публика не забыла, нужно почаще напоминать о себе.

Но и это разве только от тебя зависит? Вынести или не вынести свое искусство на суд народа — решают другие, не ты. Бывает, что решающим становится приговор

какой вот Шекер, неведомо почему испытывающей прогив тебя постоянное раздражение.

Огромная трагедия для таланта быть лишенным права на честное состязание. Ведь одно дело, если ты сам споткнешься, устремляясь к своей цели, и совсем иное, когда кто-то распорядится вовсе не допускать тебя к состязаниям. И еще находятся люди, которым путь в искусство кажется легким, не требующим особого труда!

Знать бы этим людям, сколькими раздавленными талантами устлана за века широкая дорога, по которой движется человечество!

А как быть, если ко всем трудностям примешиваются и чисто личные беды? Мало того, что нет собственного угла: с той поры, как исчез Домбай, женге стала преследовать Купию на каждом шагу. Можно было бы, конечно, поискать частную квартиру, но жаль брата — что скажут люди? Мол, единственную младшую сестру выжили из дому.

А тут еще доктор с этим ужасным диагнозом: порок сердца, нужно избегать утомления, сильных волнений... Научил бы, как их избегать.

Да и можно ли было избежать, если, едва она переступила порог, как на нее набросилась женге:

— Могила тебя унесла или в преисподнюю ты провалилась, где тебя носило до таких пор?

Хотя слова женге глубоко заделали ее, Купия решила не отвечать и молча прошла в свою комнату. Зазвенело в ушах, сердце колотилось у самого горла, и она прилегла на тахту.

Женге ворвалась в комнату, рывком распахнув дверь:

— Глядите-ка, разлеглась! Ишь, малютка нашлась, первенец мой!

— Что же мне делать, женеше? — спросила Купия, приподымаясь на локте.

— О господи, ты живешь в этом доме, приложила бы руки к домашней работе.

— Ведь я только вчера убрала квартиру.

— Ну и ну! Тоже мне убралась, а кто будет мыть окна, ванную, туалет? Кто наведет порядок в кладовке? Почему за продуктами не ходишь? Жить можешь, пить-

есть умеешь за двоих. . . Ну и впрямь балованное дитя, первенец долгожданный. . .

— Женеше,— взмолилась Купия,— потерпите немного, разве вы сами не видите — я же стараюсь, делаю все, что ни скажете. Завтра я любую работу выполню, а сегодня позвольте мне отдохнуть.

— Не знаю я никаких твоих «завтра»! Хочешь оставаться в моем доме, принимайся за работу немедленно. Не то — скатертью дорожка.

— Женеше, коли вы меня гоните, я уйду,— сквозь слезы произнесла Купия.— Только потерпите, покуда брат приедет из командировки. Пусть не говорят люди, будто я сбежала, не спросив разрешения у брата.

— Люди добрые, что болтает эта негодница! Когда ты убегаешь шляться, тебе не требуется разрешения брата, а теперь ты хочешь бросить камень между мной и моим мужем! Тогда уходи. Ну-ка, шагом марш отсюда. . .

И женге пальцем указала на дверь.

— Нет, нет, я не хотела вас обидеть, не будем ссориться,— зарыдала Купия, обнимая женге.— Раз я мешаю вам, я, конечно, уйду, проживу как-нибудь. Но, прошу вас, не надо так, не гоните меня сегодня.

— Пошла вон,— женге резко толкнула Купию в грудь.— Вздумала голосить, будто на похоронах. Кого ты оплакиваешь в этом доме? Над собой плачь, несчастная. Теперь понятно, почему до сих пор никто не взял тебя в жены. . .

— Женешетай, что я такого сделала?

— Не прикидывайся! Раз я сказала «уйди», значит, уходи. Довольно я от тебя натерпелась! Даже собаке не повторяют этого дважды.

Дальше Купия не смогла выдержать. Давясь от рыданий, не захватив даже своих вещей, она выскочила из дома.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

«Конечно, сравнивать голос певицы с пением соловья не ново, однако это сравнение приходит само, когда слушаешь Купию Сулейменову. . .»

Прочитав в газете написанные о ней строки, Купия вздохнула и задумалась. Репетиция давно окончилась,

она сидела одна в гримерной и лишь теперь решилась развернуть газету, которую утром, дождавшись ее возле театра, торжественно вручил ей Кумарбек. Он спешил первым донести до нее добрую весть, знал, как нелегко приходится ей в эти дни.

Пение соловья... Купия вспомнила счастливую пору детства, когда впервые услышала эту чудо-птицу, впервые встретилась с песней.

Где тот день, весь залитый весенней синевой? Синью неба отсвечивали и молодые, едва раскрывшиеся листья, и буйные волны бегущей с гор реки. Девочка неполных семи лет, только что проснувшаяся, выбежала из дома посмотреть, не распустились ли первые цветы, и вдруг замерла... С изумлением смотрела она на то, что видела вокруг себя каждый день. Все стало иным, все ожило, затрепетало, зазвенело — это откуда-то лились волнующие звуки. Кажется, песня, но какая? И кто поет ее?

Девочка молча вслушалась в прекрасные звуки, а когда песня внезапно оборвалась, она бросилась в дом и вытащила за руку отца: «Идем же, идем!»

Отец, что-то мастеривший, на ходу вытирая руки, последовал за дочерью. «Погоди,— попросила она,— тише, тише, давай послушаем, кто это?»

Неведомый певец, будто польщенный таким вниманием, вновь подал голос, вначале осторожно, как бы пробуя, но уже через несколько мгновений прекрасные звуки заполнили все вокруг. Отец прислушался с улыбкой, заговорил, потом умолк и внимательно посмотрел на дочь.

— Папа, кто это? — опять спросила Купия через несколько минут после того, как певец закончил свою песню.

— Я же сказал тебе, это соловей.

— Соловей? А кто он такой?

— Он... никто.

— Как — никто?

— Да ведь я только что говорил, верблюжонок мой... Это — птица.

— Птица? И она умеет так петь?

— Это певчая птица, которая за свое пение стала легендой,— ласково сказал отец.— А ты так заслуша-

лась ее трелей, что не слыхала ни одного моего слова...
Уж не будешь ли и ты певицей?

— Певица — это артистка, что ли?

— Да, артистка.

— Нет, я артисткой не буду.

— Кем же ты хочешь быть, жеребеночек мой?

— Доктором.

— Кем бы ты ни стала, главное, будь здорова, душа моя!

— А какая она из себя, эта птица соловей, большая? — спросила немного погодя Купия по своей привычке расспрашивать обо всем досконально.

В тот вечер, вернувшись с пастбища, отец долго рассказывал ей про соловья. Она узнала, что соловей — птица перелетная, прилетает весной и только ночью.

Соловьи вьют гнезда по берегам вод. Особенно звучно поют они в середине мая, поют без усталости до середины июня. Затем постепенно голоса их становятся глуше и глуше. Им не до пения, когда они кладут яйца и выводят птенцов. В это время поют лишь соловьи-одиночки, которым не нужно заботиться о потомстве.

А как интересно увидеть соловья во время пения! Зачастую он усаживается на самом краю тоненькой ветки. Между прочим, голос у него открывается лишь после трех лет, становится все звонче и сильнее. Соловей, который размером всего-то с палец, настоящая птичка-труженица. Если в сутках двадцать четыре часа, то соловей примерно восемнадцать из них проводит в труде. Соловьи избегают грязи, каждый день старательно чистят себя клювиком. По словам отца, соловьи выводят птенцов в первой декаде июня, примерно шестого — восьмого числа на рассвете. Птенцы развиваются быстро, всего одиннадцать дней они бывают в гнездах, потом родители учат их летать, а дней через двадцать они уже кормятся сами. Но узнать недавних птенцов нетрудно: клюв у них светло-желтый, над глазами, на спине и шейке еще некоторое время сохраняется темно-серый пушок...

Так рассказывал маленькой девочке отец-крестьянин, пастух. Много лет спустя в одном из журналов Купия увидела статью ученого о соловьях. С удивлением и восхищением убедилась она, как тонко и точно

мел подметить ее отец своеобразие явлений и превращений, происходивших в природе. Да разве только это? мел он понять и почувствовать, отец? Ведь по одному тому, как слушала она соловьиное пение, отец почти гадал ее будущее. . .

Вспомнилась ей и еще одна картина детства. Было это позже, спустя шесть лет, когда она потеряла отца и жила у родственников. Спасительная память стерла многие из печальных воспоминаний той поры, но осталась в душе одна счастливая ночь. . .

Свет луны, остановившейся прямо против окна, широко и вольно освещал все вокруг. Белая прозрачная дорога протянулась от луны к окну, подобно Млечному Пути,— Купии тогда показалось, что дорожка эта пролегла лишь для нее одной, ни для кого больше не видимая. И еще показалось ей, что если крепко зажмуриться и сильно-сильно, просто изо всех сил замахать руками, то по дорожке этой можно доплыть до самой луны и вскарабкаться на нее. Думалось, что весенней теплой ночью и лунная река будет теплой, словно парное молоко. . . Вдруг до Купии донеслись знакомые звуки, и все наполнилось ими, затрепетало, слилось в едином дыхании. Звуки эти то напоминали свист птичьих крыльев, то нежное гульканье грудного младенца. Купия стояла бо-сиком на полу, возле раскрытой постели, вслушивалась в ликующие звуки, убежденная, что это лунный свет поет свою прекрасную ночную песню. Но тут же перед закрытыми глазами девочки возникло сплошь залитое синевой весеннее утро на далеком пастбище, доброе, улыбающееся лицо отца. Соловей!

Тогда она еще не могла понять, отчего целых шесть лет не звучало для нее пение соловья. Родственник, взявший девочку к себе после смерти отца, был сдержанным и суровым человеком, но ведь он позаботился о ней, кормил ее, одевал, помог учиться. Никто не был жесток к ней в этом доме — жестока была судьба, так рано лишившая ее самых близких людей — матери и отца.

Одной из детских радостей в то время для нее было петь. Старшие никогда не мешали ей в этом, наоборот, нередко просили. Пела она перед гостями, собиравшимися в их доме, пела на школьной и даже на клубной сцене. Волнение, какое она в те минуты испытывала,

В
Л
Е
С
З
У
Г
Г
1

было связано только с самой песней, со словами, идущими как бы прямо из сердца. Ее не тревожило, как она выглядит, она не думала ни о руках своих, ни о жестах — может быть, именно поэтому походка девочки была легка, движения рук свободны. Удивительная раскованность приходила к ней именно в те минуты, когда она начинала петь. Обычно пела она, прикрыв глаза, вся отдаваясь песне, но однажды, когда в доме собрались гости и она запела одну из любимых своих песен, грустную, протяжную, ей почудилось, будто рядом кто-то всхлипнул. Едва она умолкла, суровый родственник, хозяин дома, дрожащей рукой погладил ее по голове: «Девочка наша, милая наша девочка, не обижайся, если что не так... Да снизойдет на тебя покой и счастье!»

После этого она уже нередко смотрела в лица людям, выходя петь, и начала понимать, что песня доставляет радость не только ей, волнует не только ее. И не для того, чтобы просто ее побаловать, люди просят им спеть. Так открылась ей еще одна замечательная особенность песни: согревать душу и тем, кто слушает.

Она мечтала стать доктором, чтобы лечить людей, помогать детям и взрослым. Она искала добрую профессию, — наверно, самая мысль стать доктором пришла в те дни, когда она горько оплакивала мать, так рано ушедшую. О, будь она доктором, она непременно вылечила бы маму, сделала бы так, чтобы совсем никто не болел, ни большие, ни маленькие...

Но стоило ей почувствовать, как много значит для людей песня, и она уже заколебалась: оказывается, и певица тоже несет каждому человеку что-то очень ему нужное, светлое и доброе. А к ней песня возвращается теплыми лучами чужих подобревших глаз. Отец был прав, она станет певицей.

В ту ночь Купия долго не могла уснуть. Трели соловья сменились нежной мелодией, потом все стихло, померк и лунный свет, а Купия все ждала, не встрепнется ли усталый певец, не оживит ли опять своим пением дремлющую природу. Нет, видимо, и соловей притомился, умолк, а она все лежала, чему-то улыбаясь, и сердце ее переполняла огромная нежность ко всем и ко всему.

Задремала она лишь в полночь, а проснулась перед рассветом, разбуженная песней соловья. Купия обрадо-

алась, будто повстречала долгожданного дорогого человека или отыскала утерянную было драгоценную вещь. Милая птица, уж если она вернулась, возвращая способность просто радоваться жизни, лунному свету, запаху трав, близости родных людей, пусть же она не летает, а продолжает петь не переставая. Если чистая и звонкая песня пробилась наконец вновь к ошеломленной горем и суровыми переменами детской душе, пусть песня эта звучит в сердце постоянно.

Купия лежала, стараясь не шелохнуться, с закрытыми глазами. Казалось, стоит открыть глаза, и песня оборвется, вспорхнет с ветки — и улетит напуганный маленький певец. . .

Было в то время Купии двенадцать лет.

Да, всего-навсего двенадцать.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Кенжегул, вечно недосыпавший, захрапел сразу, едва голова его коснулась подушки. Проснулся он от резкого телефонного звонка и никак не мог сообразить, который час. И что теперь — утро, вечер?

Несколько минут он лежал, не зная, как быть: тянуться к телефонной трубке, лежавшей на расстоянии полуметра, было лень, и в то же время тревожило любопытство, хотелось угадать, кто звонит.

Он прислушался, не прошлепают ли из кухни шаги Жамал, но в квартире стояла тишина, сквозь задернутые шторы пробивался солнечный свет. Значит, уже наступило утро, Жамал — на базаре.

Пока он прислушивался и размышлял, телефон перестал звонить. Жаль. Все же надо было поднять трубку, мог звонить кто-то по делу, нужный человек. . .

Перевернувшись на правый бок, Кенжегул опять задремал. И тут телефон зазвонил вновь. Тьфу, и отчего померещилось, что утро? Ведь он прилег отдохнуть в разгар рабочего дня.

Кенжегул исподволь приходил в себя, но телефон трезвонил пронзительно, настойчиво, как бы говоря: а ну-ка, попробуй на этот раз не обратить на меня внимания!

— Алло, гостиница? — спросил знакомый голос на

другом конце провода, когда Кенжегул наконец поднял трубку. Это была Шекер, пароль принадлежал ей.

— Да, Кенжегул у телефона. Слушаю тебя.

— Ты что, один?

— Сама понимаешь, будь кто-нибудь дома, я не смог бы так разговаривать.

— А помнишь, ты как-то похвастал, что у тебя аппарат с длинным шнуром: можешь разговаривать с балкона, можешь из спальни. Жамал, которая готовит на кухне, ничего не услышит, а если подойдет случайно, ты заговоришь загадками. Не получится — положишь трубку. А я что-то опасаясь, как бы ты не попал впросак.

— Я же сказал, в доме, кроме меня, ни одной живой души.

— Где же твоя ненормальная?

— Э-э, не говори. . . На базар ушла.

-- Давно?

-- Думаю, уже порядком.

-- Ладно, тогда не будем пререкаться. Сейчас, пока не пришла твоя стража, скажу главное. Сегодня, не позже шести часов вечера, ты должен быть у меня, понял? Если не боишься, можешь и заночевать. Придумай какой-нибудь повод, чтобы твоя ненормальная поверила, ясно? Сегодня не позже шести. Опоздаешь хоть на десять минут — можешь поворачивать обратно.

— Который теперь час?

— Четыре.

— Надо же! А я никак не соображу, то ли утро, то ли вечер. . . Ну ничего. За два часа я успею пять раз до тебя дойти и вернуться обратно.

— Не нужно пяти, хватит и одного. Но если так спешить обратно, может, лучше вообще не торопиться!

— О Шаке! Вечно ты придираешься к слову. А где твой чахоточный, что ты зовешь меня ночевать?

— Не твое дело, старик капут.

— В командировке, что ли?

— В командировке, на прогулке — не все ли равно?

Нету его.

— И давно?

— Вчера я его проводила на московский поезд.

— Надолго уехал?

— На неделю.

— Оказывается, бог иногда воздаст людям сторицей за их мучения. Ну, дорогая, теперь все будет в ажуре.

— Смотри не накаркай. У меня всегда все в ажуре, независимо от того, уезжает Окас в командировку или нет. Это тебе надо бы юбку надеть — боишься лишний раз из дому выглянуть, готов целый день взаперти сидеть.

— Ой, ой, Шекержан, зачем же так унижать меня, несчастного. . .

— Ну, хорошо, поговорим, когда придешь. Помни, ровно в шесть.— Шекер положила трубку.

После разговора с Шекер Кенжегулу уже было не до сна.

Он решил уйти из дому, пока не вернулась Жамал. Для него всякий раз труднее всего было выдержать, не сорвавшись, ее допрос: куда идешь? Когда вернешься?

Решив избежать этого, он прошел на кухню, торопливо нацарапал на клочке бумаги: «Жамал, я по неотложному делу уехал за город, в колхоз. Вернусь завтра. Не беспокойся. Кенжегул».

За город. . . В колхоз. . . Попробуй-ка отыщи!

Довольный своей находчивостью, Кенжегул вышел на улицу.

Он зашел в гастроном, купил бутылку коньяка. Пришлось побродить немного в поисках цветов, но наконец и цветы отыскал и ровно в шесть нажал на звонок квартиры Шекер.

— Ты ли, мой аргамак?

— Я, моя соловушка!

Шекер и Кенжегул расцеловались прямо в дверях. Жадно обнимая женщину, Кенжегул не спешил войти, но Шекер, выскользнув из его объятий, втянула его в квартиру.

В этом доме Кенжегул бывал не раз и чувствовал себя хозяином больше, чем сам хозяин. Когда Шекер отправилась на кухню, он уверенно прошел в гостиную.

Ему нравилась тяжеловесная роскошь этой комнаты, казавшейся тесной от нагромождения старинных вещей и дорогих ковров.

Оказывается, Шекер успела расстелить дастархан: на столе стояли несколько винных бутылок, холодные закуски были красиво разложены по тарелкам. Кенжегул, не зная, чем заняться, огляделся по сторонам, но

тут в гостиную вошла улыбающаяся Шекер с чашей, полной доверху дымящегося плова.

— Кенжеке, вымой руки, поужинаем, пока не стемнело.

— Куда нам торопиться?

— Надо торопиться, Кенжеке.

— Да почему?

— Как ты не понимаешь, поужинаем засветло, чтобы не зажигать свет!

— Ты хочешь сказать, что потом не отворишь двери, кто бы ни заявился?

— Еще бы! Мало ли кого вдруг потянет на огонек! А так решат, что никого нету дома, раз не горит свет.

— Ловко придумано!

— Я вижу, ты все еще не оценил меня, Кенжеке.

— А может, это тем лучше? — ласково усмехнулся Кенжегул. — Всякий раз я в тебе открываю новые достоинства.

— Что будем пить? — спросила Шекер, кивнув в сторону бутылок.

— Выбирай сама.

— Право выбора у тебя, ты гость.

— В таком случае, экстренно по рюмке «Экстры». Кенжегул наполнил рюмки водкой.

— За что будем пить? — прищурившись, спросила Шекер.

— Чтобы мы почаще встречались вот так, свободно.

— Ты бесподобно красноречив! Позволь добавить немного: и за то, чтобы в своей ненормальной ты всякий раз открывал все больше недостатков и потому всегда желал таких вот встреч.

Они выпили одновременно. Затем пошли тосты за здоровье одного, другого. За благополучный исход всех начатых дел. За превосходство над ближними. Ну и так далее.

Они осушили одну бутылку, почти допили вторую... Заходящее вечернее солнце мягко и таинственно освещало комнату, в углах залегли глубокие тени. Шекер осоловевшими глазами в упор смотрела на Кенжегула. Ему был хорошо знаком этот взгляд: сорвавшись с места, он подхватил ее под руки и повлек в спальню...

...Верный своей натуре, Кенжегул уснул мгновенно;

любовь для него была подобна таблетке снотворного. Разбудил его хриловатый голос, просивший в темноте:

— Слушай, проснись, голова трещит. . .

— Жамал. . . Ах да, Шекер! Что случилось?

— Тьфу, и во сне не забываешь свою сумасшедшую, ступай к ней, пошел вон!

— Ну оставь, дорогая, я так. . . спросонок.

— Понимаешь, мы, перед тем как лечь, забыли попить чаю. Наверно, от этого так трещит голова.

— Верно. И у меня все во рту ссохлось, давай попьем чаю.

— Тогда я пойду, приму ванну, а ты приготовь чай.

— А не натворю я чего-нибудь в темноте?

— Который час?

— Половина первого.

— Ну, можешь зажечь свет. Кто зайвится среди ночи?

— Как знать? Не зря говорится: береженого бог бережет.

— Не трусь, некому прийти. Если случайно и забредет кто-нибудь, я тебя спрячу в гардеробе.

— Ладно, будь по-твоему, — и Кенжегул начал одеваться.

— Не торопись, — многозначительно шепнула Шекер, — спрячь одежду сразу в гардероб.

— Ну. . . не голому же мне ходить?

— Вот, надень это, — Шекер подала Кенжегулу полосатую ночную пижаму Окаса.

— Хм, она прямо как по мне сшита, — заявил Кенжегул. В голосе его прозвучала удовлетворенность сына, получившего отцовское наследство.

Пока Шекер мылась, чай был готов. Они вновь проглотили по рюмочке, затем, неторопливо потягивая чай, завели беседу, полную недомолвок, намеков на знакомые обоим события — это их волновало, будоражило. Подавая пиалу с чаем Кенжегулу, Шекер будто случайно опустила голову на его плечо. Он осторожно отставил пиалу и обнял Шекер.

И тут прямо над их головами прозвучал голос:

— Счастья вам, молодожены!

Шекер и Кенжегул, как сидели обнявшись, так и застыли, полные ужаса: перед ними во весь рост стоял Окас.

Прошло несколько минут, прежде чем Шекер пришла в себя, высвободилась из объятий Кенжегула и, не говоря ни слова, ушла в соседнюю комнату. Очнулся и Кенжегул, промямлил с трудом:

— Значит, вернулись благополучно? Проходите, присаживайтесь. . .

Он сообразил, что не совсем удобно приглашать хозяина присаживаться в его же собственной квартире, сделал кислое лицо, попытался даже при этом пошутить:

— Кажется, вы недовольны моим приходом? Что ж, я могу и уйти, правда, извините, я тут свое барахлишко с вашим перепутал. . .

Произнося эти нелепые фразы, Кенжегул успел молниеносно переодеться, поднял руку в прощальном приветствии и вышел спокойно. На лице его не дрогнул ни один мускул.

Окас, который все это время находился как бы в оцепенении, лишь теперь, побагровев, закричал что было мочи:

— Вон отсюда, скотина! — и заметался по квартире, как раненый медведь. Заметив на столе недопитую бутылку водки, он схватил ее и погнался за Кенжегулом. Тот преспокойно и даже с некоторой важностью шествовал по лестнице, достиг уже второго этажа, но, заслышав топот за своей спиной, припустил со всех ног. Разъяренный Окас швырнул вслед ему бытылку, она ударилась о косяк двери и разлетелась вдребезги, но Кенжегул успел за секунду до этого выскочить на улицу.

В это время Шекер захлопнула дверь квартиры и повернула ключ нижнего замка. Окас, потрясенный наглым хладнокровием соперника, поднимался тяжелыми шагами, дошел до своей двери и с изумлением увидел, что она заперта. Еще не в силах унять дрожь недавней ярости, он долго с силой нажимал на звонок, но никто не отзывался. Как же так? Ведь не могла Шекер уснуть!

Нижний ключ был повернут, и поэтому отпереть дверь снаружи он не мог. Он снова нажал на звонок и не отпуская палец долго-долго, пока не услышал за дверью осторожные шаги.

— Шекер, открой, — попросил он.

— Что тебе нужно? — спросила Шекер холодно.

— Не задавай глупых вопросов, открой.

— А если я не открою?

— Открывай, довольно одной твоей мерзости.

— В чем дело? Ты со мной разговариваешь, как с преступницей.

— Ты и в самом деле поймана с поличным.

— Не выдумывай. Когда ты меня поймал? Что, нельзя привести в дом знакомого человека и угостить пиалушкой чая? Разве это преступление — дружить с мужчиной? Не меряй все на свою мерку, дикарь, эгоист. Теперь другое время, другие законы, пора бы понять.

— Открой, говорят тебе, открой!

— А я сказала — не открою.

— Лучше отворяй по-хорошему, иначе я взломаю дверь и утоплю тебя в крови.

— Вот-вот, поэтому я и заперлась, низкий человек! Ломай, ломай дверь, нападай на незащитную женщину, только подумай сперва, что после этого будет с тобой завтра. Подумай, старик мой, подумай. Было бы еще лучше, если бы ты призадумался прежде, чем решился так гадко меня обманывать и выслеживать. На такой должности, как твоя, нужно уметь вести себя прилично.

Шекер рассмеялась с вызовом, а Окас после этих слов сразу приуныл. Шекер была права: его все знают, он занимает ответственный пост — и вдруг этот безобразный скандал, разбитая о дверь водочная бутылка. Разве докажешь бесчеловечность Шекер? Свидетелей нет. Впрочем, если б они и были, уважения к нему это не могло прибавить. Скандал есть скандал, грязь есть грязь. . .

— Клянусь, я тебя не выслеживал, — произнес он упавшим голосом. — Ведь ты не дождалась поезда, а мне на вокзале стало плохо, что-то с сердцем. Все это время я пролежал в медпункте, билет пришлось слать, а меня на машине отправили домой. . .

Шекер помолчала, размышляя, после возразила не-примиримо:

— Большой человек не станет так безобразничать. Нет, тебя стоит проучить за твои грязные мыслишки и грязные поступки, и я тебя проучу. . .

Да, он знал характер своей жены: если дойдет до настоящего конфликта, Шекер не остановится ни перед

чем. Какой смысл тогда доказывать ее вероломство и свою неизменную верность? Все равно потеряешь уважение друзей, станешь посмешищем для врагов. И вообще потеряешь все: доброе имя, престиж, высокую должность. Оказывается, это очень тяжкие потери, но ощущать их начинаешь лишь с того момента, когда угроза уже нависает прямо над головой. . .

— Ладно, пропади все пропадом, отвори, Шекер, — голос Окаса звучал умоляюще, и хитрая Шекер мгновенно уловила эту перемену.

— Не отворю.

— Прекрати, прошу. Неужели я не имею права войти в собственный дом?

— Ты не входишь, а врываешься, безобразничаешь. Я не верю ни единому твоему слову, всем этим выдумкам про московский поезд, большое сердце. . . Ступай туда, где ты был до полуночи, а мне дай покоя, иначе я вызову милицию. Мне завтра рано вставать.

И Шекер ушла в глубь квартиры. Сколько ни пытался Окас нажимать на звонок, она больше не отозвалась. Отчаявшись, бедняга медленно спустился по лестнице и шагнул в темноту.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Порвав все родственные связи с семьей брата, Купия сумела найти комнату, но невольно стала избегать лишнего общения с людьми. Мучительно было во время самой незначительной беседы пребывать в непрерывном напряжении — ежеминутно ожидать вопроса о здоровье брата, женге, просьбы передать им привет. Она не умела и не считала нужным лгать, но и не считала также, что посторонние люди имеют право на ее откровенность. Люди, однако, понимали это не всегда, пытливо заглядывали в глаза, воспринимали с обидой ее молчание или уклончивые ответы.

Тяжелы стали для нее даже встречи с Кумарбеком, хотя он не задал ни одного вопроса, довольствовался лишь тем, что сказала она сама, — не сказать вовсе ничего было невозможно: пришлось как-то объяснить, почему она переехала жить в другой район города. Кумарбек выслушал молча, и по лицу его она видела, что для него ее переезд не был неожиданностью. Значит, он

давно догадывался, каково живется ей у брата. Но вместе с чувством благодарности к нему она ощутила стыд и подавленность, будто он, вопреки ее воле, оказался свидетелем некрасивых семейных тайн, которые люди стараются прятать.

Что есть на свете сложнее и загадочнее человеческой души?

Порой сам не понимаешь, отчего тоскливо сжимается сердце, чего смутно ждешь, зачем воздвигаешь преграды — страдания для себя же. . .

Купия привыкла к тому, что Кумарбек часто поджидает ее после репетиции, почти всегда — после спектакля, провожает до дому. Стоило ему не прийти, и она уже буквально места себе не находила, но едва он появлялся, точно почуввав ее тревогу, как она принимала вид холодный и недоступный.

И вот наступил канун Нового года.

После обеда хозяева квартиры уехали к родственникам в Тастак: хотели встретить Новый год вместе с ними и лишь на другой день вернуться домой.

Купия осталась одна в чужой четырехкомнатной квартире. В честь праздника она накрыла на стол, надела свое лучшее платье. Она ждала напряженно, с беспокойством. . . Кого? Ведь она никого не приглашала. Кто этот друг, которого она собирается потчевать как самого дорогого гостя? Нету ведь у нее никого, нету! Кому нужна неустроенная, неуверенная в себе, слабая здоровьем женщина?

Она призывала эти горестные мысли, как бы пытаясь с их помощью погасить тлеющую в глубине души надежду: есть у нее друг, есть, она необходима ему так же, как и он ей.

Не в силах выдержать эту душевную борьбу, Купия начала плакать, потом зарыдала в голос. Плакала она долго и почувствовала, что ей становится легче. Так не бывает в минуты безнадежного горя, не было так и в доме брата, когда, спрятав голову под подушку, она беззвучно, стараясь, чтобы никто не услышал, оплакивала свою жизнь.

Поток слез омыл душевные раны Купии, тоска развеялась. Поднявшись, Купия умылась, поправила волосы. Садиться одной за накрытый стол не хотелось, она подошла к окну.

Вечерние сумерки становились гуще, но окна соседних домов горели праздничными огнями, и веселые отсветы этих огней ложились на тротуар и на мостовую. Купия не зажигала свет и молча смотрела в окно.

Вдруг ей показалось, будто кто-то вошел во двор. Этого «кого-то» она узнала бы с закрытыми глазами, по звуку шагов.

Ведь улица, двор и несколько минут назад не были пусты: предпраздничная суэта заставляла людей спешить, одни уходили со двора — в гости, другие входили во двор — тоже в гости. Но их торопливо скользившие фигуры Купия провожала с чувством легкой щемящей зависти, ни на ком не задерживая взгляда.

Тот же, кто вошел теперь, был ее гостем. Тем, ради кого она накрывала стол, надела свое лучшее платье. Она бы не сумела объяснить, что именно помогло ей понять это. Просто знала, что ошибиться не могла.

Раздался негромкий стук, потом дверь отворилась, зажегся свет в прихожей. Купия оглянулась: Кумарбек!

Больше она не могла сдерживаться. Бросившись вперед, оказалась в объятиях джигита, который протягивал к ней руки, поцеловала его, в изнеможении уронила голову ему на плечо.

Кумарбек, удивленный и обрадованный этим порывом, бережно держал Купию за локти и, казалось, боялся двинуться с места. Купия сама высвободилась, поправила волосы, отойдя в сторонку.

Когда она обернулась к Кумарбеку, он торжественно выкладывал на стол из объемистого портфеля банку с икрой, апельсины, коробку конфет, бутылку шампанского.

— Что это такое, Кумарбек?

— Так, мелочь.

— Да зачем нам столько всего? Ты видишь, я же все приготовила.

— Значит, ты знала, что я приду? — спросил он ласково.

— Ведь тебе не нужен ответ, правда? — помедлив, сказала Купия.

— Почему не нужен?

— Потому что он есть в самом твоём вопросе. Это и вопрос и ответ.

— Значит, ты знала, что я приду,— решительно произнес Кумарбек.

— Да, знала,— Купия говорила очень серьезно.— И еще я знаю, что ты приходишь всякий раз, когда мне трудно, когда мысленно я зову тебя...

— О Купия!

В голосе его было столько чувства, столько готовой прорваться страсти, что Купия невольно отвернулась в смущении. Взгляд ее упал на стул — вернее, на платье цвета морской волны, которого она прежде никогда не видела.

— А это что? — спросила она удивленно.

— Это мой подарок тебе к Новому году,— Кумарбек провел рукой по лбу — похоже, он был и сам смущен. Купия еще никогда не была с ним такой, и к чувству счастливого восторга, какое он испытывал, невольно примешивалось некоторое опасение, даже тревога.

— Какое прекрасное! И цвет благородный. Но зачем же ты так тратился, Кумарбек?

— Деньги для того и нужны, чтобы их тратить.

— Самое модное! — Купия с восхищением разглядывала платье.— Я таких даже не видела. Где ты его нашел?

— Кто ищет, тот всегда найдет, Купия.

— Спасибо, Кумарбек, спасибо. Я сейчас надену его и покажусь тебе.

Купия ушла в другую комнату и через несколько минут появилась вновь, порозовевшая, с сияющими глазами.

— Нравится? — спросил Кумарбек.

— Смотри сам. Точно по заказу.

— Ты довольна?

— О чем ты спрашиваешь! Я в последнее время совсем себя запустила, актрисе это не позволено.

— Я рад, что угодил твоему вкусу.

— Еще как! Но чего же мы стоим? Садись за стол!

— Погоди, Купия, погоди... Я хочу тебя попросить...

— Ты куда-то спешишь? Уходишь? — Купия проговорила это испуганно, дрожащим голосом.

— Как это — ухожу? Если ты разрешишь, мы вместе встретим Новый год.

— Скажи иначе: если даже гнать будешь, никуда не уйду.

— Сегодня никуда не уйду, гони не гони,— послушно повторил Кумарбек, и они засмеялись оба.

— Прекрасно,— сказала Купия,— сегодня мы празднуем приход Нового года, а в следующий — устроим праздник, посвященный твоему подарку. Знаешь почему? Потому, что ты угадал все, не только мой вкус или размер. Ты угадал, что я обязана взять себя в руки, подтянуться, если хочу оставаться актрисой. Хорошо выбранная одежда помогает в этом. . .

— Не перехваливай меня, Купия. Я уже чувствую себя дважды королем на двух праздниках.

— Сегодня ты выше короля.

— Дорогая, что я слышу? Ты ли это?

— Это жизнь, Кумарбек. Она помогает нам понять многое, и сегодня я поняла, как страшно одиночество. Одинокий человек — это мертвый человек.

— Ну, ну, Купия, ты сгущаешь краски, неужели я дал тебе возможность почувствовать себя одинокой?

— Ты прав, Кумарбек, просто сегодня мне стало очень тоскливо одной в пустой квартире. Но, кажется, ты хотел меня о чем-то попросить?

— О да, дорогая, будь такой, какая ты сейчас. Такой же доброй, красивой. . .

— Об этом проси не меня, а судьбу.

— Она будет добра ко мне, ведь это она столкнула меня с тобой.

— Судьбе, которая свела нас, кажется, больше обязана я, чем ты, Кумарбек!

— Я боюсь верить твоим словам, Купия. Мне было бы слишком больно услышать, что ты говоришь иначе.

— Иначе уже не будет. Сегодняшний твой приход для меня ни с чем не сравнимое счастье. И всегда, всегда, если мне бывало тяжело, ты вносил успокоение в мою душу. Вот сегодня ты пришел — и я чувствую, что пришел праздник. Вместе с тобой. Зачем же я буду скрывать это?

— О моя Купия, только бы все это не было сном и продолжалось долго-долго. . .

— Не надо, Кумарбек. Никто не может предсказать свой завтрашний день.

Купия потянула Кумарбека за руку, и он послушно

сел на предложенный ему стул, не спуская с Купии восторженного молящего взгляда.

— Не смотри на меня так, Кумарбек. Мне тоже будет слишком больно, если огонь в твоих глазах когда-нибудь погаснет.

— Нет, Купия, нет, этого никогда не случится.

— Так пусть же все наши страхи останутся в старом году. Я сяду вот здесь, чтобы лучше тебя видеть. Давай встретим Новый год как следует. . .

Но до двенадцати было еще далеко. Купия включила радио. Они посидели за столом, потом начали танцевать, потом опять вернулись к столу и сидели молча, ожидая, когда часы на башне Кремля в Москве пробьют двенадцать раз.

Это были минуты, в какие люди молчат именно оттого, что слишком многое должны сказать друг другу. Нежно глядя в глаза Кумарбека, излучавшие ответную нежность и теплоту, Купия, казалось, без всяких слов читала его мысли:

«В жизни ты еще встретишь и дурное, и хорошее, узнаешь перемены, узнаешь новых людей, но одно — ты убедишься в этом — будет всегда неизменно: моя верность, моя поддержка, мое чувство к тебе. Ты опасаясь, что может когда-нибудь утихнуть огонь, который загорается во мне при встрече с тобой? . . Нет, огня этого не задует самый сильный ветер, а ураган лишь превратит его в бушующее пламя. Знаешь ли ты, что возле тебя я становлюсь бесстрашным и всемогущим, не боюсь ничего, даже самой смерти? О милая, не о твоих ли ресницах, изогнутых, подобно кинжалам, слагали стихи древние поэты? Как же не кровоточить моему сердцу. . .»

А глаза Купии говорили:

«Не грусти. Это я была причиной твоей печали, но ведь сегодня мы вместе, рядом, и каждое слово, мной произнесенное, правда. Я не могла открыться тебе раньше, потому что не решалась открыться даже самой себе. Сегодня я все сказала, остальное зависит от тебя. . .»

Часы на башне Московского Кремля пробили двенадцать раз.

Одновременно с последним ударом тяжелого маятника Кумарбек откупорил бутылку шампанского и раз-

лил его по бокалам. Поднявшись, они с Купией поздравили друг друга с началом нового года.

Потом опять танцевали, опять разговаривали. Впервые за последние месяцы Купия смогла без мучительной горечи рассказать о событиях в театре, об отношении Шекер, не перестававшим удивлять ее.

— Это — зависть, — засмеялся Кумарбек.

— Скорее я должна завидовать: у нее есть все, у меня пока что ничего.

— Может быть, она опасается, что завтра у тебя будет все, а у нее — ничего.

— Ну уж ты придумал! — Купия искренне рассмеялась.

— Нет, не придумал, я в тебя очень верю, по-настоящему, — теперь Кумарбек говорил серьезно, без тени шутливости.

Купия прерывисто вздохнула и задумалась. Слабая счастливая улыбка дрожала на ее губах...

Далеко за полночь Кумарбек вышел во двор, закурил. Между затяжками огляделся вокруг. Видно, все уже отпраздновали, окна в домах были темны, и лишь лунный свет, стирая тени, заливал белый от снега двор. Легкий морозец затянул поверхность снежного покрова искрящейся корочкой льда: наступи чуть сильнее — и он хрустит под ногами.

Тихо. Неподвижно. Ни ветерка, ни голосов. А на глубоко темном небе рассыпаны звезды, и где-то среди них затерялась та единственная звездочка, которую юный Кумарбек некогда выбрал для себя. Выбрал, мечтая о Купии.

Купия! Вот сейчас ты рядом, но так же далека, как и то небесное светило. Ты сказала, что все остальное зависит от меня... Что ты имела в виду? Как понять тебя? Я знаю, тебя не завоеешь прямолинейным напором. Мне может показаться, будто ты стала моей, а я сам в это время окажусь чужим для тебя. И еще я понял: тебе легче оставаться одной, чем терпеть возле себя человека чуждого, того, кто тебе в тягость. Я никогда не буду тебе в тягость, Купия, я сумею стать таким, какой тебе нужен. Когда я выходил покурить, ты с тревогой спросила, скоро ли я вернусь. Ты взяла меня за руку, хотела сказать что-то еще, но смутилась и от-

вернулась. Я иду, Купия, я иду... Ты слышишь? Это мои шаги. Это я осторожно отворяю дверь, но в неосвещенной квартире не слышно даже твоего дыхания...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Слева от дороги на Медео двухэтажный красивый белеет дом. Это летнее кафе «Айнабулак». Под боком у него катит пенящиеся волны чистая горная река, зеленый тальник растет вдоль ее берегов.

Воздух свеж и прозрачен, краски ослепительно чисты. Если смотреть с верхнего этажа кафе, начинает казаться, будто сами горы вознесли тебя на неслыханную высоту, чтобы распахнуть перед твоим взором бесконечно прекрасные манящие дали.

В такие минуты особенно хочется верить, что впереди все так же прекрасно, безоблачно, ликующе радостно, как эта величавая даль!

Купия и Кумарбек, решившие побывать в горах, пообедали в этом кафе.

В полуденные часы, когда солнце стоит в зените и щедро дарит природе свои лучи, они гуляли среди белоствольных берез, поднимаясь с каждым шагом все выше в горы.

Кумарбек потянулся было к девушке, чтобы поцеловать ее, но Купия выскользнула из его объятий. Она мгновенно взбежала по крутой тропинке и оказалась на расстоянии выстрела от Кумарбека. Джигит, опьяневший от недавнего порыва, пришел в себя, огляделся по сторонам. Он увидел Купию, которая легко прыгала с камня на камень, убегая от него. Она то и дело останавливалась, задорно махала рукой. Белый прозрачный платочек в ее руке напоминал нежное облачко, пламенил в лучах багрового солнца, устало коснувшегося подбородком горного хребта.

Купия взлетела на следующий уступ и поглядела вниз.

На этой отвесной высоте она напоминала изящную серну, что замерла на секунду, чутко прислушиваясь ко всему вокруг. На лице у нее — ликование и испуг. Расширенные глаза сверкают.

Кумарбек, не спуская с Купии глаз, начал взбираться за ней следом. Не рискуя прыгать с камня на камень,

боясь показаться смешным в своей неловкости, он медленно карабкался по горной тропе, которая, подобно всем горным тропам, делала изрядный крюк. Во время очередной передышки джигит испытующе посмотрел вперед — нельзя ли добраться напрямик? Перед ним мостились каменные гряды с кинжально острыми краями — пожалуй, только легкие девичьи ноги могли удержаться на таком острие. Дальше коричнево-красные камни становились ровнее, составляли сплошное плато, — лишь очень острый взгляд мог бы заметить небольшие выступы на волнистой поверхности. Там буквально не на что опереться ноге. Нет, придется петлять, напрямик ему не добраться.

Кумарбек перевел дыхание. Белый платочек в руках любимой, стоявшей на отвесном камне, пламенел в лучах солнца, взвивался на ветру и словно торопил его. Но сама Купия, такая близкая, что он почти ощущал ее дыхание, сама Купия вдруг представилась недосягаемой, как седовласые вершины Алатау, что постоянно отодвигаются, сколько бы ни идти к ним...

Неподалеку от выступа, на котором стояла Купия, росла тоненькая чинара. Там, наверху, в пробившейся молодой траве растут эдельвейсы. Купия стройна, как та чинара, нежна, как те цветы...

Рванувшись вперед, джигит крикнул во весь голос:

— Купияш!

— Кумарбек!

Голоса их, многократно повторенные горным эхом, прозвучали одновременно. Они крикнули разом. Высокие горы, споря и передразнивая, повторили их голоса.

Теперь Кумарбек карабкался вверх отчаянно и бесстрашно. Тревога, которую он уловил в возгласе Купии, придавала ему сил. Каменное плато угодливо представляло ему выступы, чтобы он мог взобраться вверх, достичь любимой.

Сколько высоких слов он мог бы сказать ей в эти минуты! О скольких сомнениях мог бы поведать! Он карабкался по каменным уступам, как слепой, видя перед собой одну лишь Купию. Она с беспокойством следила за каждым его движением, чуточку шевелила губами, будто читала в его умоляющем взгляде все то, что он хотел ей сказать.

...Боже, неужто все это происходит в действитель-

ности? Неужели и вправду Купия стала моей, навсегда моей? Как же оно умещается в моей груди, сердце, переполненное такой огромной любовью? Жаль, я не поэт, я рассказал бы об этом стихами... если бы смог. Нет, у меня не хватило бы слов, такое невозможно передать словами, это нужно пережить самому. Говорят, человек не может ощутить себя до конца счастливым, пока не отыщет на земле свою вторую половину, утерянную часть самого себя... Я нашел ее, мою вторую половину, которую искал долго, по которой истосковался бесконечно. Величавый Алатау, благослови нас! Горделивые белые березы, склонитесь к нам — я встретил ту, что казалась мне далекой звездой в небе! Прозрачный родник, бегущий с гор, донеси до друзей в городе мой счастливый смех! Певчие птицы, вплетите в свою тысячеголосую песню мои радость и торжество! В обилии солнечных лучей для меня существовал один-единственный луч, светлый, чистый, созданный только для меня. Он то появлялся, то исчезал, и я годами молил судьбу, чтобы он не ускользал, мой добрый, мой путеводный луч. И мольба моя была услышана: я держу его в ладонях, этот животворный луч. Я сам себе произнесу беспощадный приговор, если не сумею уберечь его...

Он одолевал последний каменный уступ. Купия протянула руку, и они оказались рядом, тяжело переводя дыхание, Кумарбек принялся целовать девушку, будто спешил проверить, возможно ли это, вправе ли он коснуться ее...

На этот раз лишь естественная женская стыдливость вынудила Купию оказать слабое сопротивление.

Потом они сидели на каменных уступах среди пробившейся между камнями ярко-зеленой молодой травы, смотрели неотрывно друг на друга, не в силах говорить. Переполнявшая обонх огромная нежность скорее готова была прорваться в рыдании, чем в словах. Но каждому казалось, что в глазах другого он читает и невысказанный вопрос, и надежды, и сомнения...

«Дорогой мой Кумар, душа человека подобна домбре: она не может не звучать, но даже близкие люди не всегда слышат, как стонет горестно человеческая душа. В груди моей живет сокровенная, еще не спетая песня, от тебя зависит, какой она будет: счастливой или скорбной...»

«Мне будет нелегко, любимая, я знаю. Мне еще предстоит разгадывать и разгадывать тебя. Порой мне начинает казаться, что все в тебе противоречиво: ты бываешь минутами бесконечно добра, по-детски беспомощна, но внезапно становишься беспощадно суровой. Я видел тебя светлой, жизнерадостной, но чаще ты задумчива и молчалива. Ты смеешься — и все вокруг проясняется, ты хмуришься — для меня наступает душная черная ночь. Но я верю: сокровенная твоя песня — о радости, о счастье. Ты не позволяешь ей излиться, потому что боишься быть непонятой, боишься страданий и боли. Поверь и ты мне: ведь и радость, и счастье у нас общие, но если бы даже было иначе, если бы ты могла познать счастье благодаря моей беде — я бы сделал все, чтобы на душу твою не легла горестная тень...»

«И все же я должна сказать тебе... Только не принимай это близко к сердцу, Кумаш! Чувство тоже способно обмануть. Не нужно клясть, я знаю — ты никогда не захочешь обмануть меня. Но ты можешь обмануться сам, разве так не бывает в жизни? Хорошо, пусть я сказала не то, больше я не заговорю об этом, однако существует еще одна преграда, способная помешать счастью любящих. Имя ее — судьба. Хорошо, если она ничем не омрачит нашего счастья, а если — иначе? Что, если общая наша жизнь окажется цепью непрерывных страданий? Я во всем доверилась тебе, но эти предчувствия страшат меня, я не могу избавиться от тревоги...»

«Ты напомнила мне, что счастье и горе — близнецы. Возможно, так оно и есть: тень не исчезает и при ярких солнечных лучах, а вот в кромешной тьме не бывает тени, только люди отчего-то предпочитают солнечный свет. В твоей тревоге, в твоём пытливом взгляде я угадываю печаль, которая так часто тебе сопутствует. Прошу тебя, отгони грусть и сомнения. Да, жизнь состоит из находок и потерь, но зачем же грустить теперь, когда мы нашли друг друга?»

«О дорогой Кумаш, наверно, чувства, какие я испытываю, знакомы каждой женщине. Первое сближение мужчину наполняет гордостью, а в сердце женщины рождает страх. Мужчина смелее говорит о своей любви, женщина пытается прятать страсть, и нередко получается так, что сладость чувства испытывает мужчина, а

женщине остается лишь горечь. Ведь ты согласишься со мной — так бывает. Это не значит, что я говорю о нас. . .»

«А я думаю о нас и только о нас. Еще вчера недостижимой мечтой было для меня коснуться твоей руки, пройти рядом с' тобой по улице, а сегодня мы вместе. Помнишь, ты просила не торопить тебя, дать тебе подумать. Для меня даже само ожидание было великим счастьем. Ну, улыбнись же мне, улыбнись. . . Мы с тобой — это именно мы, Купия и Кумарбек, а не какие-то просто мужчина и просто женщина. И сладость, и горечь нашего чувства будут общими. . . Ты уже улыбаешься, но у тебя слезы на глазах, счастливые слезы. Я готов отдать жизнь свою, чтобы ты никогда не знала других слез!»



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дома, стоящие в один ряд в отдалении от центра столицы, были похожи один на другой, как цыплята с одного насеста. Саманные стены, цементный фундамент, и только крыши, покрытые коричневым железным настилом или белым шифером, разнообразили вид улицы.

Уже несколько месяцев Купия и Кумарбек снимали комнату в таком доме. Комнату, куда солнечный свет проникал лишь ранним утром. В другое время дня путь ему преграждали ветви и листья старых раскидистых тополей.

Близился полдень. Купия была дома одна. И мучительной казалась ей, привыкшей к шуму многолюдных улиц, тишина загородного дома, где даже голосов не было слышно: в это время дня все были на работе.

Она не могла подавить в себе неясного беспокойства. Оно возникало всякий раз, едва она оставалась в одиночестве. Ее не покидало тревожное ощущение надвигающейся беды — этому способствовали события последнего времени. Вот и теперь она раньше времени возвратилась с гастролей: выяснилось, что ей не под силу переезды с места на место, непривычная сухость воздуха в тех районах, куда выехал коллектив театра. Невыносимая жара днем, тучи мошкеры к вечеру. Местные жители спасались от мошкеры, плотно закрывая окна и двери. А Купия не в силах была свыкнуться с постоянной духотой, и в один далеко не прекрасный день врач рекомендовал ей прекратить гастроли и вернуться в Алма-Ату.

Чтобы отвлечься от тягостного воспоминания, Купия включила радио. В комнату ворвался звонкий счастливый голос певицы:

Приезжай в наш аул, приезжай,
Здесь радость и веселье через край.

Певица звала, умоляла.

Купия узнала голос Шекер и мгновенно выключила радио, с изумлением и негодованием подумав о сотрудниках радиокomiteта, которые без конца передают старые записи.

Нет, она не испытывала ни малейшей досады против самой Шекер. Напротив, в последние дни они встретились при горьких для Шекер обстоятельствах, и Купия была исполнена сочувствия к ней, готова была найти оправдание даже для тех обид, которые та нанесла ей так незаслуженно.

Ах, эти инертные ребята из радиокomiteта! Как могли они заставить Шекер заливаться соловьем в дни горя и траура? Ведь умер ее муж. . .

Окас, которого многие знали, в последнее время сильно сдал, так что это нельзя было не заметить. Трудно было понять, что за чем следовало: состояние апатии за физическим недомоганием или наоборот, но, во всяком случае, он и сам понял, что необходимо уходить на пенсию. Горение первых лет сменилось административной работой, а завершилось почти равнодушием ко все-

му, что некогда вызывало радость, волнение, стремление способствовать новым открытиям в науке, если уж не совершать открытия самому.

Он не находил себе места в доме и решил, едва наступило лето, поехать к родным в аул. Он встретил Шекер, отправлявшуюся на гастроли, на платформе одной из промежуточных станций, вручил ей деревенские гостинцы, рассказал о новостях. Купия, смотревшей из окна вагона, он показался поздоровевшим, окрепшим. И вообще со стороны они выглядели такими дружными супругами, Шекер и Окас, что Купия даже порадовалась в душе чужому счастью. Оно как бы предвещало и ей долгую дружную жизнь с мужем.

А спустя всего три или четыре недели этот Окас ушел из жизни из-за внезапного тяжелого инфаркта...

У казахов в обычае — кто бы ни был человек, если даже его не слишком почитали при жизни, смерть примиряет всех и ушедшему отдают должные почести.

Окас, умиравший в окружении родных, завещал, чтобы похоронили его в Алма-Ате, там, где он прожил долгие годы. Считая невыполнение завещания преступлением, родные привезли тело Окаса в Алма-Ату, и в тот же день приехала с гастролей заплаканная Шекер, получившая срочную телеграмму.

Купия и Кумарбек сочли долгом своим навестить ее, произнести слова соболезнования. На похоронах каждый из них бросил горсть земли на могилу Окаса.

Были там и сотрудники радио. Зачем же они, зная обо всем, выпустили в эфир эту жизнерадостную, задорную песню? И каково самой Шекер услышать свой радостный голос в дни горя?..

Калитка высокого забора отворилась со скрипом и громко хлопнулась. Купия, решившая было прилечь, вскочила с постели и прислушалась. Кумарбеку возвращаться еще не время — он занят в Союзе художников подготовкой передвижной выставки. Кто бы это мог быть?

Раздался звук отпираемой двери. Это был Кумарбек.

Купия сочла его возвращение добрым предзнаменованием и засыпала вопросами:

— Почему так рано? Что-нибудь новое? Дают квартиру?

— Нет, с квартирой все осложнилось,— медленно произнес Кумарбек.

Лишь тут Купия заметила его удрученный вид. Казалось, невидимая тяжесть легла непомерным бременем на его плечи.

— Что могло произойти? Говори яснее!

— Ты же сама передавала слова Шекер: «Купия получит квартиру только через мой труп». Мы эти слова забыли, Шекер не забыла.

— Что ты говоришь? До нас ли теперь Шекер? К тому же она ведь не одна в месткоме. Ты звонил кому-нибудь?

— Звонил. Но Шекер меня опередила, обзвонила всех.

— Когда?

— Вчера.

— Каким образом? Ведь еще не все вернулись в город.

— Отыскать не так уж сложно.

— Не верю, не верю,— бессильно повторяла Купия, опустившись на кровать.— Она в горе, ей не до меня... Быть не может!

А сама уже понимала: может. Так все и было. Спросила с усмешкой:

— Чем же она мотивировала? Она же знает и другие знают, как нам трудно.

— Все обосновано. Ты не слишком давно работаешь в театре, недостаточно себя проявила и как актриса и как общественница. Местком считает, что есть люди в театре, более нуждающиеся в данный момент. Твою просьбу удовлетворят, разумеется, но позже, при возможности. Не беспокойся, Шекер нашла броские мотивировки. Она достаточно ловка, чтобы не подставлять собственную голову под удар. Ты молода, значит, можешь и обождать. Излишне поощрять молодежь, выдавать преждевременные авансы опасно, молодые зазнаются, перестанут работать. Так мне передавали содержание разговора с ней.

— Но есть же коллектив, товарищи! — вспыхнув, крикнула Купия.— Я знаю, они за меня.

— Все так. Товарищи не виноваты. Они доверили Шекер руководить месткомом, надеясь на ее мудрость и опыт, вот она и показывает, что мудрость и опыт при-

зывают не проявлять поспешности, воспитывать молодые кадры в требовательности. . .

— Не шути,— устало выдавила Купия. Она тоже почувствовала на плечах своих тяжесть, которую внес в дом Кумарбек.

— До шуток ли мне? Я повторяю ее речи.

— Ладно, оставим это. Но что же нам делать? До каких пор будем мы ютиться по чужим углам?

— Что-нибудь придумаем, на улице не останемся.

— Я понимаю, но, подумай, скоро вернутся хозяева, к ним из аула начнут приезжать гости. Жизнь в постоянном напряжении, среди чужих людей. . . Кумарбек, ведь ты хорошо знаком с министром. Зашел бы к нему, а?

Последние слова Купия произнесла робко, почти шепотом. Она знала, как не любит Кумарбек искать протекции, но на этот раз он призадумался.

— Знакомы-то мы знакомы, но у него более серьезных дел предостаточно. Будет ли удобно?

— Кумарбек, все это так несправедливо! Мне кажется, ты мог бы пойти к нему, если бы и не был знаком. . .

Слова Купии Кумарбек принял почти спокойно, потому что эта мысль приходила в голову и ему самому. Он замучился из-за частых переездов, непрерывных поисков сдающейся внаймы квартиры.

Не пойти к министру означало остаться без крова. Борьба с Шекер нужно было на самой высшей инстанции. Но и идти было нелегко.

Все же во второй половине дня он решился, пришел в министерство.

В приемной ожидало уже много народу. Некоторые посетители были Кумарбеку знакомы. Этот усатый густобровый джигит, лет сорока,— руководитель одного из театров столицы. Он сидит, занятый своими думами, опершись подбородком на руку, другой рукой держится за сердце. Сейчас он на взлете славы, но путь в искусстве нелегок, пусть даже сопутствуют человеку удачи. Видно, какая-то серьезная проблема тревожит его, вынудила идти за решением к министру.

Рядом с ним — худощавый, смуглый человек, известный драматург. Длинные волосы спускаются почти до плеч. Поправляя то и дело очки, он сосредоточенно вглядывается в газету. Читает ли? Трудно сказать. За

несколько минут он ни разу не перевернул газетный лист. Видно, и у этого серьезные заботы, не позволяющие думать ни о чем другом.

Двое, сидящие поодаль, считаются звездами национальной оперы. Один из них староват, второй — средних лет. Если перечислить их титулы и награды, заполнишь целый лист. А та, что перебрасывается короткими репликами со всеми, прибавляя ласковое «айналайн», «душа моя», «родной», — известная эстрадная певица, обаятельная, вызывающая неизменные симпатии у слушателей. Хотя ей не меньше пятидесяти, она стройна, миниатюрна, на светлом лице ни единой морщинки. Десять лет назад она была такая же, как теперь. «Наверно, и через десять лет не изменится», — подумал Кумарбек.

Он оглядывал посетителей приемной с любопытством и смущением. Кажется, он был самым молодым среди них и пришел всего лишь по личному делу. Интересно все же, какие дела привели сюда остальных?

Узнал Кумарбек и скуластого смуглого человека, который, несмотря на преклонный возраст, был темноволося и всегда ходил с инкрустированной темной тростью из-за хромоты, оставшейся у него с войны. Говорили, что до войны у него был необыкновенной красоты голос. Теперь он преподает в Институте искусств. А вон тот русский молодой человек — хоть кто-то здесь молод! — тонкий, голубоглазый, с густой рыжеватой шевелюрой — дирижер хора...

Кумарбек поздоровался кивком головы с посетителем приемной и обратился к секретарше. Как нарочно, в эту самую минуту прозвучал звонок, и секретарша, бросив на ходу «простите», вскочила с места и скрылась в кабинете министра.

Мучимый тягостным чувством неловкости, Кумарбек зашел в комнату, где сидел помощник министра. Их связывало шапочное знакомство, и помощник министра, поднявшись, подал Кумарбеку руку, предложил сесть. Однако разговаривать ему было некогда: он что-то объяснял по телефону — похоже, высокопоставленному лицу, — по междугородному телефону.

Едва он окончил разговор, как его вызвал к себе министр. Помощник вскочил с места и вылетел как на крыльях. Правда, в последнюю минуту он успел вписать фамилию Кумарбека в список лиц, ожидающих приема.

Оставшись один в комнате, которая находилась как раз напротив кабинета министра, Кумарбек ясно видел всех, сидевших в приемной. Еще никто из них не входил в кабинет. А вот посетителей прибавилось. Словно желая сказать: «Только нас вам и не доставало», вошли два милиционера. Судя по погонам, один из них был майором, второй — младшим лейтенантом.

Кумарбек с иронией вспомнил Кенжегула, который правдами и неправдами рвался к руководящей должности.

Как он изображал эту руководящую должность перед родственниками, приезжая в аул? «Красота быть, например, министром! Сидишь в мягком кресле и отдыхаешь. Захочешь — газету считаешь. Потом вызовешь подчиненных, всем дашь задания. Опять отдыхаешь. Иногда проверишь подчиненных, чтобы строгость почувствовали. . .»

Так или примерно так рассуждал Кенжегул. А здесь был труд, напряженный, не дающий передышки. Люди — и их неотложные проблемы. Государство — и важные государственные вопросы, за каждым из которых опять же люди, с их надеждами, тревогами, радостями, болью. Дирижер — а за ним большой оркестр с десятками музыкантов, вопросы развития музыкального исполнительства. Руководитель театра — а за ним прекрасный театральный коллектив со своими насущными заботами и тревожностями. Можно подняться на вершину славы, но нелегко удержаться. . . А преподаватель из Института искусств? Не случайно лицо его так угрюмо и сурово. Несомненно, беспокоит его что-то чрезвычайно важное.

И всех этих людей министр должен принять, от него зависит решение не только их вопросов, но порой судеб целого коллектива. Кроме того, сколько есть первостепенных задач, требующих его неукоснительного вмешательства! Огромная область духовной жизни народа, ждущая разумного, творческого подхода!

Кумарбек в душе уже укорял и себя и Купию, испытывал чувство неловкости перед министром, как будто уже отнял у того немало времени на решение личного, своего дела. «Люди пришли к нему решать большие организационные вопросы, а я собираюсь выложить мелочные неустройства семейного очага!» Ему и без того

непостижимо трудно, не хватает спутать его по рукам и по ногам необходимостью выбивать нам квартиру...»

Отчего-то Кумарбеку и в голову не пришло, что у других посетителей, заполнивших приемную министра, тоже могут быть дела чисто личные. Смущенный и расстроенный, он поднялся, тихо вышел, так и не побывав на приеме.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Самая короткая нить на свете, которой можно связать события и дни, но невозможно их удлинить,— это время. Еркину Омиржанову его недоставало и прежде, а с тех пор, как он приступил к новой ответственной работе, очень хотелось удлинить сутки.

Несмотря на это, он решил встретиться с Алмасом Аубакировым и поговорить с ним.

Когда вошел Алмас, Омиржанов поднялся с места и пошел ему навстречу. Они встретились посреди длинного широкого кабинета.

— Как дела в театре? Как здоровье, творчество? — тепло спросил Омиржанов.— Прошу вас, садитесь.

— Спасибо, дела идут неплохо,— сказал Аубакиров, присаживаясь на стул, предложенный Омиржановым.

Перед большим рабочим столом министра Омиржанова стоял узкий длинный стол для посетителей. Приставленные вплотную один к другому столы образовали букву «Т».

Алмас увидел, что Омиржанов не пошел на свое обычное место, а устроился за узким столом напротив него. В ярком дневном свете была заметна печать многодневной усталости на умном красивом лице Омиржанова. Но это не мешало ему с живой заинтересованностью задавать вопросы собеседнику.

Отвечая, Алмас подумал, что нелегко дается человеку подобное расширение масштабов его деятельности. Густые черные волосы Омиржанова поредели, заметнее стала седина на висках. На гладком высоком лбу пролегли две тонкие поперечные линии. Видно, недосыпает, он ведь никогда себя не щадил...

Мысли Алмаса перебил веселый голос Омиржанова, хотя он и прозвучал негромко:

— Итак, все же какие новости в опере? Рассказывайте, рассказывайте, Алмас Бекбаевич!

— Да я по вашим вопросам понял, что вы обо всем прекрасно осведомлены, Еркин Нуржанович. Никаких особых новостей нет.

— Вы ошибаетесь, сведения у меня самые случайные, просто с вашим директором я довольно часто встречаюсь по служебным делам, а вот встретиться и поговорить с вами я собираюсь давно. Как видите, это удалось только сегодня.

— Я и сам собирался прийти к вам на прием.

— Прекрасно. Мне очень полезно знать мнение секретаря партийной организации о сегодняшнем дне театра, о перспективах на завтра. Не скрою, беседа с вами, большим знатоком искусства, ценна для меня чрезвычайно.

После долгого молчания Алмас задумчиво посмотрел в глаза Омиржанова, вызывавшего его на откровенный разговор. Были у него в театре заботы и большие и малые, но эти малые заботы нередко оказывались не менее болезненными и тревожными, чем большие.

Большой и главной заботой для него, как и для всего коллектива театра, был репертуар. Как создать спектакль большого общественного звучания, притом такой, чтобы он и волновал, и радовал зрителей?

— Конечно, главенствующая роль тут принадлежит композитору, — горячо говорил Алмас. — Музыку зритель должен уносить с собой, в своем сердце, тогда он придет слушать ее еще и еще. . . — Алмас запнулся и поспешно уточнил: — Но при этом большую роль, конечно, играет либретто. По неудачному, бессодержательному либретто даже хороший композитор не создаст сильной вещи, оно не вдохновит его.

В темных лучистых глазах Омиржанова Алмас уловил улыбку и вновь уточнил:

— Все-таки говорить, что судьбу спектакля решает композитор или автор либретто, было бы неверно. Я уж не упоминаю певцов, художника, балетмейстера, музыкантов, даже мастер по свету может подарить неожиданные находки, хотя, в общем, все упирается в режиссера. . .

Здесь Алмас прервал свою речь и испытующе по-

смотрел на Омиржанова. Тот сказал с дружеской проникновенностью:

— Друг мой, не поймите меня так, будто я требую от вас творческий отчет. Мне от души хотелось бы разговора, полезного для нас обоих. Меня, как, разумеется, и вас, волнует вопрос: отчего народ редко ходит в оперу? Вы слышали, раздаются голоса, будто оперное искусство устарело, новое время несет новые виды искусства. Я — из тех, кто в это не верит. Опера останется оперой, она прекрасно уживается рядом с любыми новейшими видами искусства, а возможно, и переживет их. . .

Алмас кивнул благодарно.

— Не думаете ли вы, — продолжал Омиржанов, — что нам стоило бы провести собственные социологические исследования, которые помогли бы определить возраст, специальность, вкусы зрителей? Между прочим, не только тех, кто ходит, но и тех, потенциальных зрителей, какие могли бы прийти, но по каким-то совершенно определенным причинам не идут в театр.

— А что, очень интересно, — согласился Алмас.

— Привлечем к этому делу ученых, им и карты в руки.

Алмас заговорил снова, на этот раз уже не сдерживая себя всякими предосторожностями, и потому искренне, горячо. Он горько сетовал на отсутствие произведений, способных взволновать прежде всего самих исполнителей, создателей спектакля, говорил о поисках, попытках заказывать и либретто, и музыку.

— В океане не вырастишь пшеницу, по пескам пустыни не проплывет корабль, — сказал Омиржанов. — Даже самому талантливому композитору или поэту не закажешь вещь, которая не созвучна его душе.

Алмас кивнул утвердительно.

— И здесь — поиск, — мягко и раздумчиво сказал Омиржанов, — не у каждого достает. . . даже не знаю, как назвать. . . мужества, что ли, прямо сказать: «Нет, это не мое». Бывает, он и сам верит, что справится с задачей, — вроде бы все так близко, важно, дорого. А получается мертво. Да, все близко и дорого, но замысел произведения, один лишь замысел, нужно выносить как ребенка. Только тогда совпадут общие творческие цели, начнется подлинно вдохновенная работа. . . Наш

народ сейчас в состоянии вступить в состязание с лучшим народом мира в области искусства, не так ли?

И вновь Алмас утвердительно кивнул.

— Да, кстати,— сказал Омиржанов,— как у вас в театре с молодыми кадрами? Сами знаете, молодым внимание необходимо как воздух.

— По-моему, все в порядке,— ответил Алмас не без некоторого смущения.— Молодые кадры у нас есть, будем учить, продвигать. . .

Последние слова он произнес с расстановкой и пытливо посмотрел в лицо министру: ему показалось, что вопрос этот был задан неспроста. Конечно, не все идет гладко, но стоит ли рассказывать сейчас о мелочах, о столкновении женских характеров?

Мог бы, конечно, Алмас высказать мысли свои о Шекер — о ее судорожном стремлении главенствовать и только главенствовать, об узости того внутреннего мира, какой она сама себе создала, мира, где есть лишь она и ее искусство. Но это были его личные выводы и впечатления, и подобный разговор, как ему представлялось, отдавал бы сплетней. Тем более что преданность Шекер искусству — пусть даже не искусству вообще, а ее искусству — не вызвала у него сомнений.

Министр заговорил о том, что все виды искусства оказывают влияние друг на друга, и в последнее время это ощущается особенно сильно. Прекрасные солисты балета вдруг выступают как великопленные драматические актеры, известная оперная певица заявляет во всеуслышание, что с радостью исполнила бы роль в оперетте.

— Некогда слово «оперетта» произносилось только как «оперетка»,— с улыбкой сказал министр,— и многие искренне считали ее жанром третьестепенным. Опера всегда гордо выступала впереди, но, может быть, потому-то кое-что было упущено. . .

Он поймал настороженный взгляд Алмаса, объяснил:

— Не сомневайтесь, я принадлежу к числу тех, кто почитает оперу как искусство великое, но не уходят ли иногда наши композиторы от народных традиций? Искусство, которое народ берег веками,— главное богатство нынешних деятелей культуры. Впрочем, не мне вас учить. Передайте от меня привет коллективу, мы еще не

однажды в ближайшее время встретимся. Желаю всем творческих удач. В театре работают талантливые люди, а истинному таланту можно верить. . .

Омиржанов проводил Алмаса до дверей. Когда посетитель вышел, он пригласил секретаршу. Девушка вошла со списком ожидающих приема.

— О, это мой бывший студент! — воскликнул министр, наткнувшись на фамилию Кумарбека. — Способный, трудолюбивый молодой человек. Его я приму попозже, нам с ним есть о чем поговорить.

Посетители сменяли друг друга. Иногда министр вызывал своих сотрудников, отдавал распоряжения, выяснял какие-то вопросы. Один раз он пригласил начальника отдела кадров, потом разговаривал по междугородному телефону.

Наконец, нажав кнопку звонка, он вновь вызвал секретаршу:

— Вы говорили, там дожидается приема Кумарбек Абенов. . .

— Он ушел.

— Что, не стал дожидаться? — Омиржанов слегка нахмурился, ответ явно прищелся ему не по душе.

— Нет, он почти сразу ушел.

Омиржанов задумался. Потом пригласил помощника:

— Там ко мне записывался на прием бывший мой ученик — Абенов.

— Художник? Знаю, — ответил помощник.

— Видимо, он постеснялся зайти. Сейчас конец дня. Прошу вас, завтра найдите его и попросите, чтобы непременно зашел. Я буду ждать.

— Хорошо, — помощник вышел.

Омиржанов и по дороге домой думал о Кумарбеке. Хотелось узнать, как живет один из любимых учеников, которого он так давно не видел.

Министру Еркину Омиржанову было немногим больше сорока, однако по жизненному опыту — много больше. Когда он учился в средней школе, наступили тяжелые дни для страны — началась война. Тогда еще не думали и не знали, что ее назовут Великой Отечественной. Два брата Еркина ушли на фронт, он вынужден был оставить школу и начать работать. В краю, где он родился и рос, не было богатых современных совхозов,

богатых и крупных хозяйств. В их маломощном колхозе работали одни старики и женщины. Все тяготы, все горе военных лет увидел Еркин своими глазами, вынес на своих плечах.

Самым большим горем была гибель на войне обоих братьев. Похоронные, которые пришли одна за другой, ускорили смерть матери, и без того постоянно болевшей. Отец скончался от туберкулеза еще в самом начале войны.

Горе и бытовые трудности заставили Еркина понять, что перенести все это он сумеет лишь став сильным. Очень сильным. Сосредоточив все силы для борьбы, которая ему предстоит.

Поработав еще несколько лет после войны в колхозе, он одновременно окончил вечернюю школу, сменил износившуюся одежду на более приличную и поехал учиться дальше в Алма-Ату. Учиться было его neodолимой потребностью, настолько сильной, что ему в буквальном смысле становилось трудно дышать, если он не мог найти ответ на какой-либо мучивший его вопрос.

Он неплохо рисовал, но подлинным его призванием все же была история и теория искусства. Худой, истощенный, но поражающий преподавателей трудоспособностью, широтой кругозора, он окончил институт и был оставлен в аспирантуре. Насколько стремительно излечилась страна от жестоких ран войны, настолько быстрым был духовный рост Еркина. Этот юноша напоминал альпиниста, одолевшего труднодоступную горную высоту. Для него такой высотой стало звание кандидата наук.

Еркин, ставший преподавателем, в один прекрасный день был назначен директором художественного училища. Он не ожидал этого — его мечтой было продолжать научную работу. Но, как коммунист, отказаться он не мог: у учебного заведения, куда его назначили, было слишком много нерешенных неотложных проблем, и одна из них, важнейшая — идеологическое воспитание будущих художников. Не кустарем-одиночкой должен ощущать себя талантливый мастер, но прежде всего гражданином, а коллег своих — не опасными конкурентами, которых по возможности нужно устранять со своего пути, но братьями, победа над кем возможна лишь в честном поединке.

Немало помучился Омиржанов, добиваясь своего, и, разумеется, не всегда мог добиться. Со многими пришлось вести борьбу, спорить, доказывать.

Столкнулся он и с явлением, которому прежде не придавал значения, просто не задумывался над этим. У чудовища, подтачивавшего, как червь, самые основы казахского общества, имя было — землячество. Старинный обычай в наше время приобретал все более уродливые формы. Законы землячества подменяли собой чувство справедливости: прав оказывался не правый, а земляк. Они заменяли подлинные достоинства: где предстоял выбор, достойнейшим опять же представлялся земляк. Земляку помогали ускользнуть от ответственности, когда он бывал виновен, конечно, его сородичи. И они же проявляли родственное всепрощенчество в тех развращающих мелочах, какие и позволяли человеку уверовать в свою безнаказанность.

В то же время землячество не объединяло, а недобро делило народ, людей, товарищей по обветшалым родовым признакам, увы, живучим.

У Омиржанова и тут нашлось немало противников. Чем смелее раскрывал он истинное лицо сторонников землячества, тем труднее становилась его жизнь. Над ним нависла угроза вынужденного ухода с работы, партийного взыскания. Он и сам готов был упрекать себя за излишнюю эмоциональность выступлений — надо бы посдержанней. . .

Однако искренность и самоотверженность его были оценены. Омиржанов, враги которого не сомневались, что не сегодня завтра он потерпит крах, одержал победу в честном споре, состоявшемся в Центральном Комитете партии. Не напрасно в глубине души он верил, что правда все равно восторжествует.

О нем не забыли.

Как говорили противники, он стремительно пошел в гору. Был назначен министром.

Естественно, на этой новой ступени стал меняться и круг людей возле него. Но он не любил терять тех, кто становился ему дорог, поэтому с огорчением думал, что уже много месяцев не видел Кумарбека, не удосужился побеседовать с ним. . .

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В нерешительности Кумарбек стоял у входа в концертный зал, поминутно слыша один и тот же вопрос: «Лишнего билета нет?» Иногда с вариантами: «Билетика лишнего не будет?», «Билетик не уступите?»

Но даже самая льстивая ласковость не помогла бы просившему: Кумарбек и сам не мог попасть на этот концерт, первый самостоятельный большой концерт Купии.

Она за несколько дней стала спрашивать его не приходить: «Ведь ты меня слышал, все знаешь. А придешь — я буду следить только за выражением твоего лица. Вдруг что-то получится не так... Умоляю, потом, в следующий раз...» — «Я где-нибудь спрячусь», — шутил Кумарбек. «Нет, нет, я все равно почувствую, если ты будешь в зале. Не обманывай меня, чтоб я не тревожилась».

Потому-то Кумарбек и толкался среди зрителей, дав слово и себе и Купии в этот раз на концерт не идти.

Все же он не выдержал: вошел в фойе — билетерша знала его и билета не спросила. Прикрыв глаза, он сидел на одном из стульев у сцены и слушал голос Купии, угадывая, как держится она в эту минуту, как уходит со сцены и возвращается обратно. Аплодисменты накатывались волнами, и он с удивлением отметил их выразительность. Ему стало казаться, что он даже угадывает моменты, когда Купия нагибается благодарно, чтобы принять цветы. В руках у некоторых зрителей он видел букеты.

Цветы! Любимый подарок для женщины, которая любит красоту, ожидает встречи с ней повседневно, пусть даже об этом не говорит. Если подобный подарок преподносит народ — не в этом ли высшее признание для человека искусства?

Знают ли зрители, которых восхищает изящество и легкость исполнения, каких трудов стоило достичь этой свободы и легкости? Да и нужно ли им знать, сколько тревог и волнений переживает человек искусства, сколько он мучается и проливает пота, чтобы пережить вот эту минуту счастья! Нет, не нужно, ибо великая радость наполняет и самые поиски, муки творчества, потому что именно в них — находки, озарения...

Окончилось первое отделение концерта, фойе стало заполняться людьми. Кумарбек увидел немало знакомых лиц, однако это были не те люди, которых он знал лично. Орденские колодки, значки депутатов Верховного Совета подсказали ему, что кого-то он, очевидно, видел в президиуме ответственных заседаний, чьи-то портреты встречал в газетах. Мелькнуло лицо Алмаса, возбужденное, счастливое, лицо человека, лично причастного к происходящему. Что ж, так оно и было. Купия до последнего времени сомневалась, получит ли право на большой личный концерт, но когда она задала этот вопрос Алмасу, он искренне возмутился: «О каком праве ты спрашиваешь? Речь могла бы идти только о возможностях, а создать такие возможности зависит от нас, не тревожься, создадим».

Узнал Кумарбек и невысокого человека с открытым широким лбом, который стоял в окружении нескольких молодых людей, перебрасываясь короткими фразами, вынужденный отвечать сразу на вопросы многих. И он отвечал, поворачиваясь то к одному, то к другому, неторопливый в движениях, без единого лишнего жеста, умеренный даже в смехе. Кумарбек очень любил этого прославленного мастера слова и, хотя не был знаком с ним лично, был в театре на его юбилее, вместе со всеми поздравлял его со славной датой. . .

— Кумарбек! Что же это такое, ты, оказывается, решил игнорировать бывшего своего учителя!

Кумарбек стремительно оглянулся. Возле него стоял Омиржанов.

— Однажды совесть у тебя заговорила, ты решил меня навестить,— продолжал Омиржанов, улыбаясь, не скрывая шутки.— Но потом, как я понимаю, решил не тратить зря времени, заторопился по своим делам. . .

Кумарбек растерянно молчал, не зная, что ответить. Омиржанов протянул ему руку, он схватил ее и сумел наконец выговорить:

— Здравствуйте. Извините.

— Ты даже не дал мне возможности поздравить тебя с женитьбой,— продолжал Омиржанов, угадывая состояние Кумарбека.— Что ж, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Поздравляю от всей души. Поздравляю вдвойне. Между прочим, как вы устроились? Где

живете? Двоим творческим людям условия нужны особые...

Как из тумана выплыло лицо Алмаса, смущенное, растерянное. Похоже, он хотел что-то сказать Кумарбеку, но промолчал, только смотрел пристально. Омиржанов окинул их обоих внимательным взглядом, бросил Кумарбеку:

— Может быть, зайдете ко мне вдвоем с супругой? Хотя бы завтра. Хорошо? Буду искренне рад.

И отошел вместе с Алмасом, который сразу стал говорить о чем-то в сильном волнении, но слов Кумарбек уже не услышал.

Он и второе отделение провел в фойе, вслушиваясь в голос Купии. И лишь когда понял, что концерт подходит к концу, вышел на улицу.

Ждать пришлось долго.

По привычке, оставшейся еще с той поры, когда спешить ей было не к кому, Купия выходила позже всех. Торопливо здороваясь, пробежали мимо Кумарбека музыканты, расходились последние зрители, и вот наконец громко стукнула дверь артистического входа.

— Заждался? — спросила Купия шагнувшего ей навстречу Кумарбека. — Прости, ты там знаешь, какая я медлительная. Пока сняла грим, вон сколько времени прошло!

— Ладно, не наговаривай на себя.

— Лишь бы ты не обижался, — сказала Купия, не поняв слов Кумарбека.

— Обижаться я могу только за одну вещь, — возразил Кумарбек. — Ты не захотела, чтобы я разделил твой сегодняшний триумф. Но я уже все знаю. А ждать тебя, поверь, для меня неповторимая радость...

— И теперь тоже? После нашей женитьбы?

— Теперь — еще большая.

— Сдаюсь, — засмеялась Купия.

— Вот, вот, хотя бы раз уступи мне победу.

— Если будешь таким покладистым, как сегодня, всегда будешь победителем! — Купия засмеялась нежно и прижалась теснее к Кумарбеку. — Так ты говоришь, это был триумф? Откуда ты знаешь? Ведь ты не был.

— И был, и не был. Даже чувствовал, когда тебе преподносят цветы.

— Кстати, возьми же их, не заставляй жену таскать

тяжести! — свободной рукой Купия прижимала к себе несколько изящных букетов.

Они долго шли пешком, но не ощущали усталости. Им казалось, что на свете нет людей счастливее, чем они. . .

А на следующий день они были вдвоем в кабинете Омиржанова.

Лицо бывшего учителя теперь казалось Кумарбеку бледным, осунувшимся, глаза были усталыми.

После первых слов приветствия Омиржанов сказал:

— Я понял, что шел ты ко мне, Кумарбек, с какой-то бедой, просьбой. . . Я прав? Но щепетильность вынудила тебя уйти, не дождавшись, не так ли?

И потому, что Кумарбек и Купия молчали, он заговорил снова, с упреком:

— Я понял, тебя смутило, что ты идешь ко мне впервые за долгое время, и о чем-то просить. Конечно, ты мог бы зайти и раньше, рассказать о себе. Между прочим, я слышал от одного хорошего товарища — он депутат Верховного Совета, — как огорчает его, что люди идут к нему только с неприятностями и бедами. Хоть бы кто-то пришел спросить: а как мне сделать, чтобы работать получше? Чтобы жить красивее? Стать по-настоящему полезным людям? . .

Кумарбек молчал, чувствуя всю справедливость этого косвенного упрека. Омиржанов обратился к Купии:

— Извините, я еще не поздравил вас со вчерашним успехом. От души поздравляю, концерт был прекрасный. . .

И вновь наступила пауза.

— Кумарбек, почему же ты не рассказал мне о ваших квартирных делах? — спросил Омиржанов. — Что там такое в театре? Впрочем, дорогая Купия, вы, наверно, расскажете об этом лучше. Вам, кажется, дают квартиру. . .

— Не знаю, — Купия покраснела до слез. — Решение-то есть, но. . . Не знаю.

— Решение-то есть, — медленно произнес Омиржанов, — но есть еще и Шекер Айдархановна. Не просто одна из ведущих актрис, а и председатель месткома.

— Да, — чуть слышно ответила Купия. — И она ни за что не хочет.

— Она из тех людей, — заговорил Омиржанов, — ко-

торые считают, что молодежь необходимо держать в узде, притормаживать во всем. Ей кажется, что создать молодым хорошие условия для работы означает испортить их, отбить интерес к упорному труду. Мол, только через преодоление трудностей приходят к высокой цели. Но ведь трудности трудностям рознь. В искусстве их и без того предостаточно. А вот всякие бытовые неудобства как раз и отнимают силы, необходимые для подлинной борьбы. Я считаю, что в этом Шекер Айдархановна глубоко не права.

О, если бы только в этом!

Купия и Кумарбек невольно переглянулись, без слов понимая друг друга.

— Вы удивлены, что я так хорошо осведомлен о ваших делах? — спросил Омиржанов, уловив этот беглый взгляд. — Просто у нас вчера был долгий разговор с Алмасом Аубакировым. Признаться, я рад, что вопрос будет решен без моего вмешательства. Хуже всего, когда такие вещи делаются в порядке приказа сверху. Справедливость на вашей стороне, и она восторжествует. Все происходило оттого, что коллектив был на гастролях и решение принималось второпях.

«Если бы второпях, — Купия вздохнула, опустив глаза. — Немало понадобилось времени Шекер, чтобы обзвонить членов месткома, сказать им какие-то слова и считать, что она заручилась их согласием и вопрос почти что вынесен был на голосование. . .»

— Да, я придерживаюсь совсем иных взглядов, — вернулся Омиржанов к предыдущему разговору. — Создавать молодым искусственные трудности или нагнетать существующие — это как бы подгонять людей плетью к цели, которую они поставили себе сами. Путь в искусство нелегок от первого и до последнего дня, и даже в словах «почивать на лаврах» есть скрытый, опасный смысл. Они как бы предупреждают, что пробуждение будет недобрым, что почивать в спокойствии не стоит, рискованно. . .

Прощаясь, Омиржанов слегка задержал руку Кумарбека в своей.

— Значит, договорились? Заходи иногда просто рассказать о своих делах, посоветоваться, если будет нужда. А насчет квартиры не тревожьтесь. Я распорядился, мне завтра же доложат. . .

— Возможно, мы получим квартиру, а может, и нет, — сказал Кумарбек, когда они вышли на улицу, — но какой во всем этом ужас. Как могла она, только что похоронив мужа, пойти на такую подлость?

— Ты слышал, она тревожилась обо мне, — сказала Купия. — Боялась, что в новой квартире я перестану работать, займусь совсем другими делами.

— Не надо, — возразил Кумарбек. — Сверху все видится немножко иначе, а Шекер хитра, говорить умеет. Не могла же она сказать, что это всего лишь произвол или самая обыкновенная зависть.

— Она мне завидует? Скорее завидовать могла бы я!

— Мы уже говорили об этом не однажды. Она завидует тому, что утратила и утрачивает с каждым днем. Завидует будущему, потому что у нее самой главное — в прошлом. . .

Кумарбек поднял руку и остановил свободное такси.

— Мы могли бы поехать на автобусе, — удивилась Купия. — Или дойти пешком.

— Я тороплюсь. . .

— Куда, дорогой?

— На работу. В Союз художников.

— Но ведь рабочий день почти на исходе?

— Это верно, но, ты же знаешь, мы готовим передвижную выставку. Договорились сегодня поработать подольше.

— А когда вернешься?

— Даже не знаю. Я позвоню.

Купия вздохнула:

— Сейчас ты уже в Союзе художников. Почему меня не было рядом в трудные для тебя дни? Я иногда думаю: как было бы хорошо, если бы я помогала тебе стать на ноги, добиться первых успехов. . .

— Представь себе, именно ты помогала мне вступить в Союз художников.

— Ты шутишь?

— Нисколько. «Алатау» признана была одной из самых удачных моих работ, а ведь я никак не мог эту картину закончить. И если бы не попал случайно на концерт, где ты пела. . .

— Значит, ты в самом деле не шутишь?

— Нет, дорогая, нет. Нам помогают в работе не все-

гда те, кто находится рядом, бывают у нас и дальние учителя, об этом говорил мне когда-то мой учитель Еркин Омиржанов. Счастье мое в том, что ты помогла и когда была недосыгаема, и теперь, и всегда...

— Спасибо...

Кумарбек довез Купню до дому, и такси повернуло обратно.

Товарищ по кисти ожидал Кумарбека у входа в Союз художников. Пожилой русский человек с седой бородой, закрывающей почти все лицо, швырнул в урну сигарету и радостно шагнул навстречу Кумарбеку, выходящему из такси.

— Вы долго меня ждали? Простите,— сказал Кумарбек.

— Нет, я пришел недавно, но уже переволновался. Боялся, а вдруг не придете.

— Уговор дороже всего.

— Конечно, только не все любят безденежную работу.

— Ну что вы, для себя же работаем, ради своих товарищей. Можно ли такую работу делить на денежную и безденежную?

— А ты, оказывается, хороший парень!

— Почему вы так решили? — Кумарбек засмеялся лукаво.— Возможно, я вовсе не так уж хорош!

— Нет, ты хороший, я тебя понял сразу,— уверенно сказал старый художник.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Хотя никто из земляков и знакомых не мог с точностью сказать, где и кем работает Кенжегул, все знали, что в пору приемных экзаменов он бывает страшно озабочен и занят.

Зато мало кто знал, что именно в это время ему удастся поправить свои дела.

Например, с начала зимы он собирался купить новенькую «Волгу», записался в очередь и довольно быстро выяснил, что его черед в ближайшее время вряд ли наступит. Как быть? Разумеется, купить машину без всякой очереди, но как?

Подобные вопросы мог бы задавать себе кто угодно, только не Кенжегул. Произнести слова «не смогу», «не

сумею» он считал позором для настоящего мужчины.

Однако он прекрасно понимал, что идти с просьбой к какому-нибудь большому начальству не имеет смысла. И он ждал приемных экзаменов. Кому и как он помогал, и помогал ли вообще — трудно сказать, во всяком случае, суетился он много, давал советы, получал комиссионные вместе со всякого рода услугами: чего не сделают чадолюбивые родители, не слишком уверенные в знаниях и развитии своих детей, но давно осознавшие цену дипломов и диссертаций. Среди таких родителей, готовых на все, Кенжегул и надеялся отыскать полезного человека, то ли работающего в торговой сети, то ли такого, чтобы его там беспрекословно слушались.

Как говорится, на ловца и зверь бежит: один из ответственных работников торговой сети города сам пожаловал к Кенжегулу посоветоваться. Состоялся разговор, иносказательный, с недомолвками, но для обоих понятный:

«Хороший паренек... Как бы ему помочь? По-братски. Братская поддержка не забывается, ведь известно: «Имеешь брата, будешь жить богато». — Пожалуйста, не заставляйте меня богатеть, к чему мне лишние заботы». — «Добро всегда сполна окупается». — «Не скажете, по опыту знаю, что не всегда». — «Мы в долгу не останемся...»

После этого Кенжегул пошел напрямик:

«Хорошо, если уж вы сами пришли ко мне, не посчитались со своим высоким положением, значит, паренек ваш этого стоит, верю, не жаль потратить силы, похлопотать за него... Мне за это ничего не надо, не обижайте. Может, просто посоветуете. Я вот задумал купить колесо с мотором, с прошлого года стою в очереди, а надежды мало...»

Работник торговой сети, сразу смекнувший, что его просят, ограничился было сухим обещанием: «Ладно, подумаю, чем помочь», но разве проведешь Кенжегула? Он мгновенно ухватился за слово «помочь»: «Стоит ли вам тратить время, обдумывать это дело? Вы только трубку снимите и скомандуйте». И, видя, что собеседник колеблется, добавил со вздохом: «Трудное это дело — вступительные экзамены. Бывает, идет молодой человек на четверках да пятерках, а на самом последнем экзамене, глядишь, и провалится с треском...»

Намек был понят. Новая серая машина «Волга» — плод экзаменов текущего года — вскоре стояла перед домом Кенжегула.

Вместе с супругой Жамал он решил съездить на новой машине в колхоз к старшему брату.

Брат, жена его, ребятишки, остальные родственники — все обрадовались при виде сверкающей машины Кенжегула.

— Ну, что возьмешь на коримдик¹? — спросил старший брат.

— Прежде за маленькие машины вы дарили мелкий скот, теперь за большую дадите, наверно, покрупнее.

— Ну что ж, выбирай. Я не отказываю, лишь бы супруга твоя не была против.

— Да ну тебя! Когда я бываю против? — возразила Жамал. — От такого щедрого джигита любой подарок впрок. . .

— Ладно, хватит, — перебил Кенжегул, — ваше пусть при вас и останется. Я получу коримдик не от родни, а у дальних друзей.

— Нет, ты все же не уезжай с пустыми руками, — сказал брат. — Свежее мясо в городе пригодится.

— Ничего, ничего. И скот не возьму, и с пустыми руками не уеду.

— Возможно, Кенжегулу нужны деньги, — вмешалась жена брата.

— И денег не возьму.

— Ойбай, что же ты тогда собираешься брать? — не выдержала Жамал.

— Ничего. Просто у меня есть просьба, — проговорил Кенжегул, повернувшись к брату. — Коли выполните, считайте, что я получил коримдик.

— Что за просьба?

— Покупайте и вы машину. Завтра же запишитесь, в колхозе ведь это не трудно, и с завтрашнего дня у вас будет считаться очередь.

— Ой, на что она нам? — удивилась жена брата.

— Не беспокойтесь, выкуплю машину я сам. И начинайте не с «Волги», а с «Запорожца», как я. И ездить вам на нем не обязательно.

¹ Коримдик — традиционный подарок, преподносимый владельцу вновь приобретенной вещи теми, кто увидел ее первыми.

— Что же мы будем делать с ним? Любоваться? — спросил брат.

— Нет, вы купите его на свое имя, а в остальном положитесь на меня.

— И что тогда?

— Узнаете в свое время.

— А сколько он стоит?

— Не твоя забота.

— Как это не моя? Я тебе не позволю на нас так тратиться. Если ты так настаиваешь, ладно, купим машину.

— А настаиваю я вот почему... Только никому ни слова. Машина — это капитал, живая прибыль. Стоит купить маленькую машину, как она начинает расти сама по себе, без всяких расходов. В конце концов большую машину «Волгу» — она из «Запорожца» вырастет — ты превратишь в два «Москвича». Один сможешь использовать до дыр, второй пустишь в оборот для денег.

— Ничего не понимаю.

— Не смейся, тут и понимать нечего. Дело такое, слушайте...

Кенжегул торопливо объяснил недоумевающему брату, что недвижно лежащие накопленные деньги, превращенные в машину, немедленно сами начнут зарабатывать деньги. Это все равно что в доме появится невидимка с заработной платой.

— Как, как? — брат все еще ничего не мог понять. — Да не части ты, объясни толком.

— А ты выслушай до конца.

— Слушаем, все слушаем.

— Итак, вы купили «Запорожец».

— Ну, купили.

— Поездите на машине два-три месяца и продаете ее за двойную цену.

— Да кто возьмет ее за двойную цену?

— Возьмут, еще как возьмут. Драться будут.

— Интересно. А потом?

— Потом за эти деньги мы приобретаем «Москвич».

— Ну, скажем, приобрели.

— Продаете и его тоже.

— Опять за двойную цену?

— Ясное дело. Теперь добавляем пару тысяч и покупаем «Волгу».

— Ну, купили. Что, опять станем продавать?

— Конечно.

— Снова втридорога?

— Вот именно.

— Кто ее возьмет?

— Любой из тех, кто понимает в торговле. И после, я уже говорил, покупаем две машины, одну на твое имя, вторую — на имя твоей жены.

— Ой, куда она мне? — закричала жена брата, внимательно слушавшая весь разговор. — Не надо мне машины!

— У вас будет одна на семью, вторая, я же говорил, пойдет в оборот и начнет делать деньги. Через несколько лет в этой округе не найдешь семьи богаче вашей.

— Нам пока хватает, — обиделась жена брата.

— погоди, — сказал брат. — Ладно, скажем, решимся мы на это дело, но ведь люди оттого и гоняются за машинами, что их на всех не хватает. Кто же нам-то даст одну за другой?

— Я достану, я.

— Как ты достанешь? Ты же не начальник торговли, да и он не решится брать столько машин.

— Начальник торговли не сможет, а я смогу.

— Не понимаю, каким образом?

— Путей много.

— Какие же?

— Ну, если хотите знать, скажу про два-три. Одну машину я могу достать в Алма-Ате, другую в ауле, откуда родом Жамал...

— А третью, четвертую?

— Не тревожьтесь о них, у меня довольно друзей, через которых я могу доставать машины. Если честно обождать своей очереди, ни одна душа не придерется.

— И эти люди послушаются тебя? — недоуменно спросил брат, оглядываясь на жену и притихших ребятшек, как бы надеясь, что и они разделят его недоумение.

— Не меня послушаются, а денег, — веско возразил Кеңжегул. — Сила, величие, волшебство — все в день-

гах. Нет красоты, нет благ на свете, которых не купи-
ли бы деньги, просто не каждый поспевает купить.

— И ты не боишься?

— Не боюсь. В жизни, как в поговорке: «Кто пьет айран, уйдет спокойно, кто подберется попробовать — попадется». Я никогда не подбираюсь, я подхожу и пью. Кроме того, в этом деле так: проплыла твоя лодка — и следов на воде уже нет.

— А если попадешься с поличным?

— Деньги помогут. Не одного, так другого свяжу по рукам и по ногам. Деньги — это такая чертова цепь, которая вытянет из пропасти на самую вершину скалы.

— Не знаю, не знаю, — задумчиво проговорил старший брат, — Это дело не для нас, да и ты поостерегись...

А когда Кенжегул с Жамал собирались в обратный путь, женге со слезами обняла Жамал:

— Бедная моя, рехнулся он у тебя, что ли? Неужели так и крутится без передышки: купить-продать. Радость-то какая от этого? Уж он-то ничего не успеет купить на свои барыши...

Жамал лишь всхлипнула в ответ. У нее, когда она только слушала весь этот разговор, волосы вставали дыбом. Впервые при ней Кенжегул так разговорился — видно, думал ошеломить старшего брата и никак не ожидал потерпеть поражение. Был он перед отъездом мрачен, обижен, напомнил с досадой брату:

— Ты хоть бы машину мою разгядел толком. Кра-
савица, новая модель последнего выпуска.

Брат бросил с легкой иронией:

— Чего глядеть, и так ясно. Товар стоящий.

На обратном пути Жамал сидела не рядом с мужем, а позади, вся съезжившись, испытывая ноющую, как зубная боль, тоску. «Радость-то какая от этого?» — спросила у нее женге. В самом деле, отчего сама она никогда не задумывалась, зачем Кенжегул так часто меняет машины? Впрочем, где ей было задумываться: она ведь тоже уподобилась ему, постоянно обновляла мебель в доме. Живут вечными новоселами, в необжитой квартире, потому что один гарнитур сменяется другим, более модным, а позже, когда мода повторяется, сожалеют, что там продешевили, продавая, а в другом месте упустили, не купив вовремя... Бесперывно в квартиру

что-то втаскивают, потом что-то тяжелое вытаскивают, и созданный с большими усилиями уют представляется временным, как декорация. А у Кенжегула все силы уходят на разного рода ухищрения, хитросплетения...

В город Жамал вернулась напуганная, с испорченным вконец настроением. Вошла в свою квартиру, оглядела комнаты, украшенные дорогими коврами, импортный сервиз и хрусталь за стеклом серванта, сверкающие люстры, но все казалось чужим, мертвым, холодным, подобным товару, выставленному на продажу.

— Отсталые люди,— ворчал Кенжегул по адресу своих родственников.— Могли бы тоже красиво жить, если бы научились шевелить мозгами...

Ему всегда казалось, будто он живет красиво. Но что сказать о Жамал? Что красивого могла бы она припомнить в своей жизни? Какие радости видела она, кроме азартного увлечения дорогими вещами, на которые порой и глядеть не хотелось, так много бывало вокруг них утомительной суеты!

В обычные дни она с утра до вечера шлепала комнатными туфлями между кухней и гостиной. На улицу выходила, лишь когда нужно было сходить в магазин либо на базар. Могло ли у нее оставаться свободное время, если постоянно требовалось ухаживать за Кенжегулом, принимать его бесчисленных гостей и близких. Бесконечное множество домашних дел, скрытых от чужих глаз, трудоемких, изнурительных, лежало на плечах Жамал, да вдобавок воспитание двоих детей, каждодневная тревога и материнская забота. Не всегда ей доводилось выспаться, но никто из близких не видел ее мрачной или хмурой, этого она себе не разрешала.

А кто хоть когда-нибудь беспокоился о ней, о ее здоровье?

Самый близкий человек — Кенжегул и тот хуже чужака. Чего только не делала ради него Жамал, не щадя себя, не отдыхая, и вот теперь постарела раньше времени, превратилась в хозяйку-домработницу, крепко-накрепко привязанную к дому.

Не успевает она управиться с одним делом, как выясняет, что ее ожидают другие дела, невыполненные.

Кенжегула это не волнует, разъезжает на своей машине, развлекается, а дома, развалиясь на тахте, отдыхает после своих хитроумных подвигов.

Наверно, и это простила бы Жамал — мужчина, мол, все они бывают беззаботны, да только разъедает душу горечь обиды: отвернулся муж от супружеской постели, находит удовольствия на стороне. Может, поэтому так чутко стала прислушиваться Жамал ко всем разговорам, так остро начала примечать разницу между Кенжегулом и другими людьми.

Гости и родные, приходившие или приезжавшие к ним, рассказывали о каких-то интересных событиях, встречах, путешествиях, даже общих собраниях на работе, и это слушать было интересно. У всех были важные дела, у каждого — профессия: ведь Кенжегул не приглашал в дом людей пустых, с каждым гостем были связаны у него свои планы.

Кем же сам-то он был среди них? Вечным аспирантом-заочником. Конечно, он не считался тунеядцем, хотя работу менял, пожалуй, не реже, чем машины. При гостях он умел либо пошутить, либо молчаливо избегать разговора, когда речь заходила о работе. Многозначительное молчание, пожатие плеч иногда служили как бы намеком, что его работа слишком серьезна, чуть ли не секретна, чтобы о ней говорить за столом.

Жамал, в отличие от него, всякий раз мучилась, если кто-нибудь задавал вопрос: «А вы кем работаете?» Для нее это было равнозначно вопросу: «На что ты потратила свою жизнь?..»

Все, все ее обманывало: и муж, и эта квартира — полная чаша, и эти модные вещи.

В тот раз, когда она мчалась на такси за немолодой накрашенной женщиной, сумевшей покорить сердце ее мужа, сама судьба помешала ей догнать первую машину. Загорелся красный огонь светофора, создался неожиданный разрыв, потом таксист не угадал, в какой свернуть переулок, и та, другая, даже не догадалась, сколько ненависти полыхало за ее спиной.

Немного погодя Жамал решила поговорить с ее мужем, дождалась этого грузного пожилого человека у их дома, остановила его, но сумела лишь выговорить сквозь слезы: «Я хотела вам сказать... Хотела сказать...»

Хотела, но не смогла, столько откровенного страха прочитала в его глазах. «Успокойтесь, — твердил он, — пожалуйста, успокойтесь...» Твердил, не спрашивая,

что же именно хотела сказать ему незнакомая женщина. Видно, догадывался: нечто тяжкое и страшное для них обоих.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Новую квартиру Купия и Кумарбек получили к лету, и почти в эти самые дни Купии предстояло выехать на гастроли.

Кумарбек не мог оставаться один в необжитых комнатах, где и вещи-то были расставлены наскоро и уж тем более ничто не хранило трогательной семейной теплоты, которая даже в отсутствие близкого человека напоминает о нем каждой мелочью.

И Кумарбек решил съездить в родные места, на Капчагай. Если повезет, он хотел завершить давно задуманную работу — картину, посвященную строителям.

Здесь каждый человек — непрочитанная манящая книга, богатыри, изменившие русло много перевидавшей на своем веку древней реки Или, сотворившие на огромном пространстве море и воздвигающие город посреди пустынной степи. Впервые Кумарбек ездил на Капчагай только ради того, чтобы своими глазами увидеть этих героев. Он наблюдал их в работе, на отдыхе, за оживленной беседой. Ловил жесты, позы, делал торопливые зарисовки в своем блокноте. Пройдут одно-два десятилетия, и уже никто не будет знать, какими они были, богатыри Капчагай. А чего стоит один лишь Сабыр, с которым Кумарбек познакомился в первый свой приезд, а во второй и в третий уже считал его своим другом! И гордился этой дружбой.

Сабыр был одним из тех людей, кого воспитала сама жизнь, потому что не искал он в ней легких дорожек, не уступал обстоятельствам, которые, как известно, нередко оказывают дурную услугу человеку, давая возможность идти на всякого рода уступки собственной слабости, малодушию.

Счастье, когда в жизни у тебя есть друг, умеющий хранить верность, невзирая на внешнее твое благополучие либо постигшую тебя неудачу. Он принимает тебя таким, каков ты есть, с твоим характером, с твоими, только тебе присущими недостатками. Пожалуй, после Купии Сабыр был для Кумарбека самым дорогим чело-

веком, которого он себе выбрал на жизненном пути. И неважно, что виделись они от случая к случаю. Важно было знать, что есть на свете Сабыр, и уже одно это помогало принять верное решение в ответственную минуту или, во всяком случае, не торопиться с решением, поразмыслить, не поступиться своими принципами. «А как поступил бы на моем месте Сабыр?» — этот вопрос часто помогал Кумарбеку найти и ответ. Он хорошо знал характер Сабыра: тот не мог согласиться с несправедливостью, простить самому себе ошибку, но действовал спокойно, неторопливо, убежденный, что все равно ошибка будет исправлена и долг твой — достичь этого возможно быстрее.

С Сабыром было легко: ему была присуща мудрость много повидавшего и испытывавшего человека. Все понимая, он чутьем угадывал, когда другому дорого его слово, а когда поддержкой бывает молчание.

За спиной у Сабыра была школа ФЗО, работа на родине — в Рудном Алтае, потом фронты Великой Отечественной войны, а после победы — участие в строительстве Усть-Каменогорской и Бухтарминской ГЭС. До приезда на Капчагай Сабыр около десяти лет работал на Иртыше, а сюда приехал, когда тут не было ни этого моря, ни этого города. Среди песчаных холмов высились только палатки строителей. . .

Но Сабыру не впервой было начинать жизнь заново, с чистой страницы, с палатки, открытой ветру и холоду.

Кумарбеку нравилась манера Сабыра философствовать: это была простая житейская философия, основанная на здравом смысле.

— Жизнь наша — не длиннее кочерги, — рассуждал Сабыр, — а время несется быстрее скакуна. Не стоит откладывать радость на завтра, кто знает, с чего начнется и чем кончится для меня завтрашний день. Да и молодость не вернется обратно. Значит, все нужно получить вовремя, иначе будет поздно и останутся лишь запоздалые сетования и сожаления.

— Мне кажется, что вы не из тех, кто думает о радостях жизни, — возражал своему старшему другу Кумарбек.

— Я? Ошибаешься, — Сабыр искренне смеялся. — Вот мы всей страной отмечаем День Победы. Это и мой праздник, личный. Но знаешь, сколько у меня еще таких

вот личных дней победы? Ого-го! Я тебе когда-нибудь их перечислю. Окончание каждой стройки, где я работал, — это мой день победы. Нет, я не из тех, кто ожидает завтрашние радости из чужих рук. Все у меня было. Любил. И меня любили. Женился тут, на Капчагае, потому что понял: другая мне не нужна. По-моему, и ты, как рассказываешь, нашел свое — не упускай. . .

Мысли Сабыра не ограничивались этим. Увлечшись, он начинал рассуждать о жизни вообще, об эпохе и современности. Не все им сказанное запомнилось Кумарбеку, но ехал он полный желаний порасспросить Сабыра, послушать вновь неторопливые его речи.

Однако Сабыра на Капчагае не оказалось. Буквально за день до приезда Кумарбека он уехал с семьей к своим родным на Рудный Алтай.

Кумарбек бродил с этюдником, решив посвятить все дни работе. Пока что он задумал написать несколько пейзажей. Все равно для картины придется создавать обобщенный фон, чтобы никто не назвал ее раскрашенной фотографией. Группу строителей он не мыслил без Сабыра. Этюдов было немало, но не хотелось писать центральную фигуру по памяти, пусть даже с помощью предварительных этюдов и набросков. Кумарбек не сомневался, что при новой встрече непременно откроет и в Сабыре что-то новое: слишком ярким и разносторонним был этот богатырь Капчагая. Будто бы и знаешь и его самого, и его судьбу, а нет, всякий раз встречаешься с ним будто впервые, столько у него новостей.

И внешне, и по характеру Сабыр напоминал Кумарбеку давнего аульного товарища, друга детства — мальчугана в белой рубашке, с которым летом они играли в бабки, а зимой сооружали снежные крепости. Странно было думать, что ровесник так обогнал его опытом и годами, и все равно верилось: да, это он, рассудительный жизнелюбивый мальчуган, верный друг, исчезнувший где-то в круговороте жизни и вдруг вернувшийся после того, как прожил за каждый год по меньшей мере пяток лет. . .

Погода сурового Капчагая затрудняла Кумарбеку работу. Даже хотелось, чтобы поскорее наступила зима, выпал снег, тогда можно будет сделать несколько зимних этюдов, которых у него еще не было. К этому времени вернется Купия, а он придет сразу же вслед за ней,

чтобы не возвращаться одному в пустую квартиру и чтобы жену не оставлять в одиночестве.

Чем больше подступающей осенней суровости угадывалось в природе Капчагая, тем чаще вспоминал Кумарбек родной аул. И там скоро наступит зима, как всегда ранняя, морозная зима севера. Вовсю завихрится буря, все вокруг покроет снежная седина. Как хотелось бы вот теперь, в эту минуту, мчаться в санях, запряженных лошадей, по снежно-белой беспредельности! До чего же давно не видел он настоящую зиму — суровую аульную зиму. Оказывается, и суровость напоминает о себе щемящей тоской.

Вспомнил Кумарбек озеро Камыспай, куда они иногда удирали мальчишками, а выросши — ходили охотиться. Название озера в переводе означало Камышовое и пошло от камышей, которыми заросли его берега. Круглое зеркальное озеро казалось созданным человеческими руками во впадине большой сопки, изогнутой наподобие лука.

Вода в озере была синевато-прозрачной, и в страшной мерцающей глубине можно было разглядеть каменное светлое дно.

Летом вокруг озера из камышей шумно вспархивают птицы. Зимой на белом снегу, переплетаясь между собой, четко проступают следы зверей, будто буквы на бумаге.

Неповторимо прекрасными вспоминались Кумарбеку дни, когда он с собакой и беркутом выходил на охоту. Но его охотничья карьера оборвалась внезапно и навсегда. Вот как это было.

Однажды летним днем они с односельчанином Муликом отправились на Камыспай поохотиться на уток. Сбив несколько птиц, уселись передохнуть на берегу озера. Кумарбек прихватил с собой сборник стихов поэта Касыма и, увлекшись чтением, совсем забыл о своем спутнике. Да и тот не напоминал о себе.

В какой-то момент Кумарбек почувствовал, что изнывает от жары, отложил книгу и огляделся в удивлении, не понимая, куда мог деваться Мулик.

А тот стоял в зарослях камыша и целился в двух лебедей, которые плыли по озеру, ластясь один к другому. Кумарбеку показалось, что у него волосы встали дыбом. Понимая, что не успеет остановить Мулика, он

хотел криком спугнуть лебедей, но от волнения лишился голоса. Тогда он бросился вперед что было мочи, но выстрел опередил его. Одновременно с грохотом выстрела черная пелена дыма скрыла озеро.

Безжалостная пуля попала одному из лебедей прямо в грудь. Водная гладь побагровела от крови.

Раненый лебедь, бессильно ударяя по воде крыльями, глянул в небо, вслед улетевшему другу, и издал горестный звук, будто прощался с ним. Тоскливый голос птицы болью отозвался в сердце Кумарбека.

Взмывший в небо при звуке выстрела лебедь-самец услышал скорбный зов своей подруги и вернулся.

Низко пролетая над озером, а потом и вовсе опустившись на воду, подплыл он к раненой подруге. Изогнув шею, лебеди на миг прильнули один к другому, будто обнялись с тихим безнадежным плачем.

Спасшийся от пули лебедь, как человек, потерявший всякую надежду, тяжело взмахивая ослабевшими крыльями, опять поднялся вверх, облетел вокруг озера. Его уже не пугала опасность, человек с оружием, затившийся в камышах.

Лебедь пролетел над самой головой Кумарбека, почти задев его. Летел и плакал. В крике птицы звучали боль и обида, бессильная ярость перед тупой и бессмысленной жестокостью.

Горестный крик несчастного лебедя, оплакивающего свою подругу, потряс Кумарбека. Продираясь сквозь камышовые заросли, он бросился к Мулику, который стоял с удивленной, бессмысленной улыбкой. Кумарбек вырвал из рук Мулика свое ружье, с яростью разбил приклад о камень и отшвырнул в сторону. Отвернувшись и широкими шагами направился в сторону аула. Мулик догнал его на мотоцикле, накинулся с бранью:

— Сумасшедший, ты чего разошелся? Такое ружье разбить! Лучше бы мне подарил.

— Убирайся! — с ненавистью крикнул Кумарбек. Мулик, знавший его всегда сдержанным и спокойным, отшатнулся было в испуге, но тут же пошел в наступление:

— Ненормальный ты, что ли? Диких птиц защищаешь, будто своих собственных гусей. Если б не ты, я бы и второго достал. Дурак, такое ружье...

— Далось тебе это ружье! Да лучше бы ты весь мой дом обокрал, чем вытворять подобное!

Кумарбек уже обрел привычную сдержанность, но внутреннюю дрожь унять никак не мог.

— Что значит «вытворять»? — Мулику только и оставалось цепляться к словам.— Что я вытворяю? И какой такой дом ты мне позволил обокрасть? По-твоему, я — вор? Что я вытворяю?

Похоже, Мулик рвался подраться. Бросил свой мотоцикл и, размахивая руками, шагал за Кумарбеком, все больше распаяясь.

Кумарбек понял, почему того так задело слово «вытворяешь»: однажды, после очередной ссоры с родственниками — а ссорился Мулик со всеми,— один родич сказал о нем: «Мулик только и знает пакости вытворять». И сказанные походя слова прилипли как примета характера: Мулик — это тот самый, что вечно вытворяет пакости.

Не желая больше связываться с Муликом, Кумарбек не произносил ни слова в ответ на злую многословную брань. Счастье, что преследовавший его по пятам Мулик вспомнил о брошенном мотоцикле и вернулся, а Кумарбек свернул на узкую тропку, по которой Мулик не смог бы мимо него проехать.

После гибели несчастного лебедя произошло событие, которое не приснилось бы Кумарбеку и во сне. Под вечер того же дня Кумарбек, выйдя из дому, услышал над аулом тоскливый горестный крик и застыл на месте. Страдальческий крик, подобный плачу. Это лебедь, потерявший подругу, кружился над домом Мулика.

Одинокий лебедь не опускался на землю, но и не улетал далеко. Кружился и кружился над домом своего врага.

Траурный плач лебедя услышал и Мулик, вышел на улицу.

— Эй,— крикнул он Кумарбеку,— что с тобой? Уж не плачешь ли?

Кумарбек коснулся рукой щеки — ладонь была мокра. Ему показалось, что это слеза лебедя, скатившаяся с неба, ожгла его огнем.

— Ты джигит или баба? — грубо продолжал Мулик, забывший, как видно, утреннюю ссору.— Неужели из-за какого-то лебедя раскис?

Кумарбек не отвечал. Следил глазами за медленно и тяжело улетающей птицей, потом круто повернулся и ушел в дом.

Долго он не мог прийти в себя после этого случая. Перед глазами его стояло скорбное зрелище — умирающая прекрасная птица, в бессильном отчаянии бьющая крыльями по воде, в ушах звучал страдальческий зов другой птицы, оставшейся в живых. В первые дни это несколько раз снилось ему, и он в испуге просыпался ночью.

Страшная история не давала покоя его душе. В один прекрасный день, прихватив рисовальные принадлежности, он отправился опять на озеро Камыспай.

С утра до вечера просиживал он там, пока не закончил картину «Смерть лебедя». После он несколько раз дополнял и исправлял эту работу, но для него самого она осталась вечным напоминанием о долге человека перед природой и всем живым на земле.

Как-то Кумарбек рассказал историю несчастных лебедей старому кюйши из их аула — Казбеку, показал ему свою картину. Долго старик смотрел на полотно, печально качал головой, а в душе его уже рождались звуки скорбной песни о верности и любви, сраженных бездумной жестокостью. Песню старого кюйши узнали и в ауле, и в районе. Постепенно забылось даже название Камышового озера. Его называли уже не Камыспай, но Акку-олген — Лебединое.

Кумарбек после страшного случая никогда не брал ружья в руки.

...Он бродил по Капчагаю, радуясь возможности повидать в это время года, при новом для него освещении, в щедрых и тревожных красках ранней осени эти прекрасные места, где все было создано человеческими руками.

Пришлось свыкнуться с отсутствием Сабыра и отложить работу над картиной о строителях до следующего приезда. Но в какой-то момент Кумарбек стал понимать, что любой этюд, написанный им в эти дни, посвящен именно строителям, без которых не было бы здесь не только новых домов и новой ГЭС, но и этого пейзажа.

В пейзаже Капчагая человек присутствовал повсюду. Кумарбек начал писать рукотворное Капчагайское

море. Он еще не знал, какое найдет название для этой своей работы, но мысль о богатырской силе человеческих рук не покидала его. А может быть, так и назвать: «Руками человека»?..

Руки, способные сотворить на земле молодое море, руки строителей, заслужили того, чтобы языком живописи воспеть их труд.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Кенжегул поздно ушел с работы, но домой на этот раз вернулся раньше обычного, не хотелось никуда заходить.

Неожиданный взлет, руководство солидным трестом, а из-за этого необходимость регулярно показываться в своем кабинете были нележки для него. Он порядком уставал и, возвращаясь домой, с трудом взбирался на третий этаж, несколько раз отдыхал по дороге. Полнота, придававшая ему начальственную солидность, изрядно затрудняла существование.

Он с силой дважды нажал на звонок. По звонку Жамал должна понимать, что вернулся домой он, Кенжегул. Правда, не так давно она специально положила ему ключ в карман, но к чему это, если жене полагается бежать к дверям на короткие стремительные звонки мужа. Пусть наконец привыкнет!

Жамал, видно занятая на кухне, отворила не сразу. Обиженный Кенжегул буквально свалился на стул у самых дверей, возле телефона.

— Тьфу, измучился,— простонал он.— Ни конца ни края нет проклятой работе.

Жамал нагнулась, расшнуровала ему ботинки. Младший брат, который приехал в Алма-Ату учиться в институте, снял с него пальто. Шляпу Кенжегул, поднимаясь со стула, швырнул в гардероб, где висело пальто.

— Ну что ты стоишь? — обратился он к брату.— Вытянулся, будто скалку проглотил! А ну-ка, подай мне тапочки,— и Кенжегул в носках двинулся в спальню.

Брат метнулся за тапочками, но в них уже не было необходимости. Кенжегул разделся, швыряя вещи куда

попало, и свалился в постель. Брат осторожно собрал разбросанную по комнате одежду и отнес в гардероб.

— Ау, Жамал, ты где? Поди-ка сюда,— позвал Кенжегул слабым голосом.

— Что у тебя случилось, бедненький? Уже стосковался по мне? — отозвалась из кухни Жамал.

— Дала бы мне боржом.

— Обожди немного, некогда.

— Вечно тебе некогда! Можно подумать, связали тебя по рукам и по ногам.

— А что прикажешь делать? Не разорваться же мне на части.

— Говорят, иди сюда!

— О господи, заладил одно и то же,— с шумовкой в одной руке и тарелкой в другой Жамал вошла в спальню, где лежал Кенжегул.— Ну говори, что тебе?

— Хочу спросить, когда ты начнешь заботиться о человеке по-человечески?

— В чем же это я провинилась?

— Сидишь в тепле и сытости благодаря моим заботам. Ни в чем отказа не знаешь, все перед тобой, обуто, одета...

— О батыр, не забирайся вглубь, у меня там все перекипит, скажи самую суть.

— Ах, ты уже и слушать не хочешь? Тебе самая суть нужна? — Кенжегул снова стал причитать, припоминая давнее и недавнее, пересыпая причитания упреками. Жамал не выдержала и, не дослушав, убежала на кухню.

За эти несколько минут молоко выкипело, залило плиту. Пришлось снимать кастрюлю, мыть конфорку. Занятая делом, она забыла о Кенжегуле, но он сам пришел на кухню, спросил со злостью:

— Дашь ты мне наконец боржом или нет?

— Несчастный, бутылка перед тобой стоит, бери и пей.

— А где стакан?

— Вот, возьми,— Жамал торопливо поставила стакан на стол.

— Куда девалась открывалка в этом доме?

— В столе, в ящике перед тобой.

— Приходишь с работы усталый, и тебя даже встретить не могут как человека,— недовольно ворчал Кен-

жегул, наливая в стакан боржоми. Он ползлелся в спальню и опять улегся.

Спустя некоторое время всю заверещал телефон. Жамал, месившая в кухне тесто, подумала, что Кенжегул сам поднимет трубку — ей почти никто не звонил в последнее время, — но через минуту раздался сердитый возглас Кенжегула:

— Эй, есть кто-нибудь в доме или все передохли как мухи?

— Ну что тебе стоило подойти самому! — воскликнула Жамал, бросаясь к телефону, вытирая на ходу о фартук белые от муки руки. Но пока она бежала, телефон перестал звонить.

— Кто бы это мог быть? — спросил Кенжегул.

— Откуда я знаю!

— Переваливалась, как гусыня, не могла подойти побыстрее.

— Когда мне все успеть? Разве мало дел в этом доме? Подумал бы, я с утра до вечера мечусь, присесть некогда. Твоих гостей потчую, детьми заняться не могу по-настоящему. А ты хоть бы палец о палец ударил по дому, — простонала Жамал.

— Не хватало еще, чтобы я у тебя был на побегушках!

— Стесняешься? — Жамал пошире открыла дверь кухни, чтобы каждое ее слово доносилось до мужа. — Посмотри на другие семьи, мужчины помогают женам по хозяйству, и еще никто из них не стал от этого хуже.

— Вольному воля, но я таскать сумки в моем возрасте не буду!

— Хорошо, не таскай, только дай отдохнуть ушам.

— Уже и уши у тебя устали. Могла бы снять трубку, не переломилась бы.

— А тебе здоровье мешает подойти к телефону? — крикнула окончательно вышедшая из себя Жамал.

— Я же отдыхал после работы, вздремнул.

— Дома ты вечно то бранишься, то дремлешь, другим я тебя уже не помню.

— Отстань, не жужжи над ухом, дай человеку покой. Пока ты сготовишь, я посплю немного.

— Что сказать, если позвонят?

— Не буди, скажи, нет дома. Только узнай, кто спрашивает.

— Ладно,— сказала Жамал, уставшая от пререканий и брюзжания Кенжегула.

А Кенжегул, сладко выспавшийся, покуда Жамал и ее мать, вернувшаяся с улицы вместе с детьми, готовили еду, поднялся довольный и сияющий, как лиса, вычистившая шкуру в снегу. За ужином он опрокинул рюмку коньяку, и настроение у него настолько улучшилось, что он даже не придрался к еде, не ковырял, по своему обыкновению, брезгливо вилок в тарелке.

После ужина он стал обзванивать друзей и знакомых, просмотрел газеты, включил телевизор. Жамал, к которой он больше не обратился ни с одним словом, была рада и этому: пусть молчит, лишь бы не придирался, не надоедал своими вечными попреками.

Забыв об усталости, она быстро помыла посуду, привела в порядок гостиную, накормила детей, уложила спать и ушла в ванную, где ее ожидала стирка.

Кенжегул вновь завалился в постель, но вскоре из спальни раздался его хрипловатый раздраженный голос:

— Апа, Жамал, где вы, идите скорее сюда!

Когда Жамал первая вбежала в спальню, Кенжегул лежал на спине и, подняв к потолку палец, бормотал что-то, будто молился. Ничего не понимая, Жамал застыла на месте. Вслед за ней в комнату вбежали мать и младший брат Кенжегула.

— Апа, Жамал, посмотрите туда,— произнес Кенжегул.

Все подняли глаза к потолку, потом с удивлением посмотрели на Кенжегула.

— Вон там,— Кенжегул указывал не только пальцем, но и подбородком.

— Что там, жеребеночек мой? — с ласковым удивлением спросила мать Кенжегула.

— Неужели не видите? Муха! Вон она, ползет. Теперь всю ночь не даст спать человеку, ловите ее скорее,— Кенжегул говорил расслабленным голосом, однако не пряча повелительных ноток, и вся семья кинулась искать и ловить муху, замеченную одним лишь Кенжегулом...

Скажи кто-нибудь несколько лет назад Жамал, во что превратится ее семейная жизнь, она наверняка не поверила бы, даже посмеялась. Многие недостатки Кен-

жегула она заметила в первый год замужества, надеялась, что он изменится, пыталась с ним говорить, но он пропускал все ее слова мимо ушей и не только оставался таким же, но год от года становился хуже. Если бы в первый год он творил что-либо подобное, она попросту, как ей думалось, рассталась бы с ним.

Но, видимо, верно сказано, что человек и в аду может привыкнуть.

Со временем действия Кенжегула, поражавшие Жамал поначалу, стали привычными, она научилась для собственного спокойствия объяснять их то его усталостью, то излишней нервозностью. Она даже не заметила, как произошло удивительное превращение: мягкого, готового буквально стелиться ей под ноги Кенжегула сменил чванливый, эгоистичный самодур и деспот. Кенжегул, с которым Жамал решила связать свою судьбу, был иным, но как быть, если дело уже сделано, глупость совершена? И как исправить ошибку при характере неуверенном, слабом, да еще когда на руках у тебя двое детей?

Чем спорить с Кенжегулом или пытаться его переделать, Жамал оставалось только подчиниться его деспотической власти, терпеть его вздорные выходки. Постепенно она свыклась с ними и даже не всегда вступала в пререканья.

Сложна жизнь. Одним она дает много лишнего, для других чрезмерно узкой делает дверь в большой мир. Ради Кенжегула судьба не поскупилась. Паренек, едва едва окончивший десять классов, по приезде в Алма-Ату сразу же поступил в институт благодаря помощи большого человека, старого друга его отца. Так одно слово определило всю дальнейшую судьбу Кенжегула.

Хитроватый, ловкий, не одаренный способностями к какой-либо из наук, Кенжегул преуспел много больше своих сверстников в умении понравиться преподавателям. Этаким простоватый деревенский малый, открытая душа — таким казался он людям, от которых зависело, удержится он в институте при его слабых знаниях и способностях или нет. И он удержался. За пять лет научился модно одеваться, приобрел вкус к дорогим вещам, дорогим винам — откуда что взялось?

После окончания института доброжелательные преподаватели сочли возможным оставить Кенжегула в ас-

пирантуре. Был среди них и отец Жамал, искренне веривший, что этот студент-тугодум воистину испытывает тягу к научной деятельности.

Кандидатская диссертация затянулась у Кенжегула надолго, и он, судя по всему, не слишком-то надеялся защититься. Зато принялся бурно ухаживать за Жамал. Чувствуя, что дальнейшая судьба его во многом зависит от отца Жамал, Кенжегул поставил себе целью во что бы то ни стало жениться на ней.

Судьба, как мы говорили, щедрая к Кенжегулу, одарила его характером упорным и настойчивым. Он готов был сломать себе шею, лишь бы настоять на своем, выполнить задуманное. Прежде всего он подружился с подружкой Жамал и узнал о ней все, что знала та. И от подружки Кенжегул узнал, что Жамал ему даже симпатизирует, но есть у нее джигит, которому она дала обещание ждать его. Юноша этот, ее соученик по школе, уехал учиться в Москву, приезжал только на каникулы. Когда он был в последний раз, они с Жамал из-за чего-то поссорились перед расставанием. Жамал не пошла провожать его на вокзал, а он перестал ей писать. Кто знает, не завел ли он в Москве другую девушку...

Кенжегула вполне устраивало услышанное.

Забросив аспирантуру, он денно и ночью думал о Жамал, бродил за ней по пятам. Утром поджидал ее на пути в институт — она училась на втором курсе, после занятий провожал домой, почтительно оставаясь в нескольких шагах. Зимой, чтобы перекинуться с ней словцом, он мог не один час простоять на морозе около ее дома. Иногда Жамал не выдерживала: заметив сквозь щелочку в занавеске понурюю фигуру Кенжегула, она выскакивала, полная сочувствия к этому парню, такому скромному в своей безнадежной любви.

Он был так почтителен, так самоотвержен, а уехавший в Москву джигит и не думал подать о себе весточку. Пусть даже его обидело, что она не пришла на вокзал, все равно не ей же, девушке, просить прощения, и ведь он тоже обидел ее во время ссоры. Обижал и потом своим молчанием. Значит, ему ничего не стоило из-за пустяковой ссоры, минутной обиды перечеркнуть и дружбу, и нежную привязанность?

Жамал страдала глубоко, искренне, хотя сама не смогла бы разобраться, что доставляет ей большее стра-

данне — оскорбленная девичья гордость или разлука с дорогим для нее человеком.

Однажды во время одинокой прогулки по городу она повстречала Кенжегула и непритворно обрадовалась встрече. Бескорыстная и безответная верность не может не подкупить женщину, а во всем облике Кенжегула она угадывала ту же печаль, какую испытывала сама.

Они начали встречаться. Жамал, все еще не оправившаяся от старой обиды, нарочно появлялась вместе с Кенжегулом в самых людных местах, чтобы ее видели друзья и близкие бывшего жениха. Нет, она не забыла его, да и к Кенжегулу испытывала чувство, более всего напоминавшее жалость, — просто ей казалось, что стоит тому, уехавшему, услышать о ее новой привязанности, и он прилетит, примчится, лишь бы вернуть ее, раскататься в своей ошибке.

Но тот не прилетал, не писал. И Жамал невольно начинала сравнивать его с Кенжегулом, разумеется в пользу последнего. В самом деле, чем Кенжегул хуже? И лицом пригож, и умом не обделен. А главное, понастоящему предан ей. В Алма-Ате немало девушек, а он столько страданий терпит, только бы ее увидеть, поговорить с ней.

Откуда было знать Жамал, что Кенжегул любил не так ее, как ее отца? Возможно, он и сам это не вполне понимал, чувствовал, что отцовское сердце завоеует, лишь завоевав сердце дочери. И как же преданно, как почтительно завоевывал он это неопытное молодое сердце! Всегда она видела его тихим, застенчивым. Глядя на нее восторженно, он прощал ей самые суровые слова, когда она просила его не питать никаких напрасных надежд. Постепенно она стала приписывать ему достоинства, каких у него и не было вовсе. Если они где-то бывали вместе и Кенжегул здоровался с самыми разными людьми, она верила, что все окружающие его уважают и ценят. Слыша, как он рассуждает о прочитанной книге либо о спектакле, на котором они вместе побывали, она восхищалась, как он вырос, паренек, всего несколько лет назад приехавший из аула. Нравилось ей и умение Кенжегула хорошо, со вкусом одеваться: с ним не стыдно было показаться где угодно.

А главное — рядом с ним она больше не чувствовала себя одинокой. Она не сомневалась, что друзья и род-

ные давно сообщили в Москву ее джигиту, что она встречается с другим, и уже не ждала от него писем.

Вскоре они с Кенжегулом поженились. Несколько месяцев снимали квартиру то в одном, то в другом конце города, но мать Жамал этого не выдержала: в один прекрасный день перевезла молодых к себе. Заняв одну из комнат в большой четырехкомнатной квартире в самом центре города, Кенжегул чувствовал себя совсем неплохо.

Бедная мать, беспокоясь о счастье дочери, ухаживала за ними как за малыми детьми, старалась во всем угодить зятю. А Кенжегул тем временем начал зарабатывать деньги. В подробности он не посвящал ни жену, ни ее родителей, но деньги у него водились постоянно. И вообще стали проявляться в характере его черты, сильно смущавшие Жамал.

Пока главой дома был отец Жамал, Кенжегул проявлял к нему сыновнюю почтительность, хотя долгое время избегал разговоров о диссертации.

Разговор всерьез возобновился после ухода отца Жамал на пенсию. Старик слабел с каждым днем и с горечью убеждался, что многого в жизни не успел доделать, завершить. Разбирая свои многолетние архивы, он то и дело натыкался на недописанные статьи, вчерне сделанные наброски любопытных замыслов.

Зять тем временем менялся прямо на глазах. Мог, входя в дом, не заметить старика, не поздороваться, хотя целый день его не видел. Пребывал в состоянии вечной озабоченности.

Отец Жамал приписывал это неустроенности зятя. Однажды вечером состоялся у них наедине долгий тайный разговор, после которого Кенжегул, давно сдавший кандидатский минимум, начал писать диссертацию. Из чего, из каких материалов была она скроена, никто не знал, но оппоненты в один голос утверждали, что соискатель за минувшие годы много размышлял над проблемами отечественного и, в частности, местного коведства, ставит в своей диссертации важные проблемы, имеющие немалое практическое значение.

Новоиспеченный кандидат наук получил хорошую должность, но отец Жамал об этом уже не мог узнать. Старик угас так же тихо, как жил.

Кенжегул обрел власть и дома, ощутил себя полным

хозяином. Неожиданно открылось, что он не терпит ни малейших возражений, самый нелепый свой каприз возводит в степень закона, которому должны подчиняться все члены семьи.

Все это вместе и привело Жамал к такому существованию, когда ей пришлось развязывать шнурки на мужских ботинках, гоняться за потревожившей его мухой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В детских впечатлениях Кумарбека Кенжегулу отводилось немало места. Двоюродный брат, взрослый, сильный, — второй человек после отца.

Первым, конечно, всегда был отец. Он так и остался первым, на всю жизнь. А вот Кенжегул. . .

Отец у Кумарбека был фронтовиком, вернулся домой с боевыми наградами, со следами ранений. Отзвуки недавней войны еще были слышны много пережившим людям, не изгладилась острота недавних утрат, а ребята послевоенных лет играли только в войну, стремились показать героизм своих отцов и близких. Как и все дети, Кумарбек любил, чтобы хвалили его отца. Если он слышал разговоры о силе и мужестве отца, глаза его загорались подобно уголькам саксаула. Он боялся упустить хоть одно слово. Но сам отец о подвигах своих на фронте не рассказывал ничего. На вопрос Кумарбека: «Расскажи, коке, про какой-нибудь твой подвиг!» — отец отвечал односложно: «Никакого подвига не было, сражался, как и все». — «Тогда за что же тебе дали этот орден?» — «Просто был честным. Не жалел себя».

Однако такие ответы не огорчали Кумарбека. В ауле хвастунов было предостаточно, и он вместе с остальными ребятами жадно впитывал в себя услышанное — все эти красочно размалеванные рассказы о пережитых опасностях и собственной необычайной ловкости и смелости. К этому присоединялись эпизоды из кинокартин про войну, пусть даже и гражданскую. Объединив то и другое, пустив в ход неумную детскую фантазию, Кумарбек мог кому угодно рассказать целую историю о своем коке. Где там историю! Несколько историй, в каждой из которых главным героем был коке.

Один, не боясь вооруженных врагов, он нападает на них, умеет уйти невредимым от любой опасности. Его

не берет сабля, он не горит в огне и не тонет в воде, а вражеские пули отскакивают, не задевая его. Однажды, когда он ходил в разведку — а какой герой не ходит в разведку? — на него напали сразу шесть фрицев. Прославленный батыр пятерых уложил на месте, а шестого привел в штаб. И этому никто даже не удивился, потому что иначе быть не могло.

В другой раз, во время опасной вылазки, фашисты сумели захватить его, раненого, в плен. Его сильно пытали, чтобы он выдал своих товарищей, где они скрываются. Его кололи шилом, жгли раскаленным железом, но батыр — отец Кумарбека — выдержал все это. Однажды ночью, порвав железные цепи и сломав решетку, он бежал из плена. Немецкую овчарку, ростом с матерого волка, догнавшую его, он схватил прямо за горло, она даже куснуть его не успела. Фрицы гнались за ним. У самого первого он отнял одежду и оружие и вернулся к себе в штаб. В этой трофейной форме он снова отправился в разведку. Там он совершил такой подвиг, который ни с чем не сравнишь... Ого-го! Только рассказывать об этом пока еще рано.

Истории Кумарбека дополняли одна другую, их слушали с интересом не только ребята, но и взрослые. Одного лишь Кумарбек опасался: как бы не появился невзначай рядом отец.

Кумарбек завладел отцовской военной фуражкой — не беда, что была она ему великовата, спускалась на глаза. Лишь бы все видели красную военную звездочку над твердым козырьком. Иногда он тайком нацеплял себе на грудь ордена и медали отца. В эти минуты сердце замирало не от страха — от другого, непонятного, щемящего чувства.

Милые, смешные, трогательные воспоминания!

А вот с Кенжегулом были связаны воспоминания совсем иного рода.

У озера неподалеку от их аула в летние дни выростал другой аул, всего из двадцати юрт. В этом бедном маленьком ауле жили ремонтники, приезжавшие из разных районов и относившиеся к организации, которая называлась «Доротдел». Два аула разделял лишь небольшой овраг, и первыми начинали знакомиться между собой ребята, потому что доротдельцы приезжали целыми семьями, и шум и веселье маленькому аулу

придавали такие же, как Кумарбек, длинноногие смуглые ребятишки. Целыми днями носились ребята в одну и в другую сторону через овраг, но бедствием для них были острые колючки и крапива. Особенно колючки: они впивались в босые ступни и заставляли всякий раз взвизгивать от боли. Но можно ли остановить игру, да еще азартную, если весь смысл в том, чтобы первым пробежать расстояние между аулами?

Однако вскоре игра для Кумарбека потеряла прежний смысл. В бедном ауле открылось подлинное богатство, и открыл его первым Кенжегул. Это была совсем еще юная девушка Салима, статная, высокая. Удивителен был взгляд ее, одновременно лукавый, нежный и застенчивый. По сей день помнил Кумарбек и походку ее, и одежду, и радостное выражение лица. Это было лицо ребенка, убежденного, что жизнь может дарить одни лишь радости.

«Вот это девушка, у нас в ауле даже похожей нет!» — восхищенно воскликнул Кенжегул. Денно и ночью, поглядывая в сторону соседнего аула, изливал он душу перед Кумарбеком, признавался, что видится с Салимой, как будто не нашел никого иного для исповеди. Кумарбек в то время понятия не имел ни о какой влюбленности, поэтому в рассказах Кенжегула интересовала его не девушка, а сам Кенжегул. Двоюродный брат, рассказывая, преображался, как настоящий артист: он то заливался соловьем, то хватался за голову, в ужасе округлял глаза. . . И все же он так мастерски описывал глаза девушки, шелковистые волосы, платье с оборкой, хромовые сапожки, камзол, подчеркивающий изгиб ее талии, что Кумарбек, пока что знавший Салиму лишь со слов брата, горел нетерпением повидать ее. Как на беду, ребятишек ни с одной, ни с другой стороны к соседям не пускали, потому что в недобрую минуту переругались женщины обоих аулов.

Все же наступил день, когда Кумарбеку повезло. В аулах есть обычай, называемый «биебау», — это означает давать соседям на пробу первый кумыс, напиток из кобыльего молока. Так получилось, что отец Салимы — Жакен пригласил на «биебау» родителей Кенжегула. С ними вместе отправился и Кенжегул, взяв с собой Кумарбска. К соседям они прибыли в полдень.

После того как собрались все приглашенные, посте-

лили дастархан. Едва хозяин расстелил дастархан, в юрту с большой деревянной чашей вошла Салима в спянем платье с широким подолом, в черном бархатном камзоле и красных сапожках на высоком каблуке. Пока она деревянным черпаком перемешивала кумыс, Кумарбек не мог отвести глаз от девушки, которая была старше на много лет. То ли на него повлияли рассказы Кенжегула, то ли в самом деле это была неземная красота, но, начиная с этого дня, Кумарбек утратил интерес к прежним играм, стал мечтать о том, чтобы поскорее вырасти, стать джигитом — разумеется, таким же, как Кенжегул, с такой самой прической, с такими же часами на широком позолоченном браслете... Кенжегул в его начищенных до блеска хромовых сапогах со скрипом, Кенжегул, который курил и колечками пускал дым из носа, плевался со щелчком, представлялся ему самым счастливым и беспечным человеком.

На следующий день после «биебау» Кенжегул тихонько поманил Кумарбека.

— Беги в соседний аул, понял? — шепнул он, сунув Кумарбеку сложенный вчетверо листок бумаги. — Вручишь это письмо лично Салиме, и чтоб ни одна душа... Ясно? Выполнишь — получишь мою зажигалку.

Кумарбек был в восторге. Ему не терпелось вновь увидеть Салиму, и вдобавок еще он получит блестящую зажигалку, которую безрезультатно запрашивал у Кенжегула.

Он стал собираться, как воин, отправляющийся в дальний поход. На нем были лишь старая рубаха и белые ситцевые штаны. Он аккуратно закатал рукава и обтрепанные штанины. Письмо бережно спрятал за пазуху и помчался быстрее ветра. Разгоряченный, ворвался он в юрту и налетел на отца Салимы, Жакена.

— А-а, батыр! Как дела? — спросил седобородый Жакен, разглядывая Кумарбека впалыми, но не потерявшими блеска глазами.

— Хорошо, — ответил Кумарбек, шмыгнув носом.

— Отец дома?

— Уехал за сеном.

— А мать где?

— Дома.

— Ты сам пришел или отец послал?

— Сам.

— Так, так,— протяжно сказал Жакен, расчесывая длинными жилистыми пальцами бороду. Затем, звонко сплюнув за порог юрты, он принялся за изготовление тесьмы из сыромятной кожи.

Кумарбек бросил осторожный взгляд в сторону Салимы. Она или не придавала значения его приходу, или притворялась, но, в общем, сосредоточенно занималась своим делом — строчила что-то на ручной швейной машине.

Кумарбек топтался на месте, не зная, как вручить письмо. И тут перед мысленным взором его возникла сверкающая зажигалка. Если не сумеет отдать письмо, не видать ему зажигалки! Но еще хуже — гневная обида Кенжегула.

В голзе его мелькнула спасительная мысль.

— Тате, я пить хочу,— обратился он к Салиме.

Девушка поспешно поднялась с места, отец с усмешкой сказал:

— А, видать, тебя к вчерашнему кумысу потянуло. Налей-ка ему, Салима.

Кумарбек залпом выпил кумыс, поданный Салимой. А возвращая миску, быстро вытащил из-за пазухи письмо и вместе с миской отдал девушке. Жакен, сидевший к ним боком, ничего не заметил. А Салима, взяв письмо, лукаво подмигнула.

Кенжегул, нетерпеливо ожидавший прихода Кумарбека, встретил его за домом.

— Ну как, джигит, удачно сбегал?

— Отдал ей в руки,— важно ответил Кумарбек. Чувство гордости распирало его.

— Молодец! — сказал Кенжегул, похлопав его по плечу.

Но Кумарбеку мало было этой похвалы, важнее самых добрых слов была для него зажигалка. Не решаясь напомнить прямо, он в упор смотрел на Кенжегула, и тот угадал немой вопрос.

— Слово мое верное,— произнес он.— Зажигалка — твоя. Но сейчас ты ее не получишь.

— Почему? — вырвалось у Кумарбека.

— Чтобы получить зажигалку, ты сначала принеси ответ на мое письмо. Беги обратно. Вернешься с письмом — тут же забирай зажигалку.

Кумарбек опять помчался в соседний аул. Он очень

обрадовался, издали увидев Жакена, который, подгоняя гнедого, направлялся в сторону сенокосов.

Как на крыльях, запыхавшись, влетел он в юрту. Салима была одна.

— А, это ты, Кумарбек,— сказала она ласково.— Входи, входи. Ты, оказывается, смелый джигит.

Салима погладила Кумарбека по голове. Ладони у девушки были мягкие, теплые, голос звенел колокольчиком.

— Послал меня... Кенжегул-ага,— едва слышно выдавил Кумарбек.

— Я знаю. Ты же отдал письмо. Чего он еще хочет? Что ему надо?

— Не знаю, что ему надо, а мне пужна зажигалка,— сказал начистоту Кумарбек.

— Какая зажигалка? — удивилась Салима.

— Ну та, что у Кенжегула... Блестящая. На кнопку нажмешь — зажигается,— и Кумарбек с удивлением посмотрел на Салиму: неужели она сама вчера не заметила?

Она, разумеется, заметила:

— А, та, от которой он прикуривал вчера?

— Да.

— Так если она тебе нужна, попроси у хозяина.

— Ну да, он так не отдаст.

— Что же, отнять у него, что ли? Чем я-то могу помочь?

— Можете.

— Каким образом?

— Напишите ему, пожалуйста, ответ на письмо. Тогда он сразу отдаст мне зажигалку.

— Вон оно что! Ничего не поделаешь, придется... Вот, возьми, только будь очень осторожен, хорошо? И в другой раз тоже.

— Ладно, тате, ладно.

И снова Кумарбек пулей помчался через овраг. Кенжегул, хотя и с кислотоватой улыбкой, выполнил свое обещание: получив ответ, вручил Кумарбеку зажигалку.

Какое это было беспредельное счастье! Все аульские ребята толпой ходили за Кумарбеком, а он то и дело нажимал кнопку — то зажигал, то гасил тоненький синеватый огонек. Ни у кого больше не было такой ценной игрушки. Одним ребятам Кумарбек позволял разглядыв-

вать зажигалку вблизи и даже потрогать, другим показывал только издали. Расхаживал по аулу с важным видом, раздувая ноздри, как аргамак, победивший на скачках.

Вечером, вернувшись домой, отец увидел в его руках блестящую зажигалку.

— Откуда это у тебя? — спросил он сурово. — Он сам дал или ты взял без спросу?

— Сам дал.

— Неужели Кенжегул способен на такую щедрость? — изумилась мать. — Как он не пожалел хорошую вещь?

Отец усмехнулся и покачал головой, он тоже не поверил в бескорыстную щедрость Кенжегула.

Начиная с того дня Кумарбек стал надежным связным между Кенжегулом и Салимой. Как конь, привыкший к своему стойлу, он в любую погоду мигом оказывался на знакомом месте. И Салима уже прекрасно понимала все его кивки и ужимки.

Благодаря умению носить письма Кумарбек был в почете у Кенжегула. А коль ты понравился Кенжегулу, считай, что на две головы вырос в глазах остальных ребят и можешь расхаживать по аулу, никого не опасаясь, даже самых отъявленных задир. Быть просто братом — этого еще мало. Быть братом, без которого обойтись не могут, — лучшего и желать не надо!

А Кенжегул и правда не мог обойтись без Кумарбека. Дарил ему такие вещи, про которые аульные мальчишки и не слыхивали, только бы он бегал туда и обратно с записочками. . .

— Ты выспись сегодня днем, — сказал как-то Кенжегул.

— Зачем? — удивился Кумарбек. — Я днем спать не умею, я не маленький.

— Сегодня выспись. Нам гредстоит ночной поход.

— Какой еще поход?

— Тс-с, помалкивай. Ночью повидеашь кое-что интересное.

Эти слова Кенжегул сказал утром. Весь день Кумарбек только о них и думал. Что же это такое интересное, ради чего стоит куда-то тайком отправляться ночью? Он хотел послушаться Кенжегула, попытался было уснуть

днем, но так и не сомкнул век. Едва-едва дождался вечера.

Когда все уже уснули, Кумарбек выскользнул из дому и вместе с Кенжегулом, щеголеватым, принаряженным, направился к соседнему аулу. Неподалеку от аула в лунном свете зеркально сверкала гладь озера. На правом берегу были воздвигнуты качели. Кенжегул с Кумарбеком пришли первыми, но уже через несколько минут на берегу зазвучали голоса. Молодежь стекалась со всех сторон. Пришла и Салима. У казахов не принято отпускать из дому дочерей без старших родственниц, поэтому Салима привела жену одного из своих родичей. Девушки и парни поочередно раскачивались на качелях, смеялись, вскрикивали в испуге. Кто-то затянул песню. Веселым гамом и шумом они взбудоражили дремлющую степь.

Вскоре наступила очередь Кенжегула садиться на качели. Он взял за руку Салиму, стоявшую поодаль с потупленными, как и полагается девушке, глазами и усадил ее напротив. Поначалу качели взлетали тихо, но Кенжегул раскачивал их сильнее и сильнее. Они с Салимой качались молча, не произнося ни слова и никого не замечая вокруг.

— Эй, вы что? Хотя бы голос подали!

— Да, да, спойте!

— Разве у казахов бывают качели без песен?

Кумарбек расслышал чью-то негромкую ядовитую фразу:

— Обычно Кенжегул передышки не дает языку, а тут как воды в рот набрал!

— Давайте споем,— прозвучал сверху голос Салимы.

— А какую? — отозвался Кенжегул.

— Мне все равно, какую хотите. . .

И опять молчание затянулось, но теперь Салима и Кенжегул уже стеснялись смотреть друг на друга, как несколько минут назад.

— Ау, начинайте!

— Сколько вы будете думать?

— Идя на алтыбакан, песню выбирают заранее!

Эти последние слова подхлестнули Салиму подобно плети, и она затянула старинную народную песню. Кенжегул, не знавший слов, лишь вторил мелодии, а может

быть, не хотел громким своим голосом заглушать нежное пение Салимы.

Качели заняла другая пара. На этот раз первой затянула песню родственница Салимы, пришедшая с ней вместе. К ней присоединились остальные парни и девушки — выбранная ею песня была популярна в этих краях.

Небольшой аул, дремавший в объятиях ночи, казалось, укачивала торжественная мелодия. До юрт она доносилась приглушенная расстоянием и оттого обретшая особую таинственную прелесть, будто разбуженный голос ушедших поколений.

Какие чувства дарила она аульчанам? Если старики вспоминали счастливые дни молодости, то к людям помоложе возвращалась надежда, что могут быть восполнены жестокие утраты. Какой-нибудь джигит, рано женившийся по воле родителей, невольно привязанный к дому, грустил о потерянной любимой, а любимая, постаревшая до срока, с горечью в сердце мечтала высвободиться из плена безрадостных повседневных забот...

Священная казахская песнь! Можно ли поведать словами о твоей неповторимости и значимости? Испокон века песня рассказывала обо всем невысказанном, нежно и чутко доносила от сердца к сердцу трепет сокровенных чувств. Народ казахский пережил немало тяжелых дней. И в самые трудные дни и часы народ мечты свои облакал в песни. Песня была поддержкой для оступившегося, радостью для опечаленного. Поэтому так же, как себя и землю свою, народ ценил и берег свою песню. От певца к певцу, от поколения к поколению переходила она в наследство, и народ во все времена высоко ценил своих певцов, воскресавших для него эти полновзвучные соловьиные трели.

...Когда песенная мелодия пошла на убыль, Кенжегул напомнил, что неплохо бы теперь и поиграть.

Казахский народ еще в старину, не имея никакого театра, создал много игр, похожих на самые настоящие представления. Наперебой все стали предлагать и перечислять игры, но остановились согласно на одной — «Ак суйек». Эта игра, которая проводится в ясную лунную ночь, как будто нарочно придумана для тех, кто мечтает встретиться друг с другом подальше от посторонних глаз. Бывает даже специальный приз — его вручают безошибочно пашедшему заброшенную в густую траву

белую кость. И все же молодых волнует не приз, а возможность столкнуться, как бы случайно, хоть на несколько минут. Ощутить жаркое прикосновение милых рук, прерывистое, взволнованное дыхание...

Высокий рыжий джигит, прозванный в ауле длинноногим, взял в руки большую белую, высохшую на солнце кость и со всего размаху зашвырнул ее далеко в кусты. Кость блеснула в лунном свете, описав длинную дугу, и исчезла. Пока одни восхищались силой броски, другие, в надежде получить приз, кинулись на поиски.

Кенжегул бросил умоляющий взгляд на Салиму. Она мгновенно поняла его желание и побежала вслед за всеми, но не прямо, а чуточку поодаль, наискосок. Побежал и Кенжегул, совсем в другую сторону, чтобы никто ничего не заподозрил.

Молодые люди, которые долгое время ограничивались записками или случайными встречами на людях, впервые оказались вместе, встретились в густом тальнике на спуске оврага. Встретились и замерли оба, не зная, с чего начать беседу.

— Салима! — воскликнул Кенжегул, стиснув в руках тонкие пальцы девушки.

— Да, — отозвалась едва слышно Салима.

— Спасибо тебе за этот праздник, за эти качели! Какое счастье, что ты позвала меня. Никогда в жизни не забуду...

— Оставьте, — прервала Салима. То ли от быстрого бега, то ли от волнения она не могла перевести дух. Щеки ее пылали.

— Спасибо тебе за твою находчивость, — продолжал Кенжегул. — Знала бы ты, как я исстрадался! Тоска по тебе переполняла душу, переливалась через край, выходила из берегов, как волны реки Жалдама. А где тоска, там нет покоя. И вот, когда приходишь к долгожданной цели, становишься нетерпелив, как ребенок. Прости мне мое нетерпение, дорогая! Ты и сама должна открыть дорогу чувству. Сейчас разум мне отказывает, не суди строго, не брани за это. Это многодневная тоска моя по тебе ищет выхода...

Кенжегул говорил и говорил, без запинки, не останавливаясь, будто речь его была выучена наизусть. Салима смотрела во все глаза, восхищенная: только в ки-

но видела она таких смелых и говорливых джигитов. Насколько медоточивы были речи Кенжегула, настолько же смелы руки. Не договорив, он прижал к себе тоненькую, дрожащую, как тальник, девушку и уже собирался поцеловать ее в губы, но Салима отвернулась. Не так-то легко было вырваться из рук Кенжегула — он целовал Салиму в лоб, шею, уши и все жаднее, крепче прижимал к себе. Салима, воспитанная в суровых традициях казахской семьи, замирала от блаженства, однако всячески пыталась уклониться от ласк опытного джигита. . .

Кумарбек, потеряв Салиму и Кенжегула, стоял в полной растерянности, не зная, к кому присоединиться, пока не окликнула его родственница Салимы.

— Дорогой мой, ты, оказывается, брошен в одиночестве, как верблюжонок в кочевье. . . Что за негодник этот Кенжегул! Привел с собой малое дитя и бросил среди ночи. Понятно, чего хотят молодые, а нам-то с тобой что здесь нужно?

Бранясь и негодуя, женщина схватила Кумарбека за руку и побежала с ним куда-то. Видно, по опыту молодости она безошибочно нашла место, где укрылись влюбленные. Добежав до тальника, позвала протяжно:

— Салима, эй, Салима, ты куда пропала? Выходи быстро, уже далеко за полночь, пошли домой. Отец завтра вернется, не похвалит за прогулки до рассвета!

Кумарбек, ничего не понимая, стал оглядываться по сторонам, но тут из-за тальника вышли Кенжегул и Салима.

— Славная женеше, зачем вы кричите так? Чем я вам не понравился? Ведь вы и сами знали, что такое услады молодости, — сказал Кенжегул, приближаясь. Салима шла молча, прячась за его спину.

— Укороти свой язык, краснобай! — парировала женщина. — Сперва объясни, как посмел ты увести, будто хищник, единственную красавицу нашего аула, нашу гордость? Она ведь не овца и не баран, чтобы тащить ее куда-то.

— Верно, верно говоришь, светлая моя женеше, вину свою признаю и готов расплатиться за нее. Дай только еще немного времени, золотая женеше.

— Упаси бог, окажешься болтуном, пустым человеком! Пока жива, не позволю нашу красавицу отдать кому попало. Сперва испытать тебя надо, каков ты есть.

— Я бессилен сопротивляться. Согласен на все, отдаюсь на вашу волю, приказывайте, ведите меня. Не выдержу испытания — моя вина. Только знайте, я готов жизнь отдать ради нашей чинары — Салимы.

— Это время покажет. . .

Родственница взяла Салиму за руку и повела в аул. Сердце Кумарбека дрогнуло, все его юное тело напряглось от неведомого дотоле чувства: не то любви к Салиме, не то острой ревности или боли расставания. Сердитая женщина будто не Салиму увела с собой, а вырвала его сердце.

Видно, не лучше было и Кенжегулу. Сладостная улыбка сползла с его лица, брови насупились. Он стоял потупившись, кусая ногти.

— И откуда она налетела? — пробормотал он угрюмо. — Будто из преисподней вырвалась. Верно говорят: поставь журавля сторожем — не знать тебе покоя. То же мне нашлась караульщица. . .

Не помнил Кумарбек, сколько времени они так простояли. Вдруг Кенжегул, будто очнувшись, сказал коротко: «Пошли!» Не понимая, куда идти и зачем, Кумарбек молча последовал за ним, как верблюжонок на привязи.

Вскоре они подошли совсем близко к аулу Салимы. От юрт их отделяла только небольшая возвышенность. Обняв Кумарбека за плечи, Кенжегул зашептал ему на ухо:

— Сейчас все крепко спят. Мы напрямик пойдём к юрте Салимы. Вот этим я через щелочку откину крючок. . . Вот этим, посмотри как следует. Подрастешь — пригодится.

Он показал Кумарбеку полоску картона и продолжал:

— Ты останешься караулить у входа. Жакена сегодня нет дома, слышал, что сказала женеше? Он дежурит у сенокосов на том берегу реки. Возможно, эта женге около Салимы. А возможно, и нет. Увидим. Что ж, попробуем испытать счастье. . .

Кумарбек понял сказанное Кенжегулом лишь вполвину.

До него дошло только то, что Кенжегулу необходимо поговорить с Салимой, а его обязанность — стоять на страже.

— Будешь молодцом — авторучка твоя! — бросил Кенжегул, бесшумно подкрадываясь к двери. И Кумарбек, изо всех сил моргая отяжелевшими веками, думал, какой он получит новый ценный подарок. По объяснениям Кенжегула, авторучкой можно писать сколько угодно, не макая перо в чернила. Но Кенжегул только показал авторучку, даже в руках не дал подержать. И вот теперь готов подарить ее навсегда!

Кумарбек стоял навтыжку, стараясь не пошатываться, — это было нелегко, его клонило в сон, а перед его глазами маячила будто воочию красивая белая ручка.

Он не смел ни на минуту прикрыть тяжелые веки: ведь если кто-то окажется поблизости, он должен немедленно дать знать Кенжегулу. . .

Начало светать, из темноты выплыли очертания соседних юрт, розово засветился дальний уголок серого неба, когда за спиной Кумарбека послышались тихие шаги. Еще немного — и он бы задремал, но сон отлетел мгновенно: кто-то крепко схватил его за руку. Это был Кенжегул. Низко пригибаясь, он побежал в сторону своего аула и тащил Кумарбека за собой.

Могла ли знать Салима, что это единственное свидание принесет ей лишь чувство горькой обиды? . .

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Перед отъездом в командировку все же Кумарбек сумел вырвать у Купии обещание вести размеренный образ жизни, по возможности отдыхать и не печалиться о временной разлуке, а радоваться скорой встрече. Смеясь и удерживая неволью набегавшие слезы, Купия обещала выполнять просьбы мужа.

Однако это было не так-то легко.

Дня через три после отъезда Кумарбека, поздно вечером, ее разбудил телефонный звонок:

— Купия, извини, что так поздно. Я только что закончил песню, по-моему, удалась. Хочется, чтобы ты была первой исполнительницей, — взволнованно и торопливо проговорил голос на другом конце провода.

— Поздравляю, Улан! Чьи же песни петь, как не твои.

— Спасибо. Тогда жду в театре до начала репетиции. В девять, хорошо?

— Приду, конечно. Главное, пусть песня будет хорошая, не то, смотри, откажусь! — Купия шутила, но под шутливостью скрывала то, о чем думала. И Улан знал: не понравится песня, откажется непременно.

Как ни спешила утром Купия, боясь опоздать, Улан ее опередил. Издали она увидела, как он то входил в театр, то выходил, с нетерпением поглядывая на часы. Едва Купия подошла, он протянул ей ноты с выражением тревожного ожидания на лице. Купия развернула свернутые в трубочку листы, проглядела не спеша, останавливаясь на каждой нотной строке.

— Войдем внутрь, — сказал Улан. — Попробуешь исполнить.

На сцене Купия еще раз прочитала ноты, заставила Улана сыграть песню на рояле и наконец сказала, взяв листок с текстом:

— Теперь попробуем.

Улан тревожно и внимательно ловил выражение ее лица. Купия улыбнулась ему ободряюще, заметив, что он с трудом пытается скрыть дрожь в пальцах.

Несколько минут Улан сидел неподвижно, потом взял первый энергичный аккорд, перевел дух и заиграл уже спокойно, мягко, как того и требовала нежная лиричность песни.

Купия тоже чутко и взволнованно ждала первых аккордов. Когда Улан повел мелодию, она запела негромко, вполголоса, как бы прилаживаясь к звукам музыки. Сама того не заметив, вскоре она стала петь во весь голос, чувствуя уже совсем иное волнение, высокое и радостное. Постепенно удары сердца урегулировались, голос зазвучал свободно, открыто, и песня, обретя крылья, взмыла ввысь.

Но вдруг, будто надломившись на звонкой высокой ноте, голос певицы оборвался. Улан по инерции сыграл несколько тактов, поднял глаза и встретил полный ужаса взгляд Купии.

Он знал по опыту: у певцов могут быть подобные срывы, поэтому, смутившись, заиграл вновь, неназойливо, едва слышно, ожидая, когда вступит Купия.

Однако певица молчала, держась рукой за горло. Улан поднялся с места:

— Извини, может быть, отложим? Ты себя плохо чувствуешь?

— Это ты меня извини, Улан,— кашлянув, сказала Купия.— Сама не понимаю, что случилось. Я попробую спеть ее без тебя, потом поработаем вместе.

— Хорошо, хорошо, только не слишком меня береги, постарайся поскорее запрячь в работу,— Улан говорил нарочито весело, пытаясь скрыть беспокойство. Его одолевали сомнения: не слишком ли сложная для певицы мелодия? Нет, не может быть, он именно Купию имел в виду, когда писал песню. Ее прекрасное колоратурное сопрано.

Они простились, договорившись встретиться в самые ближайшие дни, и Купия пошла в свою гримерную. Она была потрясена происшедшим, осторожно попробовала голос. Неужели такое возможно во время концерта, оперного спектакля? Неожиданная сухость в горле, будто застрявший комок... Может быть, она взяла слишком высоко? Покойный Мукан Тулебаев, рассказывают, говорил: «У каждой песни — свой ключ, важно уметь отыскать его». Не нужно было торопиться. Возможно, у песни этой есть нежные переходы, сложные, почти поначалу неуловимые, свои таинственные краски, которые невозможно разгадать с ходу? Но что, если...

Купия вздрогнула, будто наступила на раскаленный уголек. Нет, нет, не надо, нельзя думать про худшее. Кем она будет, если начнет угасать, не успев разгореться? Это просто минута волнения. Все пройдет. Следует взять себя в руки. Ведь они как раз примерно о таком говорили с Кумарбеком: творческое волнение требует покоя, пусть это звучит смешно и странно для кого-то. Вот и теперь ей необходимо успокоиться, не сосредоточивать мысли на случайной неудаче. Песня! Разве не стоит ради нее жить на земле? Песня способна вобрать в себя чужую боль и грусть, возвращая человеку душевное равновесие. Сколько раз, глядя в зал во время концерта, видела она, как у людей проясняются лица, светлеет взгляд, да и самые позы становятся свободнее, раскованнее, точно, слушая песню, человек сбрасывает усталость и напряжение дня!

Но даже эти мысли не помогли ей освободиться от тревожного чувства, Уже объявлено, что в ближайшее

воскресенье состоится ее концерт. Она сама видела в городе афиши. Как быть?

И что будет сегодня на репетиции? Именно сегодня ей предстоит говорить с режиссером о новой роли — арии Алтыншаш из оперы татарского композитора Жиганова «Алтыншаш». Все последнее время она думает лишь об этом, только этим и занята. Дома, особенно оставшись одна, включает магнитофонную пленку и слушает арии Алтыншаш в исполнении известных певиц. Порой спорит с ними, чаще соглашается, но слушает для того, чтобы исполнить роль эту по-своему, не повторяя чужих находок, которые могли бы случайно показаться своими, впервые обретенными. Читает все, что смогла найти, и о самом Жиганове, и о его опере.

О ней, Купии, как-то писали в газете, что в историю казахского вокального искусства она вошла именно как Купия, а не как Майра, Куляш или Роза. Вошла, ни у кого ничего не заимствуя, с казахскими, русскими, зарубежными песнями, и все они были отмечены печатью своеобразия, особым изяществом исполнения.

Так писал в газете незнакомый Купии рецензент. Это было, когда она работала в филармонии. Но она не считала себя исключительно эстрадной певицей. Мечтала об опере. Арию Джильды из оперы «Риголетто» она в концертах поет по сей день, хотя никогда на сцене этой роли не исполняла. . .

Состояние тревоги не проходило. Купия решила зайти в медпункт, посоветоваться с врачом. Результат оказался ей удручающим: врач выписал больничный лист и посоветовал несколько дней отдохнуть и усиленно лечиться. Купия по дороге обратно в гримерную подумала с горькой усмешкой, что любимая работа для нее больше отдых, чем предстоящее лечение. И на сколько времени оно затянется? Вчера звонил министр Омиржанов, просил завтра зайти, поговорить относительно предстоящих зарубежных гастролей. . .

Это страшно, что все сокровенно желанное, несвершенное, все, что хочется и предстоит сделать, наваливается на человека сразу, терзает близостью и недоступностью именно в моменты беспомощности и неуверенности.

В дверь гримерной постучали. Это была Шекер. Купия невольно отступила назад, так что было непонятно,

приглашает ли она нежданную гостью войти либо просто не совладала с растерянностью.

— Дорогая, ты где была? — с улыбкой спросила Шекер. — Я увидела, что ты запаздываешь, и даже встревожилась, не случилось ли чего. Не уходи после репетиции, отметим одно событие в моей комнате.

— Какое же?

— Я знаю, Улан написал для тебя новую песню. Хочу поздравить, возможно, и другие зайдут. . .

Каким образом она смогла так быстро все узнать? Зачем она пришла? Уж конечно не ради поздравления, в подобную минуту человеку не до поздравлений. Не нужно и сочувствие — оно расслабляет, вызывает жалость к самому себе. Единственное, чего хотела Купия, — это остаться на какое-то время одной, но Шекер, играя глазами, улыбаясь, ждала ответа. И лицо, какое она сделала, услышав отказ, — испуганное, встревоженное, — убедило Купию, что Шекер пришла неспроста. Это был очередной маленький удар. Во имя чего?

Об этом Купия размышляла, когда медленно, почти прогуливаясь, возвращалась домой.

Дома она прилегла отдохнуть. Потом насильно заставила себя поесть, вышла на балкон. Ей нравилась их квартира, место, где был выстроен этот новый дом. Прежде она как-то не замечала предрассветную красоту Алма-Аты. Лишь поселившись в этом доме, поняла, до чего прекрасен окруженный горами светлый город.

Утром, едва проснувшись, она уже настезь распахивала окна, смотревшие в сторону гор. Свежий, необычайной чистоты ветер колебал занавески, гладил щеки с материнской нежностью. И сразу сна как не бывало.

А с балкона Алатау казался похожим на лежащего верблюда; его белые вершины, по утрам затянутые синеватой дымкой, напоминали верблюжьим горбы. И облака, что плыли над ним, были похожи на картины, созданные огромной, размашистой кистью. Купия загляделась на облако, подобное скачущему над грозными вершинами всаднику, но краски неведомого художника расплзались, расплывались по небу, и вот уже пригнувшийся к кошу всадник оторвался от седла и вместе с конем истаял в синеве неба.

В тополях под окнами суетились, гомонили шумные воробьи, и зелено-серебристые листья дрожали, точно

били в ладоши, сообщая какую-то радостную весть. С противоположной стороны дома едва слышно доносились звонки трамвая.

Звонил в комнату и телефон несколько раз, но Купия не подошла. Говорить о своей тревоге не хотелось, говорить о другом было пока что трудно. И в то же время возникало беспокойство: а вдруг звонят по важному делу?

Это не Кумарбек, не междугородная. Остальное придется отложить хотя бы до завтра.

Она решила вновь выйти на улицу, пройтись немного. Это всегда успокаивало.

Вечер подступил к городу стремительно, едва зоркий глаз солнца закрыли хребты Алатау. В такие вот тихие теплые вечера Купия и Кумарбек любили бродить по улицам города, выбирая самые малолюдные и отдаленные. Купия хотелось дойти до городского сада, где они так часто сидели вместе, и разговоры их были нескончаемы, потому что и до сих пор они не успели поведать друг другу все самое главное и важное.

Когда идешь по городу, хребет Алатау как бы нависает над тобой большим цветущим ковром. В воздухе пахнет парным молоком, ароматы горных цветов и трав пропитывают воздух пряной бодрящей свежестью. Как жаль, что нет рядом Кумарбека! Вечер такой, что даже лунный свет льет на землю свое тепло. Вот промчался едва ощутимый ветерок, и задремавшие листья дрогнули, зашелестели, будто пробудившись от сна. Им вторично журчание горных родников, не слышное днем в уличном шуме.

Купия дошла до улицы имени Куляш Байсёитовой. Время уже было позднее, тишина стояла вокруг, и думалось, что если в эти минуты кто-нибудь поблизости зашумит, заговорит, это оскорбит красавицу природу ее почным, лишь ей присущим, полным гармонии многоголосьем.

Ступив на улицу, носящую имя Куляш, Купия воспрынула духом.

«О дорогая учительница! — подумала она. — Если, на счастье казахов, возникли в народе прекрасные, звучные песни, то счастье для песен, что родилась ты! Найдешь ли человека, слышавшего тебя, кто не преклонялся бы перед твоим чудесным талантом? Невозвратно ушед-

шая, дорогая Куляш-апа, кого только не растрогали твои соловьиные переливы! Талант твой признали многие страны, ты подняла на новую высоту высокие творения народа — его песни. . .»

Торжественные минуты рождают торжественные мысли и слова. С именем Куляш Байсеитовой для Купии было связано все самое значительное, светлое, величественное в искусстве. Никогда ей не забыть, как в первые годы по приезде в Алма-Ату она после спектаклей, а то и просто так приходила к оперному театру, уставала до изнеможения, только бы увидеть Куляш-апай. И почему-то ей все время не везло. Однажды она сказала себе: «С места не двинусь, но дождусь Куляш-апай, увижу ее сегодня».

Не один час пришлось ей простоять у театра, а была зима, она изрядно замерзла. Но вот репетиция окончилась, из театра группами стали выходить артисты. Купия, стоя под покрытым снегом тополем, подалась вперед, не спуская взгляд с дверей театра. Но Куляш, как невидимая святая, не показывалась. Купия не выдержала, спросила у кого-то, ей ответили, что Куляш еще в театре. Однако, сильно перемерзнув, она так и не дождалась никого. Лишь потом узнала, что Куляш обычно уходит через другую дверь, где служебный вход. Там Купия и дождалась ее спустя несколько дней.

Певица вышла одна, гораздо позже других. В душе Купия обрадовалась этому: она не смогла бы хорошо разглядеть Куляш, если бы ту окружали товарищи.

Едва Куляш показалась в дверях, Купия безотчетно шагнула ей навстречу. Бешено колотившееся сердце готово было выскочить из груди, щеки у нее пылали, глаза невольно зажмурились, будто их слепил яркий солнечный свет.

Певица тихо прошла мимо в глубокой задумчивости и не заметила девушку. Купия молча последовала за ней.

Подруги, которым Купия рассказала про этот случай, посмеялись над ней, считая подобный поступок проявлением детской наивности. Но в жизни Купии это стало событием. Куляш, никогда не знавшая ее, могла бы подивиться, что Купия называет ее своей учительницей. А возможно, и не удивилась бы, Мудрая, достигшая

несравненных высот в своем искусстве, она, конечно, понимала: учителя — не всегда те, кто волей случая и обстоятельств оказываются рядом с человеком. Учителя — это и те, кого он сам выбрал для себя, независимо от того, разделяют ли их века, расстояния или высокие ступени, через которые не перемахнешь.

Как и тогда, в юности, Купия с трепетным чувством прошла по улице, где много лет назад жила и ходила Куляш Байсеитова, прекрасная дочь казахского народа. Всегда ли ей бывало легко? Разумеется, нет. Но те, кто достигает вершин, остаются в памяти людей несгибаемо сильными, так уж повелось. Люди хотят помнить их такими, чтобы и после их ухода ощущать силу и поддержку в беде, да и не только в беде, а на любом трудном пути.

«У каждого — своя высота, — думала Купия. — Никто не может сказать безусловно, к чему предназначила его судьба, но человек не смеет подчиняться воле обстоятельств, беспомощно останавливаться, увидев на пути преграду. Вершин мастерства так же трудно достичь, как перевалов тех высоких гор, но если не стремиться к ним, не достигнешь и своей высоты. Куляш, дорогая учительница, помоги, поддержи. . .»

Это было похоже на молитву. Что ж, имя Куляш навсегда стало для Купии святыней.

Погруженная в свои мысли, Купия дошла до Советской улицы. Свернув вправо и спускаясь вниз, она увидела знакомую скамью, ту самую, где они не однажды сиживали с Кумарбеком, пока еще не стали мужем и женой. Здесь мало прохожих, да и деревья растут гуще, так что скамью не сразу разглядишь среди листвы.

Купия присела на скамью, которая была безмолвной свидетельницей той счастливой поры, что спаяла две души пламенем, не угасающим и по сей день. Она тосковала по Кумарбеку, но самая мысль, что он есть на свете и тоже тоскует по ней, непостижимым образом успокаивала, умиротворяла. . .

Ее заставили вздрогнуть смех и негромкие голоса, прозвучавшие совсем рядом. Двое, шедшие под руку, обошли скамью, где сидела Купия, и остановились под ветвистым тополем. Мужчина крепко обнял женщину, впился в ее губы. Купия, хорошо помнившая первые дни

своей любви, сидела неподвижно, чтобы не потревожить влюбленных.

— Пусти, губам больно,— сказала девушка, вырываясь.

— Дорогая, еще один поцелуй, только один,— просил джигит, задыхаясь.

Купия привстала, едва не вскрикнув, но заставила себя снова сесть. Голоса показались ей до боли знакомыми.

— Ты что, умираешь, что ли? Ведь сейчас дома будем,— с досадой сказала женщина.

— Тогда скорее, умоляю тебя, идем скорее,— нетерпеливо произнес мужчина.— Скоро появится твой сторож, как бы не выследил нас.

— Не бойся. Этот несчастный ни о чем, кроме своей карьеры, не помнит.

— Не писал, когда приезжает?

— Звонил в обед. Сам не знает, билет еще не купил.

— Тогда я сегодня у тебя ночую.

— Как хочешь.

— Пошли скорее. . .

Купия уже не сомневалась, кто такие эти двое. Мимо нее, занятые только друг другом, прошли. . . Она не хотела верить, пока свет ближайшего фонаря не упал на их лица и фигуры. Бывает же такое коварство! Какая низость! Ее брат считал женге преданной женой, а Домбая — преданным другом. Из-за них он перестал видеться со своей единственной сестрой.

Не зная, как быть, Купия то вставала, то садилась. Наконец поднялась с трудом, ощущая разбитость во всем теле.

В ту ночь она долго не могла уснуть, и снился ей какой-то бесконечный страшный сон.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Кумарбек долго простоял на остановке, поджидая Купию. Ветер с каждой минутой усиливался, яростно трепал деревья. Со стоном сломалась ветка тополя, растущего неподалеку. И тут же загрохотал гром, сверкающая молния рассекла небо. Ветер на миг как бы задохнулся от натуги, и тут же по крышам, по асфальту громко и часто забарабанили тяжелые капли дождя.

Кумарбек решил потерпеть. Но дождь и не думал переставать, напротив, с каждой минутой становился сильнее, и Кумарбек решил сбегать домой, переодеться мгновенно и захватить плащ и зонт для Купии.

Запахавшись, он вернулся обратно, не встретив Купию по дороге. Не было ее и на остановке. Автобусы подходили один за другим, не принося ему успокоения.

Встревоженный Кумарбек бросился к телефонной будке, дозвонился до театра. Дежурный вахтер ответил ему, что все давно ушли, и он опять побежал к остановке, вглядываясь в размытые дождем очертания подошедшего автобуса с двумя или тремя пассажирами.

В сумерках он разглядел силуэт женщины, которая торопливо шла в сторону их дома. Странной и незнакомой была ее походка, неверная, спотыкающаяся, но что-то его толкнуло, и он устремился вдогонку.

Видимо, женщина услышала шаги у себя за спиной, побежала, не оглядываясь. Кумарбек уже разглядел, что это Купия, но едва догнал ее.

— Ну ты и быстра! — сказал он, схватив ее за руку.

— Ой! — вскрикнула с испугом Купия. — Ой!

Она смотрела на него с ужасом, в расширенных глазах не было ничего, кроме смертельного страха, и он почувствовал, как этот парализующий страх наваливается и на него.

— Купияш, это же я, что с тобой? — спросил он встревоженно, укутывая ее плащом и не выпуская из объятий, потому что Купия, зашатавшись, стала медленно оседать на землю.

С трудом, насквозь вымокшую, дрожащую, он почти дотащил ее до дому, и лишь здесь Купия начала приходить в себя.

— Что случилось? — спрашивал Кумарбек. — Где ты успела так вымокнуть, я же догнал тебя недалеко от остановки?

— Я бежала всю дорогу, — Купия не могла унять нервную дрожь.

— Под таким дождем? Что случилось? Ты чего-то испугалась?

— Ох, не спрашивай, — Купия спрятала лицо в его ладони.

С трудом удалось ему понять из отрывочных, бессвязных фраз, что она шла из театра к автобусу при-

вычным коротким путем сквозь гущу деревьев, когда вдруг все кругом осветилось неестественно ярко. Это молния ударила в ствол огромного тополя, и дерево рухнуло, расколовшись пополам. Купия бросилась бежать, споткнулась, упала. Хотела закричать, но пропал голос. Кое-как поднявшись, она бежала, пока хватило сил, забыв, что можно подождать автобус. . .

Они оба не могли уснуть почти до самого утра. Купия задремывала, но мгновенно просыпалась в испуге, вскрикивала, и Кумарбеку всякий раз с трудом удавалось ее успокоить, убедить, что она дома и ей ничто не грозит. Он утешал и успокаивал ее, как маленького ребенка, радовался ее слабой, жалкой улыбке, однако под утро она опять застонала и заметалась на кровати:

— О-о, больно, больно!

— Что с тобой, дорогая?

— Наверно, это предродовые схватки. . .

— Какие схватки? Ведь еще рано! — встревожился Кумарбек и заговорил с бесконечной нежностью: — Родная, постарайся не тревожить себя, ради нас, ради нашего малыша. Все пройдет, все пройдет.

Он повторял эти слова как заклинание, а внутри все холодело от липкого тяжелого предчувствия.

Предчувствие не обманывало: Купии становилось с каждой минутой хуже, от боли прерывалось дыхание. Кумарбек готов был разрыдаться от нежности и жалости, видя, что она силой воли пытается сдержать стоны.

— Я вызову «скорую», — сказал он наконец, стараясь говорить возможно спокойнее. — Врач найдет безвредное лекарство, и ты немного поспишь. Ты очень утомлена.

— Да, да, вызови, — умоляюще прошептала Купия. Машина «скорой помощи» не заставила себя ждать, Купию срочно увезли в больницу. Кумарбек рвался поехать вместе с ней, но врачи не взяли его, сказав, что нет места и вообще это сейчас ни к чему. Завтра утром он может позвонить в больницу, и ему все скажут.

Оставшись один, Кумарбек заметался по квартире, как затравленный волк. Не находил успокоения ни сидя, ни лежа. Решил было дожидаться утра, когда сможет

позвонить, однако не выдержал: вызвал такси и помчался в больницу.

На улицах было совсем светло, но рабочий день еще не начинался. Стояла та гулкая настороженная тишина, которая предшествует торжественному пробуждению солнца. Первые проснувшиеся птицы приглушенно пробовали голоса, как бы не решаясь нарушить своим гомоном величие этих минут.

Не однажды Купия и Кумарбек ожидали на своем балконе восход солнца и всякий раз возвращались в комнату потрясенные, молчаливые. Кумарбек — под впечатлением красок утра, почти неправдоподобных, для него даже птичьи гимны преломлялись в яркие краски, а Купия — счастливо оглушенная богатством звуков; ей казалось, что даже легкий утренний ветерок, вторя птицам, творит нежную мелодию.

Но этим утром рассвета не было. Серый день уныло вползал в город, порывистый ветер шаркал на улицах, выметая последние клочья ночной мглы.

Подъехали к больнице. Ворота были на запоре.

Кумарбек попробовал стучать, никто не отозвался. В это время появилась машина «скорой помощи». Не задерживаясь у ворот, где стоял Кумарбек, машина обогнула ограду и остановилась у бокового входа. Вахтер, старик, машину пропустил, а Кумарбека, пытавшегося проскользнуть следом, задержал. Должно быть, его привычно позабавил растерянный, измученный вид молодого отца, он произнес несколько тоже явно привычных фраз, что, мол, Кумарбек не первый и не последний, кто здесь, под стенами, бегаёт и без толку в ворота барабанит. Только всему свой черед, доктора хорошие, опытные — примут ребеночка, не задержат...

Однако, видя, что Кумарбек не намерен уходить, приглядевшись к его возбужденному и одновременно безнадежно расстроенному виду, старик вздохнул и впустил его в свою будку, усадил на лавку...

Примерно в семь утра Кумарбек, ни на минуту не сомкнувший глаз, увидел выходящую после ночного дежурства девушку-медсестру и преградил ей дорогу:

— Сестричка, скажите, как себя чувствует Сулейменова?

Девушка подняла к нему усталое веснушчатое лицо и пожала плечами. Спросила, помолчав:

— Вы ей кто?

— Муж.

Девушка опять пожала плечами:

— Состояние неплохое.

— А что это означает? Спала она?

— Не знаю.

— То есть как не знаете?

Девушка вдруг разозлилась:

— Ничего тут нет особенного! Я не могу сторожить каждого человека. Вы знаете, сколько сюда привозят?

— Простите. Но, может быть, вы знаете, что у нее, какой диагноз?

— Это вам скажут, когда придет заведующая отделением. У нас на такие вопросы отвечает только она...

Кумарбек бродил еще час или два, из больницы выходили усталые после дежурства люди, но он так и не смог ни у кого получить успокоительного ответа. А приходившие вовсе ничего не знали.

Лишь около десяти часов он смог встретиться с дежурным врачом.

Старик вахтер, проникшийся к нему искренним сочувствием, издали указал на молодого светловолосого человека, который прохаживался по двору, заложив руки за спину.

— Говорите, пришли к Сулейменовой? — медленно спросил врач, исподлобья разглядывая Кумарбека. — Идемте ко мне в кабинет, поговорим там.

— Прошу вас, только ничего не скрывайте, — попросил Кумарбек, оказавшись у врача в кабинете.

— Что ж тут скрывать? Ваша жена сильно испугалась, ушиблась. Плохо, что беременность уже большая...

— Выкидыш?

— Это было бы лучше. К несчастью, ребенок перевернулся... погнб.

— Как же теперь быть? — беспомощно спросил Кумарбек.

— К сожалению, выход один: операция.

— А что говорит она сама? Она дала согласие?

Молодой врач посмотрел на Кумарбека долгим внимательным взглядом, в котором были понимание, сочувствие, укор... Он как бы взывал: очнись, о чем ты гово-

ришь! Разве у человека в критическую минуту спрашивают, на что он дает согласие — жить или умереть?

И Кумарбек очнулся:

— Операция не опасна для ее жизни?

— Сама операция не опасна, но у жены вашей не слишком здоровое сердце. Об этом нужно особенно помнить в послеоперационный период. Ей будет необходим длительный отдых. Спасти ребенка мы не имели возможности, но мать мы спасем. . .

За профессионально спокойными фразами врача угадывалась вера в спасительную силу медицины. Он даже улыбнулся ободряюще, видимо желая придать Кумарбеку твердости. Но Кумарбек был подавлен чувством непоправимой потери: услышав, что Купия в безопасности, он всем существом своим ощутил, что уже нет и не будет их ребенка, их первенца, крохотного живого человека, чье сердце еще вчера билось вместе с сердцем матери.

— Можно мне увидеть ее сейчас?

— Ни в коем случае. Будем срочно оперировать.

— Я буду ждать во дворе. . .

— Не нужно, не ждите. Вы изведетесь. Лучше звоните по телефону. . .

Кумарбек пошел в Союз художников, куда еще с утра должен был прийти для разговора о своем участии в республиканской выставке, но с полпути вернулся обратно. Нестерпимо захотелось увидеть Купию; подумалось вдруг, что не разговор ее взволнует, а долгое его отсутствие. Он обратился к дежурной сестре, но та сослалась на необходимость получить согласие врачей. Попросил встречи с дежурным врачом, сестра ответила удивленно: «Вы же только что с ним разговаривали. Сейчас он занят, готовится к операции. . .»

Он вышел во двор родильного дома, зная, что уже никуда отсюда не уйдет, пока не услышит, как завершилась операция, как себя чувствует Купия. . .

Он никогда не думал, что счастье человеческое так хрупко, подвержено столь неожиданным ударам, способным сокрушить, раздавить то, что так оберегал и ценил человек. Насколько же мелки рядом с этими невзгодами и несправедливостью судьбы казались горести и треволения, создаваемые самими людьми.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Когда Кумарбек входил в квартиру, зазвонил телефон — аппарат стоял на маленьком столике у входа.

Сменив ботинки на домашние тапочки, Кумарбек снял трубку.

— Да, я слушаю.

— Спасибо, что слушаешь, не бросаешь трубку молча.

— Когда, кто бросил трубку?

— Это тебе виднее.

— Что мне видно? Я только что вошел.

— А мне сказали, что ты давным-давно дома.

— Слушай, Улан, брось ты свои вечные придирки и лучше расскажи, как дела. Когда вы собираетесь зайти к нам?

— Мы сегодня вас хотели пригласить в театр. Купия, Мубаш говорила, свободна. Пусть наши жены будут сегодня зрителями вместе с нами. Идет?

— Говоришь, в театр? Сегодня? Хорошо, договорись. Встретимся за полчаса до начала у входа.

Кумарбек не успел войти в гостиную, как навстречу ему вышла Купия в переднике.

— Едва вернулся домой и уже кому-то назначил свидание, — сказала она с мягкой улыбкой.

— Твой композитор, Улан. Разве, кроме него, я кому-нибудь назначаю свидания?

— Что он говорит?

— Приглашает в театр. Ты ведь свободна сегодня?

— Да.

— Значит, пойдём? Батима-апа уже столько дней гостит у нас, а мы ей толком ничего не показали, теперь получилось удачно. Кстати, почему вы бросаете телефонную трубку, не ответив человеку толком?

— Трубку? — засмеялась Купия. — Это наша Батима так беседует по телефону. Она мне объяснила. Кто-то позвонил, спросил, дома ли ты. Она ответила: дома. Хотела сказать, что, мол, никуда не уехал — ни в аул, ни в командировку. «Тогда позовите его». А как позовешь человека, если он ушел по делам? И она оба раза ответила «дома», потом положила трубку на рычаг.

— Что ж, это вполне логично, — сказал Кумарбек. — Батима права.

Его старшая сестра Батима стояла в дверях гостиной, беспокойно прислушиваясь к разговору. При последних словах она широко улыбнулась.

Прожившая всю жизнь в ауле, она нередко попадала впросак, оказавшись гостьей брата в новой его городской квартире. Например, труднее всего далось ей знакомство именно с телефоном. Вначале она просто клала трубку на рычаг, даже собираясь позвать Купию или Кумарбека. В других случаях подолгу переспрашивала, чего хочет позвонивший, кричала громко, точно говорила с глухим,—слишком для нее было непривычно разговаривать с человеком, не видя его лица.

И в то же время ее достоинство женщины, прожившей большую и нелегкую трудовую жизнь, выросшей в добрых нравственных традициях, страдало, если она чувствовала, что может показаться смешной, отсталой. Поэтому Купия рассказала Кумарбеку о некоторых поступках Батимы-апай смеясь, но осторожно, вполголоса, пока та по праву старшинства проверяла, готов ли обед.

— По приезде,—сказала Купия,—Батима-апай жаловалась на головную боль, помнишь? Врача вызывать ни за что не велела. Я дала ей аналгин с пирамидоном, и все прошло. Представляешь, потом я вспомнила, раз уж полезла в аптечку, про старые таблетки, решила все их повыбрасывать. Положила на стол, а когда спохватилась, все они уже были у Батимы-апай. Спрашиваю: «Зачем?» Отвечает: «Не любила всю жизнь лекарств, а это, оказывается, хорошая вещь, вон как быстро вылечили мою голову. Как же можно их выбрасывать?»

— А помнишь, как мы ей ставили горчичники в день приезда? —спросил Кумарбек.

— Ну еще бы! Такое не забудешь,—засмеялась Купия.—Сказала: «Видать, меня прохватило дорогой, колет всю спину», и продержала горчичники, пока мы не вернулись с работы. Потом все удивлялась: «Откуда мне было знать, что простая бумажонка может обжечь так? Начало гореть все тело, я подумала — вот и хорошо, простуда уходит. Истари считалось, что хорошее лекарство и дерет хорошо...» Что ей ответишь на это.

Кумарбек с нежной улыбкой смотрел на жену, вспоминавшую вещи, известные им обоим. Он был благода-

рен ей за желание отвлечь его от мыслей о делах. Нелегки были эти мысли. . .

Мубаш и Улан ожидали их у входа.

— Здравствуйте, дорогие, все ли здоровы? — сказала Батима-апай, уже познакомившаяся в доме Кумарбека с его друзьями. — Меня нисколько не прельщает этот театр. Я даже не хотела идти, но дети сказали, что это вы всех нас приглашаете, и притащили насильно.

— Правильно сделали, — сказал Улан, — увидите, как театр поднимает настроение! Уж если приехали в город, нужно пользоваться радостями, какие он доставляет.

— Э, дорогой, я приехала повидать своих детей — в этом моя радость и вся моя жизнь.

Они вошли в театр.

Прогуливаясь по фойе, Батима-апай внимательно разглядывала окружающих, и вновь ею овладели сомнения:

— Ой, стыдно, зря я, видать, пришла сюда!

— Да почему? — удивился Улан.

— Одна молодежь тут. Никого не увидишь моего возраста. . .

— Не спешите, — возразил Улан. — Пожилые не слишком торопливы. Скоро вы увидите людей и постарше вас.

Людей в фойе действительно становилось все больше и больше. Среди входивших оказались и Кенжегул с Жамал. После обоюдных приветствий Жамал с ласковым упреком обратилась к Купии:

— Дорогая, ты совсем нас забыла. Только и радости — увидеть тебя по телевизору или услышать по радио. . .

— Нет, нет, вы занимаете особое место в моем сердце, — сказала Купия, нежно обнимая Жамал за плечи. — Нужно видаться, просто часто не хватает времени.

— В самом деле, именно в этом и испытываешь нехватку, — поддержал Кумарбек. — Иногда жалуются: того недостает, другого. По-моему, в большом городе человеку всю жизнь недостает лишь времени.

— Да, нам его тоже теперь недостает, — солидно вмешался Кенжегул. — И прежде вечно было некогда, а с тех пор, как изменилось служебное положение. . .

— О да,— спохватился Кумарбек,— поздравляю вас с новой службой, желаю успехов.

— Благодарю,— важно отозвался Кенжегул. Затем повернулся к Батиме-апай: — Итак, приехали, значит, благополучно. Все ли здоровы в ауле? Как там наши родственники?

— Все здоровы,— холодно сказала Батима-апай.

— Когда посетите нас?

— Э, что я у вас потеряла? Вот увидела тебя, и довольна. Жив, здоров, продолжай расти дальше. А зайти повидать меня ты бы должен был сам. Разве забыл слова: «Когда издалека приезжает шестилетний ребенок, поздороваться с ним заходит и шестидесятилетний старик». Или для столицы эти слова не годятся?

— Батима-апай, вы правы,— вмешалась Жамал.— Мы виноваты, что не сумели зайти, хотя и слышали о вашем приезде.

— Я же тебя знаю, Жамал-джан, я не в обиде на тебя. А вот Кенжегулу, думаю, могу кое-что сказать...

— Ну как, женеше, что нового? — несколько невольно обратился к Жамал Кумарбек, испугавшись, как бы разговор не принял слишком неприятный оборот. За Жамал ответил Кенжегул:

— Что у нас нового, ты уже слышал. А что нового у тебя? Каковы твои успехи?

— Идемте в зал, скоро третий звонок,— поспешила сказать Купия, тревожно глянув на Кумарбека. Заторопились и Мубаш с Уланом, подхватили под руки Батиму-апай.

Не торопился только Кенжегул. Сытая, самодовольная усмешка тронула его губы. Он знал кое-что, чего не знала Жамал, редко читавшая газеты...

— Хочу пригласить тебя проехаться за город,— сказал в антракте Улан Кумарбеку.— Сделаешь несколько зарисовок, тебе это наверняка пригодится. А мне нужно немного развеяться после работы над новой песней.

Кумарбек пристально посмотрел в лицо другу. И сегодняшнее приглашение в театр, и это приглашение поехать за город — он прекрасно понимал — не были случайны. Улан, будто угадывая его мысли, быстро сказал:

— Ну что ты смотришь? Любая такая поездка придает силы, энергии. Наш материал — сама жизнь, мы не смеем заикаться в четырех стенах,

— Энергия не придет извне, если ее не ощущаешь в себе самом,— возразил Кумарбек.

— Ты не совсем прав,— живо сказал Улан.— Ты не прав и сам это прекрасно знаешь. Собственные запасы энергии быстро иссякают для тех, кто надеется прожить только ими. . .

За город они выехали вдвоем, ранним утром.

До подножия гор доехали автобусом, а дальше пошли пешком. Воздух тут был по-особенному чист. Вокруг ни звука. Темно-синие камни, нависшие над головой, напоминали вырубленные в горе громадные, закрытые наглухо сундуки. Зеленые ели вокруг них стояли навтыжку, подобно вечной страже. А подножие горы широким каменным руслом протянулось далеко в сторону города.

Молчание Кумарбека, потрясенного величием этой картины, нарушил Улан:

— Посмотри, какое чудо!

Кумарбек посмотрел туда, куда указывал Улан. С вершины горы, в том месте, где она изгибалась подобно луку, взлетел и медленно набирал высоту горный орел.

— Нет, ты взгляни, как он взмахивает крыльями! — воскликнул Улан, не в силах скрыть своего восхищения.

День был воскресный, поэтому они прогуливались не спеша. Поднялись, насколько доступно было им, городским жителям, в горы, передохнули, посмеиваясь друг над другом, что маловато выносливости. Только здесь, в горах, почувствовали они, как устали от городского шума.

Так же не спеша спустились они вниз, почти дошли до автобусной остановки, но автобус пропустили — жаль было уезжать.

Стояла середина мая, и все вокруг расцветало пышно и молодо. Хотелось просто неподвижно стоять и смотреть, и глаза не могли насытиться великолепным зрелищем.

Тишину вновь нарушил Улан:

— Кумарбек, ты почему замолчал? Или тут, в низине, опять отыскал новые краски?

— Ой, Улан, что и говорить, для глаз, умеющих ви-

деть, тут не одна, а тысячи красок. Вот только как передать их?

— Ну, не тебе этого бояться!

— Я-то и боюсь.

— Зачем ты это говоришь? В твоих картинах всегда поражает богатство красок. И они заставляют задуматься, в них много чувства, ты прекрасно знаешь сам.

— Если бы в моих работах имелось все это, меня бы не били так безжалостно...

Наконец-то они заговорили о самом больном, коснулись темы, которой все это время избегали, старались осторожно обойти.

— Ну вот, Кумарбек, опять ты вспоминаешь эту скверную статью. Бывает критика, а бывает стремление задеть, обидеть человека, не слишком даже аргументируя злые выпады. Так стоит ли портить нервы из-за какой-то чуши?

— Нервы ведь не саксаул, чтобы выдерживать подобные удары. Да и саксаул от ударов камнем может обломиться.

— Видишь, видишь, в этом и есть твоя слабость! Когда критика сродни побиванию камнями, нужно оставаться сильным. Непременно. Если ты будешь придавать этому чрезмерное значение, перестанешь, нервничая, работать, противники твои будут только довольны. Поверь, цель подобной критики не мобилизовать твои силы, а напротив — выбить тебя из колеи, согнать на обочину. Всегда в искусстве идет борьба, и всегда, к сожалению, будут появляться в нем люди, получающие удовольствие от возможности ударить талантливого человека...

— Спасибо, друг, я чувствую, как ты стараешься поднять меня.

— Поднять? Мне кажется, ты сам достаточно крепок, чтобы не упасть. Если же ты имеешь в виду, что я хочу тебя возвеличить, то ты не прав. Возвеличивать я не умею, говорю, что думаю. И напрямик.

— Тогда, положи руку на сердце, скажи, нравятся ли мои работы людям? Смотрят на них? Останавливаются? Не бойся меня обидеть, говори прямо, прошу тебя.

— Кумарбек, я тебя не узнаю. Вспомни, когда ты впервые выставил свой «Капчагай», мы вместе смотрели

на посетителей выставки. Ты волновался, но это было счастливое волнение. Вспомни разговоры, лица. . .

Да, Кумарбек прекрасно помнил, какой радостью был переполнен он, видя успех своей картины.

Улан тогда долго простоял в задумчивости перед полотном, размышляя о том, что в век расцвета фотографии художник должен найти какие-то иные приемы создания пейзажа. И Кумарбеку это удалось. Он дал в «Капчагае» обобщенный пейзаж нового города с многоэтажными домами, с мощной ГЭС, города, выросшего на пустынном, необжитом пространстве. Все это ощущается в его картине. Сила, ликующая молодость угадываются в смелых, уверенных мазках художника, в ярких красках, национальном колорите картины и в красоте городского пейзажа, в этих устремленных к небу, прекрасных в своей новизне зданиях. А на переднем плане — лицо старика, мудрое, проникновенное. Он с любовью смотрит на все это. В линиях глубоких морщин, избороздивших его лоб, угадываются извилистые пути нелегкой судьбы. Старый человек, многое повидавший на своем веку, мягким, благодарным взглядом рассказывает людям о своей радости, о своем восхищении перед чудесными изменениями в жизни. . .

Картину Кумарбека «Алатау» Улан видел и запомнил раньше, чем познакомился с самим Кумарбеком, которого узнал благодаря Мубаш, сразу полюбившей Купню.

И все же знакомство свое с ним он относил именно к тому времени, когда на одной из выставок увидел «Алатау» и поначалу не разумом, нет, а чувствами глубоко воспринял эту способность художника на небольшом полотне воссоздать грандиозную, величественную картину природы, помогающую зрителю как бы проникнуть в глубину и в ширь изображаемого. У Улана в тот момент мелькнула мысль, что тут есть какая-то загадка, секрет мастера, скрытый от непосвященных.

Поэтому вчерашнюю недобрую статью Домбая Боранбаева Улан счел нарочито злым выпадом. Стремясь всячески развеять уныние Кумарбека, Улан то и дело прерывал тягостное молчание.

— Я тоже человек творческий, — заговорил он. — Возможно, я не до конца разбираюсь в живописи, чего-то не понимаю, но я побывал в наших крупнейших кар-

тинных галереях, много раз бывал в Эрмитаже. И вообще ценю живопись, как любой иной вид искусства, хорошо знаю работы казахских художников. И могу сказать тебе совершенно честно, что люблю твои работы независимо от нашей с тобой дружбы. Поверь, мне знакомо по опыту, что иногда повышенный интерес критики означает стремление осадить вырвавшегося вперед художника. Увы, критики не лишены чисто личных пристрастий или антипатий, хотя этого бы и не должно быть.

— Мне самому не хочется много думать об этой статье,— сказал Кумарбек,— но не могу заставить себя отвлечься. Ведь возражать в таких случаях невозможно, неприлично, а как не вспоминать, что критик советует мне учиться у Пикассо, Гуттузо и Сикейроса. У всех троих сразу, хотя между ними нет ничего общего, кроме того, что каждый из них — великий мастер. Неужели критик даже в этом не разбирается?

— Возможно, он просто надеется, что читатели не разберутся. Похоже, для него главным было — ударить тебя наотмашь: вдруг не очнешься! А ведь так жестоко и несправедливо бить по своим — большая беда для страны, вступающей в завтра...

Кумарбек улыбнулся:

— Как хорошо у тебя прозвучало это «в завтра»... Завтра означает претворение твоей мечты, сегодня — это действие, дело. Так будем делать дело, не так ли?

— Вот именно это я и хотел от тебя услышать,— оживился Улан.— Если не всегда на высоте наши критики, на высоте должны быть мы сами. Художник, у которого беспомощно опустились руки, может считать творческую свою судьбу оконченной. А если творчество для него — смысл жизни, смеет ли он опускать руки, сдаваться?

— Не смеет! — в тон Улану произнес Кумарбек, и они засмеялись оба...

Статья Домбая Боранбаева была тяжелым ударом для Кумарбека. Называлась она «Без идеи талант идет на убыль» и была напечатана в одной из солидных республиканских газет. Автор как бы подводил итог всему творчеству Кумарбека Абенова, разбирал его работы последних лет и приходил к выводу, что вместо жемчуга художник подсовывает ценителям живописи ничего не

стоящие камешки. Он пространно рассуждал о поверхностном решении важной темы, о торопливости и невзыскательности. Действительно, удар наотмашь. Критик не оставлял художнику ни малейшей надежды на то, что он и в будущем способен создать что-либо заслуживающее внимания, ибо краски его серы, владеть кистью, подобно Пикассо, Гуттузо или Сикейросу, он не умеет, и вообще смотреть на его работы скучно, пусть даже герои его картин в жизни интересные люди.

Тяжелее всего для Кумарбека было то, что эта же самая газета за месяц до того вздохнула расхваливала его «Капчагай» в статье, посвященной художественной выставке. Домбай Боранбаев как бы исправлял ошибку автора предыдущей статьи, изымал из общего перечня перспективно и талантливо работающих художников имя Кумарбека Абендова. И делал это с бескомпромиссной жестокостью.

Статья была для Кумарбека не только тяжелым ударом — она повергла его в полное смятение. «Господи, неужели я действительно скатываюсь вниз, как пишет Боранбаев? — размышлял он горестно. — Тогда зачем же меня столько раз хвалили? Выходит, лишь сбивали с толку, внушали излишнюю самоуверенность? Но какая же это самоуверенность, если меня вечно одолевали сомнения и тревоги и сам я меньше всего верил в успех каждой своей работы? Боранбаев обвиняет меня в поверхностности и торопливости... Знал бы он, сколько раз ездил я на Капчагай, сколько дней и ночей провел там, со сколькими людьми сдружился, говорил по душам! Это знаю лишь я один. Лишь я мог бы поведать, какой путь исканий был мною пройден прежде, чем я сказал себе, что могу приступить к работе над картиной. Всего только приступить, потому что с началом работы начались и новые терзания, требовавшие и новых поисков...»

Эта статья была поводом и для того, чтобы Мубаш и Улан сочли необходимым всячески поддержать Кумарбека, не дать ему пасть духом. После театра они остались у них с Купней ночевать, а наутро Улан, чтобы поднять Кумарбеку настроение, повез его в горы. Даже по телефону заказал обед в гостинице на Медео. Жаль только, что Купня из-за недомогания не решилась на

это небольшое путешествие. Не решилась оставить ее в одиночестве и Мубаш.

Вначале и Кумарбек ни за что не соглашался ехать, но они, все втроем, уговорили его, и угадали верно...

— Кумарбек, взгляни, это снова он! Нет, скажи, ты видел подобное чудо?

Горный орел парил прямо у них над головами. Он то круто падал вниз, то взмывал вверх, плавно и величественно.

— Это он, правда? — повторил Улан.

— Кто знает? Здесь, в горах, много орлов, — сказал Кумарбек. — Он, по-моему, подобно нам радуется маю. Этот месяц — последний сын весны, и она, как мать, особому добра к своему последнему сыну.

— Говорят, весна — молодость природы. Можно лишь позавидовать той, которая вновь и вновь встречает свою молодость!

— И все равно, даже ее молодость коротка, не дольше, чем у весеннего цветка...

— О Кумарбек, природа тебя так вдохновила, что ты заговорил стихами!

— Я вижу, ты подсмеиваешься надо мной. Чем смеяться, давай лучше подумаем, как нам возвращаться домой.

— Тулеген уже соскучился по своей Кыз-Жибек!

— Если бы не скучали друг по другу, тебе не пришлось бы в голову называть нас этими прекрасными именами. Шутки шутками, а надо поскорее добираться до города, погода начинает портиться, замечаешь?

Они одновременно посмотрели в сторону гор. Оттуда напозлали тучи. Ветер, еще полчаса назад неощутимый, как бы набирая силу, порывисто трепал ветви деревьев. Вдобавок вкрадчиво заморосил мелкий холодный дождь.

Кумарбек и Улан почти бегом спустились на асфальтированную дорожку. Автобуса не было видно, но вдали показалась легковая машина. Остановившись у обочины, друзья подняли руки. Серая «Волга», приближаясь, сбавила скорость, точно собиралась остановиться. Но едва они готовы были шагнуть к ней, машина, будто бросив коварное: «Это я просто подшутила над вами», мгновенно набрала скорость и рванулась вперед.

В первую минуту друзья не могли произнести ни слова от изумления. Первым заговорил Улан:

— Бедный шофер посочувствовал, хотел было взять нас, но, видно, начальник ему запретил.

— А ты узнал этого начальника?

— Нет, я даже не посмотрел.

— Да ведь это Кенжегул, сильный мира сего!

— Какой Кенжегул? Твой родственник, что ли?

— Ну да... Тот самый, которого мы повстречали в театре... Он ведь воспитывался у моего отца...

— Видно, не узнал нас.

— Что ты говоришь! Именно узнал, оттого и приказал шоферу прибавить скорость, не останавливаться.

— Ай-я-яй! Ну чего ему стоило прихватить нас? Были же сзади свободные места.

Кумарбек промолчал, и Улан угадал его мысли, сказал раздумчиво:

— Удобное качество — приспособляемость. Не огорчайся, завтра он притормозит машину и сам выйдет отворить перед тобой дверцу.

— Спасибо тебе, ты меня развеселил, — засмеялся Кумарбек. — Будем ждать. Тогда я непременно заставлю его заехать и за тобой.

— Ну вот, спасибо и тебе за это!

— Да, правдами-неправдами, а стал он начальником целого треста, — сказал Кумарбек. — Представляешь, сколько теперь власти в его руках, сколько возможностей для побочных заработков?

— А руки-то грязные, — Улан сокрушенно покачал головой. — Ты в курсе, скольких детей устроил он в институты?

— Не знаю, откровенно говоря, скольких он устроил, но помню, как он устраивал, ничем не гнушался.

— Вот младший мой братишка так и не смог поступить, — печально сказал Улан.

— Неужели не поступил? Ты же рассказывал, что он самые трудные примеры решает, даже с учителями иногда вступает в спор.

— Да, так оно и было. Но на вступительном экзамене вопросы ему задавали такие, на которые только студент может ответить. А вот парнишка из нашего же аула — он едва-едва на тройки тянул, брат еще помогал

ему по всем предметам — тот поступил, учится. Видно, сумели родители отыскать такого вот Кенжеке.

— Обидно за твоего братишку. Где он теперь?

— В ауле, пасет колхозных овец. Мечтал стать агрономом. Специалистом.

— Учился бы заочно, а?

— Не знаю, посмотрим. Очень его подсекла несправедливость. Теперь женился, ждут ребенка... И появился у него какой-то страх, неверие в свои возможности: мол, учи не учи, а захотят — все равно срежут.

— Да, обидно, обидно. Ты уж постарайся его переубедить, поддержать... Ты это умеешь, — с мягкой улыбкой добавил Кумарбек после небольшой паузы.

— Стараюсь, пишу ему. Самое обидное, что от таких вот пройдох страдают не только отдельные люди, но и целое общество. Вместо способных ребят поступают в институты другие, со слабыми знаниями, часто вообще без любви к учению. Так мы не только поставляем обществу плохих специалистов, но наносим ему невосполнимый урон в будущем. Не подумай, я говорю сейчас вовсе не о своем брате.

— Прекрасно тебя понимаю.

— Ну почему не выгонят из институтов всех взяточников? — с болью произнес Улан.

— А разве ими не занимаются? Выгоняли и выгоняют, судили и будут судить. Но разве это дело одного дня? Пройдохи легко в руки не даются. А случается и такое, что эти «посредники» вроде Кенжеке просто компрометируют порядочных людей, честных преподавателей. — Кумарбек усмехнулся и покачал головой, припомнив собственное поступление в художественное училище.

— Да, этот Кенжегул — фигура приметная, — сказал Улан. — И кажется, большой любитель красивых женщин. Бросил ли он свою привычку влюбляться в каждую красотку?

— Зачем же? Говорят: «Болезнь уходит, привычка остается». Похоже, теперь он увлекся одной молоденькой лаборанткой.

— Тогда, считай, обновит себе постель.

— Ну что ты, он, пока жив, не расстанется с Жамал.

— Ты уверен? Скверно это все. И за девушку обидно.

— Ну, если ее такое устроит, ничего нет обидного, пропади она пропадом! Пока что он танцует вокруг нее, надеется.

— О дорогой, оказывается, ты можешь быть и жестоким!

— При чем тут я? Если она хищная и неумная, не задумается, что у него семья, то получит по заслугам, только и всего. . .

— Кстати, ты сказал только что, будто Кенжегул, пока жив, не оставит Жамал. Откуда такая уверенность?

— Не бросит, потому что почувствовал вкус карьеры. Побойтся вылететь с должности. Жамал говорила, он и пить почти перестал, а если и пьет, старается не перебрать.

— Ишь ты, значит, карьера в чем-то помогает ему справиться?

— Ну, как понимаешь, не слишком-то. Кстати, вон идет такси!

Мелкий назойливый дождь не переставал. Небо сплошь было затянуто мутной пеленой. Они только теперь, увидев машину, почувствовали, что изрядно вымокли. Кумарбек поднял руку, и машина остановилась.

Продолжать начатый разговор в машине, где, кроме шофера, сидел посторонний человек, было неудобно, да и вообще говорить не хотелось. Волнение вновь овладело душой Кумарбека. Он думал о том, что человек не может жить без мечты. Еще не так давно главной мечтой его было соединиться с Купней. И вот они вместе. Но можно ли сказать, что жизненная цель достигнута? Нет и нет. Чем сильнее и трепетнее горит сердце его любовью, тем беспокойнее становится жажда творчества, мучительнее тревога, что лучшее уже позади и остается лишь доживать творческий свой век, повторяя в новых вариантах сделанное прежде.

«Талант и счастье несовместимы», — говаривал один из друзей Кумарбека по художественному училищу. Неужели это правда? Или бедняга просто выудил где-то либо придумал крылатые слова для собственного утешения? Помнится, бедствовал он в годы учения сильно.

И все-таки неужели он был прав? Может быть, свалившиеся в последнее время трудности, творческие со-

мнения и этот последний удар и есть проявление некоего жизненного закона?

Купия постаралась скрыть свое волнение, но была потрясена статьей. Повторила фамилию автора: «Домбай Боранбаев... Какая жестокость!» Потом нарочито беззаботно пожала плечами: «Забудь об этом. Завистники были и будут на свете».

Забудь? Кумарбек понимал, что лишь упорная, сосредоточенная работа над новой картиной поможет ему восстановить душевное равновесие, и готов был изо всех сил торопить машину, что везла их в город. Работать, работать, тотчас, немедленно!

Дождик, огорченный, что они вырвались из-под его власти, перестал, обрывки туч спрятались в расселинах гор, и солнце вновь торжественно и величаво открыло свой сияющий лик.

Мог ли догадываться Кумарбек, что впереди вновь собираются густые тучи, готовые загородить солнце?



Часъ третья

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Пока они доехали на такси до аэропорта, наступил летний рассвет, короткий, как птичий клюв. Восточная сторона неба огненно засветилась раскаленной медью. В отблеске рассветного зарева горы, видневшиеся слева в просвете между высокими зданиями, напоминали белого верблюда — нара, важно отдыхающего в степи. Горные хребты спереди и позади этого горделивого каменного животного были похожи на вздыбившиеся морские волны, которые застыли с разбегу в тысячах причудливых извилин...

Несмотря на раннее время, в аэропорту было людно. Едва молодые супруги, собравшиеся в далекий путь, пробились в людской толчее к столу регистрации билетов, как сбоку появились Сабур, Алмас и Зода.

— Когда вы успели приехать? — удивился Кумарбек, здороваясь.

За всех ответил Сабур:

— Они прибыли первыми, а я только что вышел из машины.

— Не видно Мубаш с Уланом, — сказала Зода, глядя в оживленный человеческий поток.

— Вот они, идут! — обрадовалась Купия.

И сразу людской поток как бы распался надвое, чтобы дать дорогу двоим, кого от самого входа выхватили взглядом и теперь ожидали молча и радостно те, ради кого они спешили сюда.

В руках у Улана был чемодан, Мубаш держала букет цветов. Они подошли, улыбаясь.

— Доброго пути вам! — сказал Улан, пожимая руку Кумарбеку.

— Кажется, того же следует пожелать и вам, — заметил Кумарбек. — Я вижу чемодан... Уж не собрался ли ты лететь вместе с нами?

— Нет, пока не собираюсь. Вот Мубаш, пожалуй, готова: все страдает, не может расстаться с Купией. А чемодан... это вам немного гостинцев на дорогу.

— Говоришь, немного? Значит, в других случаях ваши гостинцы и поднять невозможно, — пошутил Кумарбек, приняв врученный ему чемодан и двигаясь вместе с очередью к столу регистрации билетов. — Уф, какой тяжелый! Чего вы туда затолкали?

— Ничего, самолет поднимет, — сказал Улан.

— Таскай, таскай тяжести — сохранишь стройность фигуры, — поддержала его Мубаш.

За шутками и разговорами они и не заметили, как закончилась регистрация билетов, багажа и ручной клади. Прощание, как всегда перед вылетом, было стремительным, поэтому самые важные слова, самые необходимые просьбы произносились в спешке, в последнюю минуту.

Серьезная причина заставила Купию и Кумарбека неожиданно отправиться в путь.

После неблагоприятных родов Купия все еще не поправилась, постоянно ощущала недомогание. Но она и не хотела поправляться — это было всего опаснее и страшнее. Она жила воспоминаниями о не родившемся

ребенке и истязала себя мыслями о собственной вине перед ним, безвозвратно погубленным.

Кумарбек приходил в отчаяние, пытался отвлечь ее, объяснить, что в случившемся нет ни малейшей ее вины,— все было безрезультатно. Сильно обеспокоенный этим, несмотря на упорное сопротивление Купии, он показал ее нескольким врачам. Вывод был общий: необходимо на время переменить обстановку, отдохнуть,— стараясь как-то забыться, Купия в последнее время перегружала себя работой.

Врачи заверяли, и Кумарбек склонен был верить этому, что Купия придет в себя, поправится, если поживет около года в одной из северных областей республики, отвлечется, просто побудет на природе.

В последнее время Кумарбек не однажды возвращался мыслями к родному аулу, чувствовал себя в долгу перед людьми, которые помогли ему вырасти, поверить в красоту мира и человека. Ведь это благодаря им поступил он в художественное училище, потому что они вдохновили его на первые рисунки, на первую картину. Потом он написал много портретов, картины его были на выставках, но к жизни своего аула он все не успевал обратиться, хотя во время каждой поездки домой много рисовал, привозил эти зарисовки и этюды в Алма-Ату, считая их эскизами для нескольких будущих картин.

И вот теперь болезнь Купии явилась поводом, чтобы задуматься над этим всерьез, не для того чтобы лишний раз покаяться либо упрекнуть себя, а с намерением вплотную приступить к работе. Вне сомнения, он должен какое-то время пожить среди своих героев, случайных посещений недостаточно, пусть это даже и твой родной аул. Наоборот, воспоминания детства и ранней юности именно потому, что ты приезжаешь не в чужое место, а в родной аул, могут заслонить новое, значительное. Оно тебя не затронет, не взволнует, пройдет незамеченным, ибо все захлестнет поток воспоминаний, в котором каждая мелочь, любая подробность неправомерно вырастает до масштабов, ей несвойственных.

Услышав от Купии, что она категорически отказывается уехать из Алма-Аты, не может прервать работу,

Кумарбек добился для себя в Союзе художников творческой командировки на несколько месяцев. И если Купия считала немислимым прервать работу ради собственного здоровья, то ради мужа она готова была отправиться хоть на Северный полюс. В театре ей — без сопротивления, правда, — предоставили годичный отпуск за свой счет, и она начала поспешные сборы, убежденная, что все это делается лишь ради Кумарбека и давно задуманной им серии работ о жизни сегодняшнего аула.

Квартиру оставили на попечении двоюродной сестренки Кумарбека, которая приехала в Алма-Ату учиться. . .

Необычным было для Кумарбека чувство, с каким на этот раз он летел в родные края. Сознание, что он не просто собрался навестить друзей и родных, но замыслил большую и ответственную работу, которую не может не выполнить, создало особый душевный настрой. С обостренной чуткостью он воспринимал окружающее, вглядывался в лица соседей-пассажиров, припадал к иллюминатору.

Когда самолет пошел на снижение над областным центром, Кумарбек, не отрывая взгляд от иллюминатора, с удивлением разглядывал сверху такую, казалось, знакомую ему землю.

На огромном пространстве, от горизонта до горизонта, на этой необъятной степной шире не было уголка, не обработанного руками человека. Густой зеленью всходов отливали хлебные поля. Кроме выпасов и асфальтированных дорог, все было вспахано. Самолет, снижаясь, делал круги над городом, и родная земля, знакомая, горячая, насквозь прогретая солнцем, радостно мчалась навстречу. И автомашины, торопливо бегущие в разные концы по асфальтированным дорогам, представлялись вестниками радости, от которой сладко замирало сердце. Верилось, будто одни из них спешат к аэропорту встречать гостей, а другие — в аул предупредить об их скором приезде.

В небольшом круглом оконце — иллюминаторе, приближаясь, вырастали, поворачивались, уходили назад белые здания молодого города, который вырос и расцвел за считанные годы.

Самолет, приблизившись к земле вплотную, пробежал, подпрыгивая, по взлетной полосе и остановился.

Едва Кумарбек ступил ногой на родную почву, с наслаждением вдохнул искристо-свежий воздух, настоящий на полях, как ощутил блаженную молодую силу и легкость во всем теле. . .

Они с Купией решили не задерживаться в областном центре, а прямо ехать в аул.

Дорога в сторону совхоза, на которую свернул автобус, стелилась под колеса, подобно алому шнуру, опоясавшему землю. Это выбросы красноватой глины, вынутой из глубины открытого карьера, высыхая, ярко пылали, переливались в солнечных лучах. На фоне зыбкого желто-голубого марева они казались сказочными медными горами, вблизи же комья глины скорее напоминали вьющуюся шерсть красного ягненка. Обостренное зрение Кумарбека выхватывало каждую подробность; они оставались в памяти как бы мгновенными зарисовками.

Чем дальше от города, тем дорога становилась темнее, краснота постепенно исчезала, — так кровь, прихлынувшая внезапно к щекам, откатывает обратно, возвращая знакомым чертам привычные краски.

По обе стороны дороги уже тянулись хлебные поля. Пшеничные колосья пока что не налились зерном, но, отяжелевшие, с пробивающейся желтизной, глухо и мерно волновались под слабым ветром.

— Видишь, видишь, — обернулся Кумарбек к Купии, — впереди у нас почти сорок километров пути, а поля будут тянуться не обрываясь. . .

— А это? — с улыбкой спросила Купия и указала на несколько деревянных строений.

— Небольшая зимовка для скота, всего-навсего. Такие могут попадаться. Будут и отгонные участки — тоже для скота. Но ведь это лишь небольшие участки, остальное — поля и поля, ни одного аула. Какое богатство!

Через несколько минут он говорил:

— Ты не представляешь, какие люди у нас в ауле. . .

— Представляю, — мягко отвечала Купия.

Он не верил:

— Откуда?

— Какой ты смешной! Да я по именам почти всех

могу перечислить. Вспомни, сколько раз ты мне про них рассказывал.

— Да, ты права. И Атымтая хорошо себе представляешь?

— Конечно.

— Так вот,— сказал Кумарбек,— Атымтай будет одним из первых, кого я начну рисовать. Знаешь, его жизнь я всю как бы вижу в последовательности, эпизод за эпизодом. И каждый эпизод — это победа человека над тем, что принято называть судьбой. Она была на редкость жестока к Атымтаю. . .

Купия слушала, кивала согласно, а Кумарбек говорил и говорил, горячо, вдохновенно, пока не заметил вдруг, что Купия начала дремать. Бедная, завтра она весь день будет чувствовать себя виноватой, да и сегодня, едва они доедут, станет с тревогой вглядываться в его лицо — не обиделся ли он, что она уснула. Какая там обида! Кому еще, как не ему, знать, сколько бессонных ночей провела она за последние месяцы, сколько раз делала вид, будто спит, стараясь не доставить Кумарбеку огорчения, а он не мог спать, изнывал от беспокойства за нее.

Приняв такую позу, чтобы голова Купии лежала у него на плече, Кумарбек, теперь уже мысленно, вновь обратился к судьбе Атымтая. Да, он сделает целую серию рисунков, раскроет в рисунках трудную и безмерно мужественную жизнь, но Атымтай узнает об этом после всех. Ведь еще неизвестно, захочет ли он выставлять напоказ свои горести и даже свою победу над ними. Он — из тех людей, кому свойственно удивительное целомудрие, именно целомудрие, во всем, что касается личной жизни. И если Кумарбек знал эту жизнь во многих подробностях, то прежде всего по рассказам близких — Атымтай приходился ему родственником по материнской линии. После того как Макпал осталась в одиночестве, Кумарбек знал, что именно Атымтай в ауле — опора для его матери.

А около двух лет назад на Атымтая обрушился первый удар судьбы.

Была зима. Реку затащило льдом, вдобавок поднялся буран, и невозможно было вовремя доставить продукты животноводам на другой берег. Как только распого-

дилось, отец Атымтая — Кабдуали на своей грузовой машине, вместе с заведующим отделением совхоза, отправился в путь. Добравшись до берега, начали проверять лед — он показался прочным: толщина его по краям пробитой проруби была около сорока сантиметров.

На снегу, запорошившем ледяной покров реки, видны были следы пешеходов, легких подвод, но — ни следа грузовой машины. Несмотря на это, Кабдуали решился... Люди с сомнением качали головой, наперебой советовали ему подождать еще несколько дней, но он не слушал их доводов. «Лед, конечно, станет потолще, — ответил, вспоминали потом очевидцы, Кабдуали, — но как быть, если вновь поднимется буря? Исхудавший скот на том берегу останется без корма, а животноводы без продуктов!»

И он завел машину.

Тяжелый грузовик дошел уже до середины реки, когда с грохотом и треском обрушился толстый лед. Обрушился мгновенно, не дав знать о готовящемся несчастье ни единой трещинкой.

Машина с отчаянием живого существа рванулась вперед, но задние колеса ушли под воду, а передние бессильно кромсали и ломали лед.

Машину, уходившую под воду, первым увидел с берега чабан, гнавший отару овец. Но пока он дал знать об этом в центр совхоза, расположенный в двенадцати километрах от берега реки, пока оттуда приехали спасатели, прошла уйма времени. А мороз стоял тридцатиградусный. Прибывшие на помощь не увидели под водой ни людей, ни машины. Проверили куруком — длинным шестом с приспособлением для поимки лошадей — квадрат образовавшейся полыньи, но ни на что не наткнулись. Было слишком глубоко.

Из совхоза о беде дали знать в район, оттуда — в область.

Спустя несколько дней водолазы вытащили на берег два обледенелых трупов.

Атымтай долго не мог прийти в себя после случившегося.

Его старая больная мать не пережила преждевременной трагической гибели мужа и тоже простилась с

белым светом. Не успел Атымтай справиться поминки по отцу — пришлось хоронить мать.

Но не случайно говорят: беда не ходит в одиночку. Опасность подстерегала и самого Атымтая. Вернее сказать — опасности. Должно быть, они тоже не любят ходить по одной. . .

ГЛАВА ВТОРАЯ

Атымтай в редкие минуты и немногословно рассказывал о себе. Но жизнь его была настолько полна событиями, способными взбудоражить любого, что проходила как бы у всех на виду.

Во многих подробностях знал эту жизнь и Кумарбек. . .

Однажды Атымтай — он, как и отец, был шофером — поехал в областной центр за горючим.

Дорогой забарахлил мотор, пришлось остановиться. Пока Атымтай возился с мотором, стемнело. И тут, будто дождавшись наконец темноты, тихонечко начал подвывать буран, пополз, крадучись, по земле.

Однако тихим он был лишь поначалу. За краткое время, за какие-то считанные минуты, которых не хватило бы, чтоб вскипятить молоко, буран вошел в полную силу.

Казалось, тысячи злобных гадов, шипя, извиваясь, ползут по земле, то и дело вскидываясь яростно, готовые сожрать все живое. В мгновение ока буран закрыл густой белой завесой пространство между землей и небом. Ни кустика, ни холмика не осталось в снежной мути. Ни одного сколько-нибудь приметного места. Беспредельность без конца и края в сгущающихся сумерках.

Легкий снежок, который сыпал с утра и весело искрился под солнцем, не успел превратиться в плотный наст, буран взвихрил его и теперь гнал кругами то в одну, то в другую сторону, сталкивая снеговые волны, разбивая снежинки в мелкую острую пыль. . .

Атымтай увеличил скорость и вслепую гнал машину по степи, надеясь доехать до какого-нибудь укрытия. Но, что поделывать, добравшись до развилки дорог, он попал на какую-то неверную короткую тропу. Не заметив этого, он все ехал и ехал, однако вскоре в душу его

закралась тревога: по его расчетам он давно уже должен был оказаться вблизи от людского жилья. Не могла же удлиниться дорога!

Он остановил машину, выпрыгнул из кабины и не увидел ничего, кроме обледеневшего наката, ровного, как стекло. Тропа оборвалась где-то позади, а впереди дороги не было. Он заблудился.

Вернувшись в кабину, Атымтай долго сидел в задумчивости. Ехать дальше — степь велика, неизвестно, куда приедешь. Да и бензина осталось мало. И он решил переждать буран. В душе теплилась надежда, что установится к утру хорошая погода или набредет на него какой-нибудь случайный путник.

Но ни та, ни другая надежда не оправдались. Буран свирепствовал всю ночь, не собиравшись утихнуть и утром следующего дня. А дожидаться случайного путника было и вовсе смешно в этом безлюдном месте под грозное завывание ветра.

Чтобы не замерзнуть, Атымтай включил печку, но знал, что спать с закрытой дверцей кабины нельзя — отравишься. Он так и просидел всю ночь без сна, с включенной печкой и приоткрытой дверцей кабины. Но долгожданный рассвет не принес радости. Лишь к следующему дню буран несколько ослабел и появилась возможность хоть как-то оглядеться. Атымтай радовался как дитя. Завел машину и двинулся в обратный путь. Ему казалось, что та, утерянная тропа, если добраться до нее, непременно приведет к людям, к жилью.

Исполненный надежды, мог ли он предчувствовать новую беду?

Пройдя пять-шесть километров, машина круто остановилась, будто лбом уткнулась в глухую стену. Кончился бензин, который еще утром стоял на нуле.

Пришлось покинуть машину и пешком идти в ту сторону, где, по мнению Атымтая, мог быть аул.

Измученный, изголодавшийся за эти два дня, джигит вскоре совсем выбился из сил. И тут на него с удвоенной яростью набросился пронизывающий до костей ветер. О, как в эти минуты хотелось отдохнуть! Но Атымтай, стиснув зубы, все шел и шел. Падал, поднимался и продолжал идти. Неожиданно он провалился в яму, оказавшуюся на пути. Однако обострившееся зре-

ние успело поймать блеснувший вдали слабый огонек, и это как бы вернуло бедняге силы. Ему даже показалось, что с той стороны, где сверкнул огонек, донесся собачий лай. Атымтай с трудом выбрался из ямы, сделал несколько шагов и упал как подрубленный. Под ним была промерзлая заледеневшая земля, в лицо била колючая снежная пыль, но он думал о блеснувшем ему огоньке, о далеком единственном огоньке. . . Он не почувствовал, что начал замерзать, — напротив, обрадовался неожиданной легкости во всем теле. Ему стало так хорошо, будто лежал он не на мерзлой земле, а в теплой постели.

Наверно, он так уснул бы навсегда, не разбуди его внезапное прикосновение сильной лапы неведомого зверя. Зверь царапал острыми когтями спину Атымтая, но тот не в силах был поднять набрякшие веки и лишь прислушивался, как зверь, прерывисто дыша, разгребает засыпавший его снег. Мелькнула мысль: «Неужели волк? Если волк, это конец. . .»

На счастье Атымтая, зверь-спаситель оказался не волком, а собакой, охотничьим псом по кличке Кокборы. Это было крупное, сильное животное, запросто справлявшееся с одинокими волками, если тем случалось забегать в аул. Да и во время охоты убегающий волк не успевал скрыться от Кокборы. . .

Хозяином этого умного пса был Нагим, которому заводили многие охотники. Гордясь своим Кокборы, Нагим редко выходил из дому без него. Вот и на этот раз он чуть свет оседлал коня и отправился по делам.

Примерно километрах в десяти от аула Кокборы, почуввав какой-то запах, постоял некоторое время неподвижно, потом понесся с опущенной головой в сторону от дороги. Нагим, жалея коня, который еще не успел очнуться после теплого ночного поста, не гнал его сильно и отстал от Кокборы на значительное расстояние.

А пес, все ускоряя бег, приюхиваясь, достиг того места, где лежал замерзающий Атымтай, лапами стал раскидывать засыпавший человека слой снега. Человек не поднимался. Тогда пес вцепился зубами в его плечо, рывком приподнял с земли. Подъехавший Нагим понял, отчего так спешил его умный Кокборы. Он узнал Атымтай и быстро доставил его домой.

Атымтаю, у которого было отморожено ухо и несколько пальцев, казалось, что он вырвался из пасти смерти. Сестра Хадиша накормила его, напоила горячим чаем, он отогрелся и уже готов был шутливо рассказывать о недавнем происшествии, как вдруг к вечеру у него сильно поднялась температура. Началось воспаление легких. Доставленный в районную больницу, он пролежал там целый месяц, а когда вышел из больницы, директор совхоза направил его временно в табунщики: старая машина еще не вышла из ремонта, новой для него не было.

Некоторое время обиженный Атымтай просидел без работы, затем согласился. Тем более что он успел обзавестись семьей — женился на красивой девушке из соседнего аула, давно ему приглянувшейся. Молодая красивая жена и сынишка Сагат требовали немалых расходов.

Жену свою Атымтай буквально на руках носил, все заработанное тратил на нее и сына, старался делать сам даже мелкие домашние дела, лишь бы не утруждать Шолпан. Из-за нее он даже поссорился с больной сестрой Хадишой, нередко ссорился с матерью. Атымтай испытывал к жене благодарность за то, что она, такая юная, красивая, предпочла его, заурядного, как он сам считал, парня всем иным ухажерам. Богатырь, гнувший железные прутья одной рукой, он преображался возле жены в кроткого ягненка. Она тянулась к своим родным — он радовался, что у нее такое доброе сердце. Его сестра и мать укоряли Шолпан в черной неблагодарности — он доказывал, что она просто молода, постепенно во всем разберется и все поймет. Остепенится. Если же она чрезмерно любит наряды и блестящие побрякушки, то кому и наряжаться, как не ей! Любящее сердце прощает легко. Атымтаю и невдомек было, что, отдавая все деньги Шолпан, он и сам забывал о сестре и матери. А в тех случаях, когда он что-то делал для них, юная, милая Шолпан говорила со своей обаятельной улыбкой:

— Нельзя любить сразу многих. Наверно, я занимаю в твоем сердце совсем малюсенький уголок, остальное — для всех других. И, знаешь, мне иногда делается так страшно. . . Женщины старятся быстро, и вообще ма-

ло ли что может случиться. . . Ты найдешь, кого любить, а что будет со мной?

— Оставь, не думай об этом,— отмахивался Атымтай.

Но она была настойчива:

— Нет, я хочу знать! Ведь если очень сильно любят кого-то одного, остальных забывают, отходят от них, разве не так? Значит, ты не любишь меня по-настоящему, значит, если что-то случится. . .

Атымтай вглядывался в ее лицо, стараясь понять — шутит она или говорит серьезно. Она не шутила. И тогда он говорил проникновенно, с бесконечной искренностью:

— Такого в нашей жизни не будет, Шолпан. Я все силы положу, чтобы тебе всегда было хорошо. Мы состаримся вместе, а я люблю весь мир, потому что люблю тебя.

— Не понимаю,— Шолпан обиженно поджимала губки.— Вот я люблю тебя, и больше никто в мире мне не нужен. Значит, я люблю сильнее.

Он воспринимал это как милые и трогательные детские разговоры. Но его до глубины души волновало желание Шолпан доказать ему силу своей любви. Ее сердитые порой взгляды, ревнивую обидчивость, даже холодность к его близким он считал доказательствами этой любви, и благодарная его преданность все возрастала. . .

. . . Наверно, никогда не узнал бы Кумарбек об этих разговорах между женой и мужем, если бы новое несчастье не подстерегало Атымтая.

Атымтай в минуту откровенности рассказывал ему о себе, не жалуясь, никого не обвиняя, но как бы пытаясь осмыслить, что же все-таки произошло, отчего так быстро и круто изменилась его жизнь. . .

Он пошел в табунщики нехотя, почти по принуждению, но вскоре понял, что и эта новая для него работа — испытание выдержки и стойкости джигита. Не любил Атымтай в жизни легких и ровных дорожек, таков уж был его характер. И труд табунщика понравился ему именно тем, что был нелегок. И, кроме того, он с детства любил коней, но позже забыл о них из-за машины. Старые люди говорят: «Конь дарит человеку крылья». Атымтай ощутил это в полной мере. Беспре-

дельная степь, быстроногие кони хотя и не заставили Атымтая забыть о машине, но отодвинули воспоминание куда-то в прошлое, лишили его болезненной остроты.

Время пролетало незаметно. Близился срок возвращения в аул. Но тут произошла с Атымтаем новая непредвиденная беда.

Атымтай спал в юрте, когда его неожиданно разбудили стоны за перегородкой. Стонала молодая жена второго табунищика — у нее начались преждевременные роды. Бедняга приехала с очередной машиной провезти мужа и задержалась, занемогла. Но кто мог подумать, что произойдет такое!

В юрте их было только двое — Атымтай и жена табунищика. Ее муж ушел с конями в ночное, а до утра было далеко. Атымтай вспомнил свою Шолпан, своего первенца Сагата... Нет, дожидаться утра невозможно, судьба женщины и ее ребенка висит на волоске.

До центра совхоза нужно было проехать сорок километров. Атымтай вышел седлать коня, но возле юрты остался лишь необученный мухортый жеребец-трехлетка, привязанный к натянутому аркану. Наутро Атымтай собирался, выспавшись как следует, начать его обучение.

Разве необъезженный конь позволит оседлать себя? Мухортый взвился на дыбы. Кое-как накиннув ему на спину одеяло, полусонный Атымтай крикнул женщине, что едет за доктором, и молниеносно прыгнул на коня.

Еще не рассеялась предрассветная мгла. Не приученный ходить под седоком жеребец пугался теней, выступающих то здесь, то там, шелеста птичьих крыльев, шороха пробегающих зверьков и поминутно вставал на дыбы. Все усилия Атымтая сосредоточились на том, чтобы не упасть с коня, добраться живым и здоровым до центральной усадьбы. Попутно он утешался мыслью, что волей-неволей даст этим утром первый урок необъезженному мухортому. Стремясь побыстрее доехать до врача, Атымтай выбрал кратчайший, но не самый легкий путь. Помог ему и мухортый: мчался в сторону от дороги, вверх по холму. Атымтай знал — именно так можно усмирить дикий норов необъезженного коня, дав ему

возможность преодолеть возвышенность. И верно: мухортый перестал буйствовать, перешел в галоп, а после, весь в мыле, двинулся спокойным шагом. Однако пугливость его не уменьшилась. Он прыдал ушами, делал резкие прыжки в сторону.

Атымтай ощутил облегчение, когда вдали замаячил аул. Белые дома центральной усадьбы возвещали наступление утра, купались в радостных лучах только что поднявшегося солнца.

«Добрался все-таки», — подумал Атымтай, и в то же самое мгновение пугливый мухортый отпрянул в сторону и помчался боком. Это заяц, который выпрыгнул из-за кустика и ринулся куда-то сломя голову, напугал коня.

Как ни натягивал Атымтай поводья, как ни пытался окриком остановить мухортого, тот не подчинялся, взбрыкивал и боком уносился в сторону от страшного места. Внезапно он попал передними копытами в какую-то нору и грудью пропахал землю. Атымтай перелетел через его голову.

Длинные поводья были обмотаны вокруг руки Атымтая, и разгоряченный конь протащил его на изрядное расстояние. Лицо, тело полосовали острые сухие травы, сучья, комья земли и камни. Атымтаю казалось, что его швырнули в горящий костер.

Вдруг он ударился головой обо что-то твердое. Искры посыпались из глаз, и Атымтай потерял сознание. В этот миг лопнули и поводья, обмотавшиеся вокруг его руки.

Конь умчался восвояси, и Атымтай остался в степи один.

Когда он очнулся, солнце уже стояло высоко. Почти ползком выбрался Атымтай на дорогу, ведущую к центральной усадьбе совхоза. Ему повезло: он остановил грузовую машину. Шофер отвез Атымтая в больницу, а потом вместе с доктором поехал к юрте, где рожала жена табушника.

Бывают ли раны, которых не излечивает время?

Атымтая и на этот раз вылечили в больнице, но вернулся он домой инвалидом. Не удалось спасти поврежденный глаз — острым сучком был затронут самый зрачок. Пришлось отнять выше колена ногу — треснув-

шая при падении с коня голень не поддавалась никакому лечению.

И все же Атымтай не казнился мыслями, что поступил опрометчиво: жена табунщика родила сына, доктор прибыл вовремя. Раньше, чем ее муж вернулся из ночного. Узнав обо всем случившемся, молодые родители нарекли первенца своего Атымтаем.

Нелегки телесные раны, но не зря говорится: недуги лечит покой и радость. Уходят радость и покой — в дом вползают недуги.

Самую тяжкую новую рану Атымтаю нанесла та, кого он любил всей душой, — Шолпан, жена, мать его сына.

Она менялась прямо на глазах. Если и прежде она не очень-то любила выходить из дому вместе с Атымтаем, часто уезжала с сыном к своим родственникам, то теперь и вовсе стала стесняться мужа-инвалида.

Атымтай грустил, замечая это, но не осуждал Шолпан. Доктор обещал ему заменить черную повязку стеклянным глазом; в Алма-Ате, после примерки, должны были сделать хороший современный протез, который мог сгибаться в колене. И тогда Атымтай снова сможет работать в полную силу; Шолпан всегда будет окружена полным достатком.

Эти мысли вселяли в него веру в свои силы, стремление справиться с постигшей его бедой. Но Шолпан думала иначе.

— Ты прости меня, — заговорила она как-то после обеда, решившись наконец на откровенный разговор. — Я больше не могу оставаться в этом доме.

— Почему? — испуганно спросил Атымтай, не ожидавший таких слов.

— Об этом не спрашивай. Я говорить не буду.

Говорить и не нужно было: все сказал ее взгляд, холодный, убегающий. Взгляд чужого человека.

— И это верно, — медленно произнес Атымтай, — к чему лишние разговоры? Но знай одно: сына я тебе не отдам.

Шолпан задумалась, опустила голову. Атымтай ждал с надеждой каких-то иных слов: взволнуется, поймет, что нельзя так вот сразу рушить семью, обездолить ребенка. Захотелось утешить ее, успокоить, ведь и он сказал это сгоряча. . .

Но Шолпан не нуждалась в утешении.

— Я понимаю,— заговорила она тихо, почти проникновенно.— Понимаю, тебе трудно будет без Сагата, да и ему нужен отец, мужчина. Как я смею разлучать вас?

Атымтай слушал ее, похолодев. Значит, все всерьез. Она уходит.

Шолпан продолжала, не повышая голоса:

— Только согласись, Атымтай, мне трудно будет первое время. . .

Он не мог не отметить этого: «первое время. . .» Следовательно, она надеется довольно скоро устроить свою жизнь. Молодая, наивная. Не понимает, сколько горя может принести и самой себе. Полный снисходительной жалости к ней, он уже готов был пообещать всемерную помощь, пока она побудет у родных. Побудет временно, он не сомневался: слишком невероятным казалось, чтобы самый родной человек вот так холодно покинул его в бедственные дни.

Она сказала после небольшой паузы, пожимая плечами, будто сама удивлялась, что приходится говорить о такой ерунде:

— Поэтому, я считаю, половина вещей тут — мои. Хоть я и не работала в совхозе, но домашняя работа тоже считается. . . Уж не говоря о ребенке, я за тобой ухаживала, готовила, стирала. . .

Взглянув в его окаменевшее лицо, она затараторила взахлеб:

— Ты не имеешь права отказывать. Если бы я не создавала тебе условий, ты не мог бы хорошо работать. Твои заработки, можешь не спорить, зависели и от меня тоже. Это можно доказать по закону. . .

— По закону? — переспросил Атымтай с усмешкой.— Не нужно по закону, забирай все.

Он одел Сагата, с трудом, опираясь на костыли, взобрался в кабину попутной машины и поехал куда глаза глядят. Двухлетний малыш ни о чем не тревожился, просто радовался, что едет куда-то вместе с отцом на машине. Известно, ребенку трудно без отца, но разве не труднее без матери? Малыш восторженно смотрел на дорогу, дергал Атымтая за плечо, за руку, но Атымтай, погруженный в свои унылые мысли, улыбался через силу, ничего не видя. Спихватился он лишь при вопросе

шофера, куда им нужно ехать,— дорога впереди разветвлялась, машина шла в районный центр. Атымтай согласно кивнул — он тоже решил ехать в райцентр. Еще садясь в машину, он стремился увидеть кого-то из близких людей, а самой близкой была для него сестра, Хадиша. Он был виноват перед ней: не желая обидеть Шолпан, давно не навещал сестру, лежавшую в больнице. Верил искренне, будто она виновна в мелочных домашних ссорах с его преданной и бесконечно доброй женой.

Увидев брата и племянника, Хадиша, гулявшая в больничном саду, обрадовалась от души.

— А где же Шолпан? Здорова ли? — встревожилась она.

— Здорова,— коротко ответил Атымтай. Не хватило сил ошеломить больную сестру неприятной новостью.

— Знаешь, я уже скоро поправлюсь,— сказала Хадиша.— Доктор говорил, дней через десять можно забирать меня домой. Передавай привет Шолпан, ей, наверно, трудно управляться одной, скоро я буду рядом, начну ей помогать. . .

— Да, да, конечно,— односложно ответил Атымтай.

Вернувшись домой, он не поверил своим глазам. Правда, не было у него особого богатства, но жил он в достатке, не хуже других, а приехал на этот раз в пустой дом. Все, кроме немногих старых вещей, увезла Шолпан. По словам соседа, едва Атымтай уехал из дому, Шолпан вместе с двумя братьями пригнала машину и погрузила почти все, что было в доме. В спешке кто-то раздавил игрушечную машину Сагата, и малыш, вначале изумленно смотревший вокруг, расплакался от огорчения. Правда, это отвлекло его, и он перестал спрашивать, где мама.

Атымтай вначале расстроился, потом махнул рукой: «Разве барахло дороже семейного счастья? Если дом пошатнулся, фундамент расшатан, к чему все остальное? . . .»

Дней через десять Атымтай снова поехал в райцентр, забрал из больницы Хадишу и только дома рассказал ей правду.

На опыте собственной жизни Атымтай убедился, что

на свете есть гениальный врач по имени Время, который залечивает и самые тяжкие раны. Когда вместе с этим гениальным врачом действует другой лекарь — Труд, человек способен одолеть горести и беды.

Атымтай, трудолюбивый и прежде, Атымтай, о котором говорили, что он горит на работе, готов был теперь выполнять любое дело, откликался на все просьбы, выполнял любое поручение.

Казалось, он вызывал саму судьбу на поединок, хотел рассчитаться за все неудачи, за все допущенные ошибки и просчеты, работая с утра до ночи.

Однажды он пришел к директору совхоза и сказал, что хочет вернуться к прежней своей работе, сесть за руль. Директор взирал на него с молчаливым изумлением. Но у Атымтая на этот случай были уже заготовлены многочисленные примеры, был и главный аргумент: «Не хочу считаться инвалидом, поэтому и вы меня не считайте».

Что можно было возразить против такого аргумента, да и духу не хватило у директора обидеть хорошего работника. Он попытался было пойти на маленькую хитрость: мол, с машинами сейчас туго, повременить придется. Теперь самая нужда в комбайнерах.

«В комбайнерах? — переспросил Атымтай. — Могу и комбайнером».

И смог. Одноногий комбайнер стал знаменит не только в своем районе, но и в области, и за ее пределами. Не потому, что для него делали особые скидки, а, напротив, именно потому, что не было никаких скидок, и, работая наравне с другими, он опережал этих других, молодых, здоровых, сильных. . .

Далеко не все подробности трудной этой жизни знал Кумарбек, но и того, что он знал, было довольно, чтобы ощутить страстную, напряженную до предела внутреннюю энергию, направлявшую действия Атымтая.

Бывают натуры человеческие бурные и чистые, как горная река. Одним из таких людей виделся Кумарбеку Атымтай. Молодой художник представлял себе его жизнь как бы в отдельных полотнах.

«За доктором. . .» Ночь, степь, и на необъезженном коне мчится через степь всадник. Выражение лица всад-

ника, ярость и упрямство норовистого жеребца — все можно передать в одном этом эпизоде. Человеку трудно, он рискует, отправившись в путь, но где-то там другому человеку еще труднее, и это заставляет всадника рваться вперед, осаживая непослушного коня.

«Трудный разговор...» Искалеченный муж и легкомысленная красивая молодая женщина. Он тянется к ней, он не верит в предательство, ловит ее ускользающий взгляд. Она же совершенно спокойна, для себя она все решила и даже не волнуется, произнося слова, жестокие, как приговор.

Конечно, Атымтай не должен знать, что какие-то моменты его жизни могут быть выставлены напоказ. Это могло бы лишь оскорбить его, поэтому в такой работе не должно быть ни малейшего портретного сходства. И герой картины может быть, например, без руки. Тогда подлинный Атымтай увидит в нем прежде всего собрата по несчастью и, возможно, начнет расспрашивать, где повстречал Кумарбек этого человека и как тот перенес свою беду. А потом ото всей души пожелает ему сил и благополучия.

Но вот портрет Атымтая-комбайнера Кумарбек напишет непременно. И даже пойдет на маленькую хитрость, как некий живописец в какой-то старой легенде: он напишет лицо Атымтая в профиль — за штурвалом комбайна такое вполне естественно, — чтобы глаз был виден только один, здоровый.

А где теперь Шолпан? Как она решила устроить свою судьбу? Всегда считалось, что женщины умеют ценить подлинное мужество, и не только считалось, а так оно и есть. Эта — не сумела, не разглядела душевной красоты человека, с которым связала жизнь.

Но растет сын. И через несколько лет он получит право произнести свой суд...

Вот о чем рассказал Купии Кумарбек, пока автобус вез их в аул.

Атымтай был в числе первых гостей, кто пришел поздравить художника-земляка и его жену с приездом.

Старая Макпал, мать Кумарбека, сбилась с ног, готовя праздничный дастархан для дорогих гостей, прибывших столь неожиданно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Судьба Атымтая не давала Кумарбеку покоя ни днем ни ночью. В надежде образумить Шолпан, напомнить ей о святом долге — если не жены, то матери — он хотел поехать к ней, но не решался. Ему пришла в голову мысль посоветоваться с секретарем Акжаном, который слыл душевным человеком, а главное — был другом покойного отца Кумарбека. И вот они у молодой женщины, которая бездумно, как вольный кулан, ушла от своей семьи.

Традиции есть традиции: Шолпан усадила гостей за стол, расстелила дастархан. Можно было подумать, глядя со стороны, будто и в самом деле она не догадывалась о цели этого внезапного визита, а принимала в доме своем добрых долгожданных друзей.

А гости, каждый по-своему, вглядывались в ее красивое оживленное лицо: Акжан — с суровой пытливостью, Кумарбек — с надеждой, что красота внешняя хоть в какой-то мере свидетельствует о душевной тонкости, красоте чувств.

Но лицо Шолпан было безмятежно спокойным, а во взглядах, какие она бросала на гостей, была даже некоторая игривость. Она вела себя как молоденькая девушка, которую пришли сватать. И Кумарбек, знавший характер Акжана, угадывал его нарастающее раздражение.

Взрыв произошел, когда Шолпан вычистила кусочком хлеба нож и бросила хлеб в угол, в мусорное ведро. Впрочем, состояние Акжана заметил один лишь Кумарбек и наблюдал за ним с беспокойством, понимая, какое впечатление мог произвести на того поступок Шолпан.

Но этого было мало: убирая со стола, молодая женщина, будто нарочно, оставшиеся куски хлеба тоже спокойно смела в ведро. Акжан, наблюдавший за каждым ее движением, спросил вполголоса, очень вкрадчиво, что означало у него крайнюю степень негодования, когда человек с усилием сдерживает себя:

— Зачем же выбрасывать хлеб, дорогая?

Шолпан рассмеялась, вскинула брови с наигранным удивлением:

— Ведь хлеб сейчас дешевый. . .

Голос Акжана опять прозвучал мягко, слишком мягко:

— Ну и сколько же он стоит, по-твоему? . . Тот, что ты выбросила.

— Ну. . . копеек тридцать, самое большое. . .

Ничто, ни одна струнка не отозвалась в ее душе, чтобы понять состояние Акжана. Думавшая всегда лишь о себе самой, твердо уверовавшая, что она и есть самое ценное на свете, Шолпан вдруг скромно присела на краешек стула, поскребла пальцами по скатерти.

— Вы думаете. . . Мне теперь материально трудно-ва-то придется?

— Тебе? — Акжан не заметил, как громко прозвучал его голос. — Думаю, да! Как всякому, кто путает цены и ценности. . . Ты хоть поняла, что ты недавно сказала? . .

— Я? — Шолпан была искренне изумлена.

Кумарбек не знал, как успокоить Акжана, уже не скрывавшего своей ярости.

На счастье, в этот момент в дом вошел один из братьев Шолпан, поздоровался, вопросительно глядя на гостей. Акжан рванулся к дверям, Кумарбек — за ним. Машина оставила аул далеко позади.

— Знаешь, — заговорил Акжан, поостыв, — я готов был многое понять — и то, что она покинула Атымтая: молода, боится упустить свое в жизни, устала заботиться о больном. Пойми, я не говорю — оправдать, но понять такое можно. Я бы понял, если бы она меня выставила за дверь, не позволила вмешиваться в ее личные дела. . . Но вот это, с хлебом. . . Что это — наивность, недомыслие? Нет, нет, хуже, много хуже. Как же мы вырастили таких? На той же самой земле, рядом с собой! Откуда эта наглая душевная тупость? . .

Кумарбек молчал, понимая, что это были вопросы, не требовавшие ответа, да и не смог бы он ответить: сам думал о том же. Откуда? . .

Они долго ехали молча, но и без слов Кумарбек понимал состояние Акжана. А у того в ушах продолжали ядовито жужжать слова Шолпан: хлеб дешевый. . . хлеб дешевый. . .

Что можно было внушить этой беспечной, полной

эгоизма женщине? Рассказать, как люди гибли из-за хлеба, как ради него проливают пот? Если она сама ничего не поняла и не увидела, ей и не внушишь ничего. Все kloкотало в душе Акжана, а перед мысленным взором его возникали картины отдаленного прошлого, эпизоды, которые можно было объединить одним словом — «хлеб».

Как посмела она, молодая, холеная, сытая, с таким наглым пренебрежением отозваться о хлебе?..

Детство Акжана было туманно не только для других, но и для него самого. Знает он лишь то, что обрел жизнь в канун Великой Октябрьской революции, а мать его умерла от голода, не найдя и крошки хлеба, прижимая его, шестимесячного, к груди. Малое дитя охрипло и обессилело от плача в объятиях мертвой матери, но тут, на счастье, его подобрала красноармейцы, путившиеся в погоню за белобандитами. Началась детдомовская жизнь малыша, с пеленок оставшегося сиротой.

Позже, когда страна и народ начали налаживать мирную жизнь, из детдома то и дело стали увозить детей. Одних сумели разыскать родители, других — братья или сестры, третьих — дальние родственники. Один за другим уходили товарищи Акжана, и он с надеждой, что придут наконец и за ним, обращался в слух при каждом скрипе отворяемой двери. Но даже будь у него родные, как могли узнать они о его существовании, отыскать его? Сколько ни тосковал ребенок, за ним так никто и не приехал.

Подошло время, и Акжан переступил порог школы. То были трудные годы, голодные, неурожайные. Наверно, ему в детском доме жилось благодаря заботе государства лучше, чем многим детям в семьях.

А там наступила пора совершеннолетия, нужно было получать паспорт. Имя и фамилию Акжану дали его воспитатели, а день и место рождения так и остались неизвестными. Русский парень, паспортист, невысокий, быстрый в движениях, с острым пронзительным взглядом, спросил у Акжана перед заполнением паспорта:

— Где ты родился?

Акжан застыл на месте, не зная, что ответить. Паспортист недовольно посмотрел на него:

— Что молчишь? Забыл?

— Пиши: Атбасар,—произнес Акжан самое знакомое название, потому что в Атбасаре он учился, повзрослел, здесь вокруг него были его товарищи, учившиеся вместе с ним

Таким образом родиной Акжана стал Атбасар.

Ребенок, рано познавший горечь потерь, рос впечатлительным и задумчивым. Правда, он не испытывал нужды ни в еде, ни в одежде, но могло ли это заменить родительскую любовь и ласку, так необходимые детям? Где-нибудь на улице при виде сверстников, радостно бегущих навстречу отцу или матери, Акжан как бы заново переживал утрату близких. И всякий раз это была невыносимая боль.

Но в школе этот печальный, задумчивый мальчик, знавший, что ему не на кого опереться в жизни, был первым в учебе, дисциплинированным. Общественная жизнь школы была его жизнью, общественные интересы — его интересами. Учителя ценили его.

Вскоре Акжана пригласил к себе военком района и направил учиться в артиллерийское училище. После шести месяцев учения он оказался на фронте. Его назначили командиром взвода. В батальоне, где он служил, было двадцать четыре командира орудия, командиром второго орудия стал он. Семь человек находились под его командой — люди разных национальностей. Может быть, именно фронтовая, самоотверженная, кровью спаянная дружба воочию показала молодому командиру, что означают слова «дети семьи единой».

Акжан был в числе защитников Ленинграда, оказавшегося во вражеском окружении. Мог ли он, зная судьбу жителей города, обреченных врагом на медленную голодную смерть, не оценить значение кусочка хлеба!

А в одной из деревень, испытавшей на себе фашистское варварство, Акжан увидел однажды маленькое дитя, которое погибло вместе с матерью, сжимая ручонками ломтик хлеба. Он невольно вспомнил свое детство и оплакал эти две прервавшиеся прекрасные жизни...

Да, он с детства узнал подлинную цену хлеба, которую невозможно определить деньгами, поэтому всю

свою послевоенную жизнь посвятил борьбе за хлебный достаток. Весной далекого пятьдесят четвертого года он своими руками забил колышек первого целинного совхоза в Кезаузе, на берегу реки Тасты, крупного зернового хозяйства с посевной площадью в пятьдесят гектаров, названного Сарыозек. У совхоза было имя, были гектары земли, а его самого еще не было, хотя Акжана величали «товарищ директор».

Чем только не занимался «товарищ директор» в горячую пору создания нового совхоза, освоения новых земель! Забывая о еде, недосыпая, как много успел он за то время! Чего больше в освоении целины — романтики, трудностей или мучений — этого, пожалуй, ни Акжан и никто иной не могли бы сказать с уверенностью. Было и то, и другое, и третье. Все было. Несомненно одно: эта полоса жизни была для Акжана неповторимо яркой, и, глядя на сильного, уверенного человека, умевшего любого подбодрить словом и мягкой, понимающей улыбкой, никто бы не сказал, что перед ним тот самый, печальный, с тоскующим взглядом мальчик из детского дома.

Многие события того неповторимого, горячего времени сберегла память.

В те годы великого похода на целину Акжан однажды едва не оказался на краю гибели. Эта история произошла в начале шестидесятых годов. Он тогда вступил в обязанности первого секретаря райкома. Прошла лишь неделя с начала уборки урожая, Акжан объезжал хозяйства района, как вдруг поступил сигнал о большой беде...

Горел хлеб, хлебное поле. Зрелые колосья пшеницы пожирал беспощадный огонь. Акжан одним из первых бросился на спасение урожая... и очнулся на следующий день уже в больнице. Шрам на его лице навсегда остался как напоминание об этой яростной и страшной ночи, когда люди вступили в поединок с огнем и победили, отстояли выращенный ими священный урожай...

Ни единого слова из приготовленных заранее не сказал Акжан молодой женщине, жене Атымтая.

Выходя из машины, он коротко пояснил Кумарбеку: — Нет, этот разговор был бы мне не под силу. Со-

рваться, понимаешь, я не вправе — решается судьба целой семьи. А сказать ей мне было нечего. . . Между прочим, оказывается, очень это нелегкое дело — быть дипломатом. . .

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Первые недели, проведенные Купией и Кумарбеком в ауле, пролетели быстро в поездках, встречах с близкими и дальними родственниками. Потом время, как это ему свойственно, вместо того чтобы нестись, как на колесах, стало тянуться с медлительностью нагруженного верблюда.

Однажды, когда в доме остались только самые близкие, Кумарбек заговорил:

— Мы здесь все свои, давайте-ка посоветуемся о нашем с Купией будущем.

И понял, что начал этот разговор своевременно. Купия бросила на него быстрый взгляд, глаза ее заблестели: в последние дни она явно томилась. Привыкшая работать изо дня в день, она уже устала от чрезмерного, длительного, как ей начало казаться, отдыха.

— О чем советоваться? — спросила мать Кумарбека Макпал, с удивлением глядя на сына. — Вы в своем ауле, дом тоже свой. Отдыхайте, ни о чем не думая, до следующего лета.

Проведя жизнь свою в тяжком труде на земле, она, кажется, не считала серьезной работой повседневные зарисовки Кумарбека, хотя и гордилась необычной профессией сына. Но Кумарбек лишь с улыбкой отметил это про себя. Неважно, пусть она считает его напряженную работу развлечением, отдыхом — его тревожила Купия.

Но мать продолжала:

— Оставьте вы все дела. Столько лет ты учился, ломал голову. Не успел окончить — поступил на работу. Надо же и отдохнуть немного, раз уж в аул приехали, а? Слава богу, не голодные, не раздетые. Я вас двоих одна сумею прокормить целый год.

— Вопрос не в этом, апа!

— А в чем же?

— Речь идет о том, как нам жить.

— Э, кто тебе мешает жить?

— Апа, радость жизни — не в отдыхе, в любимой работе.

— Это, конечно, верно, — согласилась Макпал, — без работы ходишь как неприкаянный, не знаешь, куда приложить руки. . .

— Потому-то Кумарбеку и легче, — вмешалась в разговор Купия, — у него руки все время заняты. Он и ездит — рисует, и ходит — рисует, и сидя дома может рисовать. А я? . .

— Дорогая, сперва приди в себя, — ласково и растроганно возразила Макпал, за это время еще сильнее полюбившая Купию. — Работа не убежит.

Атымтай, который почти все свободные вечера проводил в доме Макпал, чутко и напряженно вслушивался в разговор. Первые произнесенные им слова, казалось бы, прозвучали и не совсем к месту:

— У нас тут у многих голоса хорошие. . . У молодых.

Но Купия поняла его мгновенно. Спросила быстро:

— Где же они выступают?

Атымтай ответил нарочито медлительно:

— Так, иногда. . . в клубе. Больше стесняются. По домам поют, среди своих. Клуб — это у нас для приезжих артистов. Лекции тоже бывают. Собрания.

— А. . . можно мне послушать ваших молодых? — тихо спросила Купия.

Атымтай, скрывая за сдержанностью радость — он точно угадал, о чем томилась гостья, — ответил:

— Почему же нельзя? Они придут. С радостью, только позовите.

Кумарбек давно не видел у Купии таких сияющих глаз.

— Может быть, прямо завтра? — спрашивала она торопливо. — А инструмент есть в клубе?

— Инструментов много. И народные, и пианино. Только вот прийти, конечно, не все смогут и не сразу. Но придут. Непременно придут.

Когда Атымтай уходил, прихрамывая, тяжело опираясь на палку, Купия с Кумарбеком проводили его почти до самого дома. Возвращаясь, они говорили восторженно о его удивительной душевной чуткости, поминутно вспоминали, как начал он этот разговор, — не проявив Купия интереса, он бы тоже не позволил себе ни пред-

лагать, ни настаивать. Так и прозвучали бы две-три вскользь произнесенные фразы, никого ни к чему не обязывающие, без малейшей тени той назойливости, с какой иногда люди, несравненно более образованные, стремятся навязать свои советы. Вообще оба они давно уже оценили душевную щепетильность Атымтая...

На следующее утро они были в клубе. Купия возмутилась, когда увидела прибитый к роялю замок на грубых металлических петлях, потребовала открыть. Рояль был порядком расстроен.

Кумарбек пошел по комнатам и коридорам клуба, был приятно поражен прекрасным оформлением в чисто народном стиле, но решил кое-что сделать и сам, выбрал стену в одной из комнат и долго задумчиво стоял перед ней, представляя, какую тут можно создать роспись. Правда, сам он этим никогда не занимался, но его вдохновил пример неведомого художника, ярко и талантливо расписавшего другие комнаты и зал клуба...

К полудню на попутной грузовой машине он отправился в райцентр купить для своих рисунков побольше плотной бумаги. Карандаши и краски он привез для себя лично в достаточном количестве, но вот если начать работать в клубе, их явно не хватит.

Он выходил нагруженный из магазина, когда из-за поворота выехала светло-серая «Волга» Акжана и мягко затормозила возле него.

— Ты когда приехал из аула? — спросил Акжан, несмотря на свою грузность, быстро выбравшись из машины и сильно пожимая Кумарбеку руку.

— Несколько часов назад.

— На чьей машине?

— Грузовая ехала в областной центр.

— А что, директор не дал свою?

— Он поехал по отделениям.

— Эх, люди!.. Заставляют гостя поднимать руку посреди дороги! — покачал головой Акжан.

— Ну, не сердитесь, — засмеялся Кумарбек. — Зато я прошелся пешком, много увидел...

— На машине ты бы еще больше увидел, — возразил Акжан. — И вообще так не делай больше. Из Алма-Аты вы приехали — тоже не предупредили, ждали на жаре автобус.

— Сейчас время страды, вот мы и решили никого не беспокоить.

— В сельском хозяйстве каждый день — страда, иначе не бывает. Что же, значит, нужно забыть о долге гостеприимства? Так не годится.

— Больше не буду, — тоном кающегося ученика отозвался Кумарбек, и они оба рассмеялись. . .

— Ака, я очень обрадовался, что наш районный центр так вырос, — сказал Кумарбек. — В мои студенческие годы подобного строительства не было тут и в помине.

— На то есть причины, — ответил Акжан с гордостью, — если припоминаешь, в то время в районе были одни только мелкие хозяйства, а у них какая экономика? Слабая. После того как хозяйства объединились, все пошло по-другому. Ты обратил внимание, какие дома строят теперь в совхозах? Просторные, с удобствами, крытые белым шифером. Только вот директор одного из совхозов Мулик отстаёт, беда с ним. . .

— А мы там в клубную работу решили влезть. . .

— Влезть? Может быть, наладить?

— Ну, неудобно сразу давать такие авансы!

— Что ж, пожалуй, ты и прав, — задумчиво сказал Акжан. — Но вы молодцы, если так решили. Порой от одного толчка зависит немало. Понимаешь, хуже всего — застой, а у них там именно так.

— Почему? Клуб хороший, оформлен прекрасно. . . — Кумарбек хотел продолжать, но смутился, прервал самого себя: — Вы ведь куда-то ехали. Наверно, я задерживаю вас?

— Да я уже возвращаюсь из Амантугайского совхоза.

— Далековато. Как вы успели?

— Отчего же не успеть? Я выехал около шести утра.

— Вы рано сегодня встали!

— Не сегодня, а каждый день так, — вмешался парнишка-шофер.

— А ты сам куда направлялся? — спросил Акжан.

— Хотел зайти к вам, — ответил Кумарбек, — а был в книжном магазине, сделал кое-какие покупки.

— Идем, поговорим по дороге, — сказал Акжан. Он обратился к шоферу: — Поставь машину в гараж, попей дома чаю. Когда будешь нужен, я тебя позову.

Взяв Кумарбека под руку, Акжан дошел с ним до середины разросшегося зеленого парка. На открытой площадке высился памятник, со всех сторон обрамленный цветочными клумбами.

— Это наш Амангельды,— сказал Акжан.

В конце парка, за площадью и памятником Ленину, стояли трехэтажные здания. В одном из них находился райком партии, в другом — Дом Советов, райисполком. Третьим был новый Дом культуры.

— Зайдем? — предложил Акжан.

Они поднялись по широкой прохладной лестнице.

В эти часы Дом культуры пустовал, но дежурная пропустила их. Кумарбек с любопытством осмотрел просторный зал, заглянул в каждую комнату. Эти яркие краски настенных росписей, орнаменты в народном стиле — где он видел их? Ну да, конечно: в совхозном клубе!

— Отгадал,— удивился Акжан. Помолчав, добавил: — А как ты все же догадался? Ведь рисунок-то разный.

— Рисунок разный, а рука одна, одна манера. Художнику нетрудно понять, что это сделано тем же самым мастером. Очень своеобразно, талантливо. Кто он?

— Свой человек,— в голосе Акжана вновь прозвучала гордость, с какой говорил он о родном крае.— Кстати, ты должен знать его. Это Фазыл, из вашего аула.

— Не сын ли аксакала Узака?

— Точно.

— Где же он работает?

— В районном комбинате бытового обслуживания.

— Кем?

— Шофером.

Кумарбек задумался. Ему захотелось увидеть молодого художника, узнать о его планах, возможно, устроить его судьбу. Он обратился к Акжану:

— Нельзя ли его найти?

— Отчего нельзя, можно. Ты когда бы хотел?

— Если удобно, сегодня, хоть сейчас.

— Хорошо. Попробуем поискать. . .

Но, к сожалению, молодого художника не оказалось в районе: он уехал в областной центр. Зато следующим

утром, едва Кумарбек поднялся, он услышал за дверью хрипловатый голос:

— Можно? С приездом, ага! Я — Фазыл, мне передали, что вы хотите меня видеть.

— А-а,— протянул Кумарбек,— так ты и есть сын аксакала Узака? К отцу твоему я заходил по приезде, поздоровался. Проходи, дорогой, садись.

— Спасибо, ничего.

— Ты что, торопишься?

— Разве вы видели шофера, который не торопился бы? Вся наша работа — спешка. Опять нужно уходить в рейс. Но сегодня есть немного времени, с час.

— Это уже много,— обрадовался Кумарбек. — Входи, входи, мне с тобой необходимо поговорить.

Поглядывая на Кумарбека с недоумением, Фазыл вошел в комнату. Несмотря на раннее время, Кумарбек уже был один: Макпал ушла на молочную ферму; Купня, наскоро приготовив завтрак, побежала в клуб.

— Ты, оказывается, художник,— начал Кумарбек, усадив гостя на коричневый клеенчатый диван.

Фазыл, опустив глаза, буркнул что-то невнятное: он опасался, что Кумарбек собирается критиковать его работы. Но тот продолжал:

— Ты — художник, и при этом талантливый!

— Ну, куда нам до настоящего художника,— вовсе сконфузился Фазыл.— Вот, увлекся, теперь отделаться не могу.

— Как это — «отделаться»? Кто же убегает от искусства?

— Не убегают, если оно настоящее,— с трудом выдавил из себя Фазыл.

— Скромность хороша,— возразил Кумарбек,— но рисунки твои, мне кажется, по-настоящему талантливы.

Фазыл испытующе посмотрел в лицо Кумарбеку, как бы желая понять, правду ли тот говорит или шутит. Потом произнес доверительно:

— Не очень-то я верю в это свое искусство. Кто знает, сегодня горишь — получается, а завтра...

— Что — завтра? Что? Поверь в самого себя. Ты — готовый художник, у тебя — природный талант. Правда, есть недостатки, просчеты, но их можно простить из-за нехватки знаний, опыта. Ты молод. Необходимо отто-

чить свой талант, для этого надо учиться, помочь своему таланту раскрыться, дать ему крылья для полета! Талант, скрытый в тени, подобен непробившемуся роднику. Если у тебя есть желание учиться, я помогу поступить...

Фазыл поднял на Кумарбека глаза, и этот взгляд, умный, глубокий, с крестьянской хитринкой, вынудил Кумарбека прервать пылкую свою речь. Он спросил не без смущения:

— Почему ты на меня так смотришь?

— А хозяйство, работа, семья? — сказал Фазыл. — Куда это все девать? У меня четверо ребятишек, старики родители. Спасибо вам большое на добром слове, теперь я буду работать смелее. Мое искусство меня радует, все свободное время я рисую. А как знать, если я стану профессиональным художником, всю жизнь посвящу только этой работе — всегда ли она будет радовать людей? Ведь я буду обязан только рисовать. Обязан! А вдруг не получится? У тех, кого именуют мастерами, всегда ли получается?

Кумарбек задумался. Да, Фазыл во многом был прав. Жене его хватает забот ухаживать за стариками и детьми, поэтому она не работает. Если Фазыл начнет учиться, стипендии ему и одному-то едва будет хватать. Но Кумарбек думал о том, что человек обязан до конца раскрыть и познать свои возможности. Прав Фазыл в своей крестьянской осмотрительности, но эта же осмотрительность нередко становится тормозом для развития истинного таланта. Он заговорил уже осторожнее, боясь показаться чрезмерно восторженным:

— Все же мы придумаем что-нибудь. Бывают курсы самодеятельных художников, выставки. Существует, в конце концов, даже заочное обучение: человек отправляет свои работы, и ему отвечает опытный консультант.

— Ну, мои работы не отошлешь, — улыбнулся Фазыл. — Разве что вместе со стенами.

— А есть у тебя рисунки?

— Есть-то есть, — раздумчиво произнес Фазыл.

— Покажешь?

— Вообще-то я их не показываю, но вам...

— Хорош художник! «Не показываю!» А в общем,

спасибо за доверие. Считай меня своим консультантом. . .

Вскоре после ухода Фазыла вернулась Купия. Прибежала домой на несколько минут достать из чемодана ноты, которые привезла с собой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Прошло всего несколько дней, как Кенжегул, оставив Жамал с детьми в ауле, приехал на курорт Жанжол, но им уже овладело уныние.

Одно только название, что ты на курорте, на отдыхе. Есть, спать, фотографироваться на память вместе с такими же, вроде тебя, отдыхающими — это ли называется настоящим отдыхом? Отдохнуть, считал Кенжегул, означало разгуляться как следует, на свободе, развлечься, провести время с приятной женщиной за бутылкой хорошего вина. У него давно уже выработался свой стандарт, и то, что он именовал любовью, всегда сопровождалось многословным застольем, а вся тяжесть предварительных объяснений падала на тосты, привычные и знакомые, как таблица умножения.

Санаторий же, куда он приехал, не сулил пока что ничего похожего. Не разобрать, кто прибыл сюда отдохнуть, а кто — лечиться. Все казались больными, все разговаривали о врачах, процедурах, болезнях. Даже климат и прекрасную природу обсуждали с точки зрения лечебной пользы. Вскоре даже те, кто был помоложе, стали в глазах Кенжегула выглядеть безнадежными инвалидами, и он совсем сник.

Родилась мысль: не махнуть ли отсюда в Алма-Ату? Уж там бы он не сплеховал! Жамал с детьми — в ауле, дома никого. И есть одна миловидная лаборантка, с которой никак не удавалось поговорить с глазу на глаз. . . Ну, а если тут ничего не выйдет. . . Впрочем, отчего не выйдет? Какая разумная девушка откажется от такого денежного, полезного и уважаемого джигита?

Кенжегул приосанился, уже предчувствуя скорую победу, однако червячок сомнения неприятно шевельнулся в душе: разве не угадывала миловидная лаборантка, что не случайно Кенжегул то и дело попадает на ее пути, заводит якобы деловой разговор, не имеющий

к ней, по сути, никакого отношения. Разумеется, прекрасно обо всем догадывалась, женская интуиция в таких случаях действует безотказно. И не потому ли всякий раз поблизости случался кто-нибудь из пожилых сотрудников или сотрудниц, вступая в разговор, а лаборантка неслышно ускользала?

Ну и не надо, обойдемся. На крайний случай есть старая знакомая — Шекер. Тут уж все наверняка, прочно: весело, лихо и голову ломать не нужно. От кого-то он слышал, будто Шекер зла, хитра, может пройти по головам, чтобы добиться своего. Никогда бы не догадался! А может, просто выдумывают из зависти? У знаменитых людей всегда находятся завистники. Спросили бы его, он бы ответил: жизнерадостная, находчивая, за словом в карман не полезет. Побывать с такой женщиной — одно удовольствие, даже просто поговорить за столом, послушать, как бойко она сыплет шутками. . . Нет, нет, бросить этот санаторий, этот курорт — и в Алма-Ату, к Шекер!

Уныние Кенжегула не укрылось от постороннего глаза. Однажды, когда Кенжегул направлялся в столовую, его догнал старик, живший в соседней комнате.

— Как дела, джигит? — спросил он, хитровато поблескивая зоркими глазками.

— Дела не ахти, аксакал.

— Почему так?

— Причин много. А вообще — разве это курорт? В Алма-атинском курортном управлении нахваливали, будто здесь сущий рай земной, а я как в ад попал.

— Не говори так, милый. Я, например, еле-еле добился путевки. Светлая комната, готовая постель, кормят четыре раза в день. Что тебе еще нужно?

— Много чего нужно, аксакал. Всего не скажешь.

Старик улыбнулся, пожевал губами. Кошачьи усики шевелились, точно он принюхивался осторожно, пытаясь доведаться правды. Потом он сказал, прищурившись:

— Ты что-то сегодня поздно встал. Уж не оттого ли, что нашел усладу в постели?

— Если бы. . . — вздохнул Кенжегул.

— Отчего ж так? Парень ты хоть куда, бог тебя не обидел ни ростом, ни солидностью, да и лицом пригож. Только взяться надо по-настоящему. . .

— За кого братья-то? У всех то коленка болит, то поясница! Они ж сюда поправлять здоровье приехали. Ни одной стоящей.

Кенжегул даже скривился от негодования.

Наделенный от природы железным здоровьем и железной выносливостью, он не признавал никаких болезней и не делал разницы между болезнью и капризами.

— Зачем же ты так? — возразил старик. — У тебя за соседним столом молодуха сидит... С виду совсем неплоха.

— Ой, аксакал, рыба и та теплее! Постарела раньше времени, бесчувственная какая-то. Я с ней заговорил в первый же день — и не слушает ничего, будто решила поститься всю жизнь. А кроме нее я тут подходящих не вижу.

— Тогда суюнши с тебя. Сегодня на курорт приехала настоящая красавица, увидишь за завтраком.

— Не может быть! Когда приехала?

— Я ж тебе сказал: спишь долго. Рано утром приехала.

— Девушка или женщина?

— Кто знает! Может, ты отличишь, а я не могу угадать, какая из нынешних девушка, а которая женщина. Платков все они не носят, а по годам не разберешь, одинаковые, шут их знает.

— Кто бы ни была, лишь бы радовала взгляд.

— Да и тебе не все ли равно, девушка или женщина? Не собираешься же ты себе жену тут искать. А что красивая она, это точно.

— За такую весть вы действительно заслужили подарок. Но сперва покажите эту красавицу — будет вам и суюнши и коримдик, как за показ невесты.

— О ком вспомнишь, того и увидишь. Вон она, гляди. Ну, я пошел, об остальном ты сам с ней говори.

И старик мгновенно скрылся. Кенжегул огляделся по сторонам и увидел стройную высокогрудую женщину, которая вышла из женского корпуса. Кенжегул прикинул, что ей лет двадцать пять, не больше. Красиво подстрижена, платье модное, открытое — значит, думает не только о своих болезнях.

Заметив, что женщина собирается пройти наискосок

от него, Кенжегул двинулся ей навстречу и, поравнявшись, поздоровался, как со старой знакомой:

— Здравствуйте, сестра. С приездом!

Женщина вначале застыла от неожиданности, приоткрылась к Кенжегулу, пытаясь, видимо, припомнить, откуда он ее знает. Но ничего, похоже, не припомнив, сконфуженно пожала протянутую руку.

— Здравствуйте, спасибо.

— Как доехали?

— Благодарю, хорошо,— чуть помолчав, женщина добавила: — Простите, я не знаю вас.

— Не знаете, так узнаете. В новом знакомстве нет ничего зазорного. Как вас зовут? — спросил Кенжегул, все еще не отпуская ее руки.

Такой прямолинейный подход не понравился женщине. Она сердито выдернула длинные пальцы и пошла дальше, громко стуча каблуками. Но Кенжегул не огорчился: «Будь что будет, она догадалась, что я просто хочу с ней познакомиться, и прекрасно. Если вечером пойдет в кино, продолжу разговор. . .»

Разумеется, Кенжегул тут же выкинул из головы мысль уехать в Алма-Ату. Теперь он мечтал познакомиться поближе с новой отдыхающей. Целый день он бродил в ожидании ее встретить, но смог только издали увидеть в столовой. Надеясь, что в кино-то она придет, он долго стоял у входа. Ожидание было не напрасным: до начала сеанса оставались считанные минуты, когда мимо него, вызывая постукивая высокими каблучками, прошла красавица. Он нарочно задержался, глядя ей вслед. Хороша, ничего не скажешь! Стройная, длинноногая, как породистый жеребенок.

Войдя в зал, Кенжегул немного постоял в дверях, чтобы видеть, где сядет молодая женщина. Едва она выбрала себе место в одном из последних рядов, он устремился туда же и опустился на стул рядом с ней. Хотел что-то сказать, но она прижала палец к губам — в зале уже гас свет, на экране замелькали первые кадры. Кенжегул был не на шутку раздосадован: подумать, всякий раз сеанс начинался с запозданием, а тут — минута в минуту. Однако его сильно ободрил ее жест: ведь могла бы просто встать и уйти, не предостерегать так дружелюбно, что следует помолчать.

Вскоре свет в зале опять зажегся — порвалась лен-

та. Воспользовавшись этой минутой, Кенжегул обратился к своей соседке:

— Все же, сестричка, как вас зовут?

— Зачем вам?

— Иногда услышать одно имя дороже, чем знать тысячу!

— Ишь какой говорливый! Не обязательно тебе знать мое имя.

Кенжегул удивился легкости, с какой женщина перешла на «ты». Ему показалось вдруг, будто он ее где-то видел, но воспоминание было смутным, расплывчатым, и он отогнал его, заговорил смелее:

— А если я хочу знать, тогда как?

— Да никак. Услышишь завтра, если знакомые обратятся ко мне по имени.

— Я могу и просто спросить у ваших соседок, но это прозвучало бы гораздо приятнее из ваших уст. . .

— Почему?

— Как — почему? Имя красавицы в ее устах приобретает особую прелесть!

— Ну ты и мастер болтать! — женщина слегка отвернулась, но по лицу ее можно было понять, что комплименты ей приятны.

— Мне нравится ваша живость, — продолжал Кенжегул. — Люблю задиристых девушек. У нас с вами, сестричка, похожие характеры.

— Только у меня язык не так хорошо подвешен. Уж не в газете ли ты работаешь? Как это называется — корреспондент, корректор, — засмеялась соседка.

— Не угадали. За это вы обязаны назвать свое имя.

— А если не назову?

— Имя свое боясь назвать, младшей женой можно стать, — ляпнул Кенжегул, не подумав.

— Что ты сказал, повтори-ка! — Глаза женщины недобро загорелись, она в упор посмотрела на Кенжегула. Красавице нелестной показалась сама мысль, что она могла бы в некие стародавние времена стать чьей-то младшей женой, вынужденной вечно быть в подчинении у жен старших.

На счастье Кенжегула, в этот момент вновь начался сеанс.

— Простите, сестренка, — прошептал он и, пользуясь темнотой, осторожно пожал локоть соседки, как бы в

знак особенно глубокого раскаяния. Она высвободила руку, но не слишком резко.

Свои извинения Кенжегул повторил и после окончания картины, из которой не запомнил ни единого эпизода, потому что занят был мыслями о своей соседке.

— Хорошо, на этот раз прошу,— сказала женщина.— Но если вторично станешь городить чушь, не жди пощады.

— И какая кара меня ждет?

— Пощечина.

— О, так это же не наказание, а подарок! — произнес Кенжегул.— Ощутить прикосновение такой девушки — одно блаженство!

— Вон оно что! Не спеши, получишь свое, я твое желание запомню.

— Но имя, имя...

— Нет, ты настоящий болтун! Дай наконец ушам отдохнуть.— Женщина надулась, но в ее тоне было больше кокетства, чем досады. Разумеется, и это не ускользнуло от внимания хитрого Кенжегула.

— Ладно, не говори имени, но и не злоупотребляй слишком тем, что мне нравятся задиры. Как знать, возможно, ты мне и не понравишься,— сказал он с нарочитой грубоватостью.

— Ха, напугал! Что с нами, бедными, будет, если мы вам не понравимся, ай-я-яй... Сам-то ты такой ли уж стоящий джигит?

— Вы случайно не актриса? — перебил Кенжегул.— Сдается мне, я вас где-то видел.

— Н-нет, к сожалению, таланта не хватило.

— Сомневаюсь. Вы красавы, как актриса, а глаза у вас так и играют.

— А что, неактриса уже и красивой быть не может? Кстати, среди них предостаточно кривых и зеленых, как утопленницы из болота.

— Ну что вы! Даже если попадется одна из сотни некрасивая актриса, она все равно покоряет своим обаянием.

— Тогда и ступайте к своим обаятельным, у меня нет подобных качеств,— на этот раз серьезно обозлилась женщина.

— Сестричка, не сердитесь. Не знаю, как в иных

местах, а у нас в Казахстане я еще не встречал равной вам по красоте.

— Благодарю за комплимент.

— Это не комплимент, а чистейшая правда.

— Знаем мы мужчин, врут и не краснеют. И вы, видать, один из этих хитрецов.

— О, зачем же так, дорогая! — Кенжегулу не слишком понравилось, что его собеседница вновь заговорила на «вы». — Откуда тебе знать мужчин? А я скажу, что никогда не смог бы сказать приятные слова женщине, если она не вызвала моего восхищения.

— Посмотрим.

— Вот и посмотри. Посмотри-ка на меня.

— Зачем?

Они медленно шли к женскому корпусу, но в этот момент Кенжегул преградил спутнице дорогу.

— Зачем? — повторила она с недоумением, вскидывая на него взгляд.

— Ну и глаза у тебя! Будь я режиссером, непременно снял бы тебя в кино.

— Но я же не актриса, сколько повторять!

— Все равно. Чего стоят одни глаза, просто чудо! Я бы снял эти глаза крупным планом и долго показывал на экране. Ух, как они играют! Только ради этих глаз люди валом валили бы на мою картину.

— Ну, джигит, и мастер же ты болтать!

В отличие от Кенжегула, собеседница его не обладала способностью говорить без передышки или особой находчивостью, но ему это и не требовалось.

Они дошли до женского корпуса, миновали вход и некоторое время стояли между танцплощадкой и зданием, разговаривая. Кенжегул, который уже обрел свойственную ему наглость, потянулся было на прощанье поцеловать новую знакомую, но она со словами: «О, какой быстрый!» — зажала ему рот ладонью и исчезла.

Начиная с этого вечера Кенжегул не жалел о времени, проведенном на курорте. И на дневные прогулки, и на вечерние увеселения он ходил теперь с красивой отдыхающей, чье имя — Шолпан — уже на второй день знакомства перестало быть для него тайной.

Посторонние люди подобные вещи замечают быстро: на них косились, о них перешептывались, но разве этим испугаешь Кенжегула? Напротив, ему льстило и это

внимание, и эти разговоры, не хватало лишь одного: удачного момента, чтобы наконец остаться с Шолпан наедине.

И вот долгожданный миг наступил. Курортник, который жил с Кенжегулом в одной палате, уехал на сутки или двое в город, и Кенжегул остался один. Вечером, когда отдыхающие уходят на прогулку, танцуют, смотрят телевизор или сидят в кино, в корпусах не остается ни души. В такое удобное время привел Кенжегул красотку Шолпан к себе в палату.

Он давно готовился к этому вечеру: припас закуски в консервных банках, пару бутылочек коньяку. Когда он пригласил женщину, она последовала за ним легко и уверенно, как объезженная лошадка,— это его слегка удивило, хотелось увидеть немного кокетливой игры. Он мигом включил портативный магнитофон, который обычно возил с собой, накрыл стол — все это с шутками, весело, а сам между тем разглядывал ее, пытаюсь решить, кто же она такая: то ли наивная и доверчивая простушка, забывшая об осторожности, то ли бывалая, многоопытная кокетка, чересчур самоуверенная, а потому давно утратившая чутье.

Впрочем, его это вполне устраивало. Он разлил по стаканам коньяк, искоса наблюдая за ней. Остался доволен, не уловив ни тени смущения.

Когда была опорожнена первая бутылка, Шолпан развеселилась, щеки ее порозовели.

— Слушай, Кенжеке,— шутливо обратилась она к Кенжегулу,— ты холост или женат?

— Как тебе сказать? — задумался Кенжегул.— Я и холост и не холост.

— Как это понимать? Говори правду.

— Если правду, то холост наполовину.

— Не понимаю.

— Знаешь, как у нас говорится: любой мужчина, отошедший на сорок шагов от дома, холостяк. Это, конечно, шутка. Но мы перед моей поездкой крепко повздорили с женой. Не знаю, вернусь я к ней или нет. . .

По обыкновению, Кенжегул врал без зазрения совести.

— А дети? — быстро спросила Шолпан.

— Что дети?

— Сколько их у тебя?

— Один,— фальшиво вздохнул Кенжегул, продолжая врать.— Уже взрослый, женатый.

— Чего же ты вздыхаешь? — спросила Шолпан, не спуская с него глаз.

— Жаль, встретились мы с тобой поздно.

— Ну-ну, Кенжеке,— Шолпан ласково провела рукой по его волосам,— не грусти, это джигиту не к лицу, а ты еще вполне-вполне. . .

— Разве? — спросил Кенжегул, сразу приободрившись.

— Да, и даже очень вполне. Поэтому не грусти.

— А ты представь себе следующую картину,— заговорил Кенжегул с нарочито подавленным вздохом,— скажем, охотник, вышедший на охоту, бродил целый день у подножия гор, но так и не повстречал дичи. Готовый взорваться от злости, он весь заряд выпустил в небо, и вот, когда он под вечер возвращался домой, ему повстречалась белая антилопа. . .

— И он был очень доволен, что может ее не подстрелить, а приручить,— в тон Кенжегулу закончила Шолпан.

— О-о, как ты, оказывается, хорошо умеешь говорить! — удивился Кенжегул.

Шолпан встала из-за стола, но пошатнулась и ухватилась за спинку кровати.

— Кенжеке, у меня разболелась голова, если можно, я отдохну немного,— попросила она,— а вы подите подышите свежим воздухом.

— Ладно, будь по-твоему,— согласился Кенжегул, очень довольный, что она сама подгоняет события. Он погасил в комнате свет, вышел, но тут же вернулся.

— Зачем ты пришел? — спросила Шолпан, встретив его умоляющий взгляд.

— Вернулся посмотреть на твое светлое лицо.

— Вы же смотрели на меня целый вечер,— минутой она пыталась придать разговору оттенок официальности.

— Смотрел при свете. Твое сияние вместе с электрическим светом слепило меня, теперь я хочу, чтобы мне ничто не мешало.— Нагнувшись над постелью, Кенжегул обхватил рукой шею Шолпан и повернул ее лицо к себе.— Когда в комнате светят твои глаза, оказывае-

ся, электричество не нужно. Однако до чего же ты горяча, дорогая! — и он коснулся губами губ Шолпан.

— Не надо, Кенжеке, я отдохну немного, а ты выйди, мы же договорились,— Шолпан высвободилась из объятий Кенжегула и отвернулась лицом к стене.

— Позволь хоть разок поцеловать в губы,— попросил Кенжегул.

— Тогда выйдешь?

— Дашь поцеловать, выйду.

— Ладно,— быстро согласилась Шолпан,— только осторожно, слышишь?

Кенжегул не ответил, схватил ее за плечи и стал целовать, стараясь возможно дольше не отпустить от себя.

— Ой, довольно! — вскрикнула Шолпан, вырываясь.— Я позволила только один разок.

— Дорогая, прошу, не гони меня,— взмолился Кенжегул.

— Ох, джигиты, отчего вы такие настырные?

— Если хочешь знать, отвечу.

— Ну, говори,— сказала Шолпан, которая вовсе не желала его прогнать.

— В далекие времена,— начал Кенжегул,— одного неисправимого вора, который не прекращал своих ночных набегов, несмотря на укору всей родни, пригласил к себе Абай. «Когда же ты выполнишь свое обещание и бросишь эти позорные дела?» — спросил Абай. А вор ему в ответ: «Не был бы сладок куырдак¹, не поступал бы я так...»

— И как это прикажешь понимать? — не без кокетства спросила Шолпан.

— А так, что вор сказал Абаю правду. Ты задала мне подобный вопрос, и я тоже не вправе солгать. В чем еще сладость жизни, как не в поисках удовольствия? Крутишься, изворачиваешься, тянешь ляжку — ради чего? Ради таких вот минут! О, какое блаженство!

— Кенжеке, я что-то плохо себя чувствую.

— Хорошо, тогда отдохни. Я, как ты просила, подышу свежим воздухом.

Шолпан, никак не ожидавшая, что он уйдет, с доса-

¹ Куырдак — национальное блюдо, приготовленное из поджаренных кусочков мяса, легких, печени и т. д.

дой и недоумением посмотрела ему вслед. Кенжегул не заставил себя долго ждать, вернулся обратно так скоро, что трудно было понять, выходил ли он на улицу или просто несколько минут стоял за дверью.

На этот раз он повернул ключ в замке и преспокойно начал раздеваться. Шолпан в платье лежала под одеялом, делая вид, будто ничего не слышит. И лишь когда Кенжегул, приподняв край одеяла, скользнул к ней, она вскрикнула то ли с искренним, то ли с притворным негодованием:

— Ой, Кенжеке, что вы!

— Дорогая моя, душечка,— произнес Кенжегул, еле переводя дыхание,— не гони, дай и мне отдохнуть немного!

— А трогать не будешь?

— Не буду.

— Честное слово?

— Честное слово, дай только поцеловать в губы.

— Нет, в губы не надо.

— Почему?

— Будет заметно.

— Тогда позволь обнять.

— Нет, и не обнимай.

— Это уже насилие,— произнес Кенжегул,— одно из двух ты должна разрешить: либо обнять, либо поцеловать.

— Почему должна?

— Долг обязывает выполнить одно из двух. Знающие люди говорят: загадай у бога два желания, и он одно выполнит. Ты для меня — богиня, так выполни одну из моих просьб. Я мог бы и силком кинуться тебя обнимать, но я не такой, как иные. . . Хотя, возможно, с другой женщиной я поступил бы грубее, но, оказывается, нельзя быть грубым с любимой. Клянусь, я полюбил тебя.

— Неужели? — Шолпан рассмеялась.— Тогда можешь обнять, ты меня разжалобил. Только лежи тихо, ладно?

— Хорошо.

Кенжегул обнял Шолпан, пропустив руки ей за спину. Полежал так, осторожно ласкаясь, затем стал жадно целовать ее в уши, в шею ниже подбородка.

— Не надо, Кенжеке, где же твое обещание?

— Обещание на месте. Я обещал не целовать в губы, значит, не буду,— сказал Кенжегул, а сам в это время начал расстегивать пуговицы ее платья. Шолпан лишь повторяла беспомощно: «Не нужно, Кенжеке, что вы, Кенжеке», не оказывая никакого сопротивления...

Ночь Шолпан провела в комнате Кенжегула.

Утром, одеваясь, она вскользь спросила его, где он работает, но он ушел от прямого ответа. Потом он попытался узнать, откуда она приехала, этот вопрос его занимал еще с той поры, как лицо Шолпан показалось знакомым. Она неуклюже отщутилась, и Кенжегул почувствовал себя не на шутку раздосадованным: «Будь я проклят, если она не из нашего аула! Еще этого не доставало...»

Он поторопился проводить ее до двери и, возвращаясь к кровати, увидел себя в полный рост в зеркале, помятого, со следами укусов на груди. «А ты, bestия, видать, бывалая», — пробормотал он, сам не зная, чего больше в его тоне: восхищения или отвращения к ней...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Акжан проснулся внезапно, как от удара.

Сердце колотилось глухо и часто, и он лежал, стараясь собраться с мыслями, понять, что же все-таки его разбудило: чей-то зов или смутное, тяжелое предчувствие...

Ему почудились слабые, неясные голоса. Он лежал, прислушиваясь, а голоса, усиливаясь с каждым мгновением, растворились в нарастающем беспорядочном гуле. Это был страшный, загадочный гул: он как бы вобрал в себя и грохот готовящегося к отлету самолета, и рев вышедшей из берегов реки, шипение тысячеголового змея, и предсмертный хрип огромного чудовища...

Акжан вскочил с постели и выбежал на улицу.

Холодный воздух колюче ударил в лицо. Все вокруг было погружено во мрак, а сила и напор ветра не давали удержаться на ногах, могли бы свалить и двугорбого верблюда. Не то мелкий дождь, не то острые градинки безжалостно хлестали по лицу вместе с порывами ветра. Пространство между землей и небом, казалось, было забито пылью и грязью, и невиданная доселе буря не

давала открыть глаза. Акжан вспомнил, как накануне вечером выходил на прогулку. У него давно вошло в привычку поздно ложиться и рано вставать. После того как в доме уже все успевали уснуть, он долго еще сидел за письменным столом, просматривая газеты и журналы, заглядывая в книги и справочники, составляя план работы на последующие дни. А перед сном выходил на воздух. Вышел он и вчера, несмотря на позднее время, по впитавшейся в плоть и кровь привычке. На него тягостно подействовала угрюмая мрачность природы, отдаленный разбойничий посвист ветра. Но кто мог предугадать, что погода буквально взбесится за несколько часов? Сводка не предсказывала ничего подобного.

О беспечность, беспечность, живущая у некоторых людей в крови! Теперь она даст себя почувствовать сполна!

Акжан понимал, что дорога каждая минута. Он вбежал в дом и поднял телефонную трубку:

— Алло, коммутатор! Коммутатор, алло! . .

Беда, как говорится, не ходит одна. Коммутатор и не собиравшись отвечать — телефонистки, видно, не привыкли, чтобы их беспокоили среди ночи. Прошло порядочно времени, пока отозвался сонный голос:

— Коммутатор слушает.

— Почему не отвечаете так долго? — Акжан почувствовал, что повысил голос, и мгновенно смягчил интонацию: — Дорогая моя, прежде всего соедини меня с квартирой председателя райисполкома. И не исчезай, соединишь со всеми, кого я буду называть, ладно?

— Хорошо, Акжан Жунусович!

Разговоры Акжана по телефону разбудили его жену. Она поднялась и зажгла свет в спальне.

— Что это ты сегодня преждевременно начал рабочий день?

— Какое там «преждевременно»! Наоборот, опоздали!

— Куда опоздали?

— К скоту. В отары.

— Ничего не понимаю. Может, ты еще не проснулся как следует?

— Дорогая, еще как проснулся! Дело не терпит.

— Какое дело среди ночи?

— Об этом спрашивай не у меня, а у бурана, который налетел не ко времени.

— Буран? Откуда буран летом?

Встревоженная жена бросилась к окнам. Акжан стоял в растерянности, не зная, за какую мысль ухватиться,— будто бесчисленные, скрытые в туманной дали разветвления дорог звали его в разные стороны, но при слове «летом» он мгновенно взял себя в руки, посмотрел на часы, потом на настольный календарь. Часы показывали четыре утра. На календаре стояло двадцать девятое сентября.

Быстро одевшись, он выбежал на улицу. Нелегко было добраться до здания райкома, где должны были собираться разбуженные им люди. Буран бесновался вовсю, рвал одежду, сбивал с ног, яростно хлестал по лицу. Невозможно было раскрыть глаза, идти приходилось буквально на ощупь, держась за ограды и стены домов. А на джайляу, отдаленных горных пастбищах, думал он, чабаны сейчас вдали друг от друга и от зимовок. У некоторых из них нет укрытий, помощника. Как быть? Как спасти людей и скот?

Члены бюро райкома и ответственные работники района совещались недолго. В тот же день, невзирая на непогоду, разъехались они по разным направлениям. Машина Акжана была в ремонте, да и трудновато было бы на ней пробиваться сквозь буран, поэтому он взял один из вездеходов на автобазе. Решив не терять времени, шофера дожидаться не стал, сам сел за руль.

Акжан с детства был знаком с техникой, отлично ориентировался на местности, хорошо знал дороги, и к рассвету добрался до директора совхоза Мулика.

На своем веку видел Акжан и одуряющую жару, и мороз, каленым железом стискивающий лицо, познал сладость и горечь судьбы, ливни и бури. И все же тако-го, чтобы в сентябре посыпал снег и задул буран, он не видел. Правда, невозможно положиться с уверенностью на погодные условия Арки, этого района Казахстана, подобного бесхарактерной женщине, сорок раз в сутки меняющей свое настроение.

Изучив нрав северной природы, Акжан еще до окончания уборочной страды следил, как идет подготовка к зимовке. И руководители большинства хозяйств, знав-

шие настойчивость секретаря райкома, не находили покоя, пока не доводили дело до конца. В этом году сена было заготовлено с избытком, скотобазы отремонтированы своевременно, дома для животноводов приготовлены. Казалось, все в порядке! Между тем буран поставил под удар даже лучшие хозяйства района.

Беспокоило Акжана и другое: в некоторых совхозах часть кормов, своевременно заготовленных, не была доставлена к местам зимовок скота. Сколько бы ни торопил, сколько бы ни настаивал Акжан, находились люди, чья беспечность оказывалась неодолимой. И первым среди них был директор совхоза Мулик. Будь воля Акжана, он давно постарался бы подыскать для этого медлительного, неорганизованного человека иную работу, но Мулика поддерживали сверху, считали, что он молод, его следует воспитывать.

И вот, сдерживая внутреннюю ярость, Акжан вспоминал свои встречи с Муликом в течение лета, беспечные ответы Мулика: «Чего спешить? Еще успеем». И русскую поговорку, которую тот очень любил, но вечно приводил не к месту: «Поспешишь — людей насмешишь!»

А ведь Акжан потратил на него много больше времени, чем на других. Убеждал, как учитель нерадивого ученика. Доказывал, отчего он всех так торопит.

Мулика Акжан застал в конторе, подавленного и растерянного. Кинув на секретаря райкома затравленный взгляд, Мулик рассказал, что с ближайшего пастбища прибежал мальчик, сын чабана. Пропала его сестра. Он умолял людей отправиться на поиски. Девушка вышла по воду, но тут начался буран, и она, как видно, заблудилась. Мальчик твердил, что она погибнет, если не начать поиски немедленно. . .

По состоянию Мулика Акжан понимал, что тот готов сам немедленно броситься искать девушку. Он метался по кабинету, повторяя два слова: «Кто знал. . . кто знал. . .»

Возможно, было самое время сказать Мулику, что иногда просто нужно предвидеть, поскольку знать все невозможно. Но, глядя на его потерянное лицо и мрачные лица людей, собравшихся в кабинете, Акжан заговорил о другом. О необходимости подумать, как спасти положение. Как организовать поиски девушки. Конечно,

приходилось выждать, пока хоть немного утихнет буря, однако всю подготовку нужно провести немедленно.

Давний опыт руководящей работы показал Акжану, что существует два типа руководителей. Одни, когда случается беда, бросают все силы на поиски виновников и, случается, этим и ограничиваются. Другие с первых минут изыскивают возможности поправить беду, находят, исправляют, нередко силами в первую очередь тех самых виновников, которые в иных обстоятельствах ушли бы в сторону и только жалко оправдывались.

Отнюдь не считая, что виновные всегда могут оставаться безнаказанными, Акжан тем не менее предпочитал второй тип руководителей, а потому и сам уже настолько прочно усвоил этот метод руководства, что попросту иначе не мог.

Мулик, глядя благодарными глазами, выслушал все указания и вышел, чтобы, в свою очередь, отдать необходимые распоряжения.

Пришел в контору Кумарбек, тоже проснувшийся в полночь. Он искренне обрадовался, увидев Акжана, хотел что-то сказать, но тут на пороге, осторожно ступая, появился бухгалтер Нагим. Прижимая руку к груди, он пояснил, что у него к секретарю райкома дело на несколько минут, всего лишь на несколько минут. Он даже показал на пальцах, какой небольшой отрезок времени отнимет у товарища секретаря райкома.

Кумарбек вышел в коридор.

Нагим, и верно, не задержался долго. Когда Кумарбек вошел вновь, Акжан сидел, склонившись над какими-то бумагами. Ироническая усмешка играла на его губах.

— Каков бухгалтер, а? — сказал он. — Решил, что момент самый подходящий, и принес мне компрометирующие сведения на директора. Я и сам знаю, что с Муликом давно нужно разобраться и вклеить ему стоит по первое число, но этот Нагим такого вот Мулика десять раз вокруг пальца обведет. Ах, хитрец, хитрец!..

Акжан убрал бумаги в свою папку.

— А что вы их не выкинете? — наивно спросил Кумарбек.

— Нет, так нельзя, — нахмурился Акжан. — Разобраться все равно необходимо. Тут цифра на цифре. На-

гим говорит: приписки, а держится будто ревизор, впервые эти приписки обнаруживший. Мне думается, сам-то он много ловчее Мулика. . .

. . . Лишь на третий день, когда спала вьюга, была восстановлена связь с областью, и два вертолета, прибывшие из областного центра, отправились на поиски заблудившихся животноводов и скота.

К счастью, не погибла семнадцатилетняя дочь чабана. Потеряв дорогу во время бурана, она наткнулась на скирду сена, стоявшую в укрытии у горного склона. Девушка забралась глубоко в сено, а едва буран немного утих, отыскала шест и подняла его над скирдой, привязав к нему свой шарф. Так ее и нашли по белеющему над скирдой шарфу.

Три дня и три ночи во время этого бедствия не спал Акжан. Да и для Мулика трое последних суток означали больше, чем в иное время недели и месяцы.

Серьезный предварительный разговор состоялся у него с Акжаном по поводу бумаг, принесенных Нагимом. Бухгалтер стремился показать свою непричастность к попыткам Мулика нарисовать, вопреки действительности, картину полного благополучия в хозяйстве. Мулик, разумеется, и прежде понимал, что беспечность не стоит выставлять напоказ, и пытался ее всячески маскировать, уж конечно не без помощи и советов своего хитроумного бухгалтера.

Лишь на третьи сутки Акжан смог уснуть, да и то, по привычке, поздно.

Выйдя утром из дому, он посмотрел на небо. Оно было ясным. Все вокруг дремало, отдыхая после буйства непогоды, покрытое белым снежным одеялом.

Неподалеку от райкома, в парке, на высоком постаменте высился отлитый из бронзы памятник Ленину. Секретарь райкома на несколько минут задержался у памятника. Кареглазый, с проседью в волосах, усталый, но энергичный человек, один из партийных руководителей республики, как бы отчитывался мысленно перед основателем Коммунистической партии и государства во всем, что было сделано за эти трое невыносимо трудных суток.

Мог ли предположить Акжан, что за эти три дня в его собственной жизни произойдет событие настолько страшное, какое не могло привидеться и в самом кошмарном сне? Он потерял сына.

Его единственный, недавно женившийся сын Абдеш с отличием окончил Зооветеринарный институт в Алматы и вернулся в свой район.

Месячный отпуск после окончания учебы подошел к концу, и молодым предстояло уехать в Сарытогай, к месту работы Абдеша.

Хорошо запомнился Акжану тот решающий разговор перед отъездом сына.

— Дорогие мои,— сказал Абдеш, поочередно бросив взгляд на отца и мать.— Если разрешите, я хочу с завтрашнего дня приступить к работе.

— Это хорошо,— сказал Акжан ласково.— Отделение ваше — одно из труднейших. Если заранее не подготовитесь к зиме, придется плохо.

— Ты это что, всерьез? — вмешалась жена.— Неужели они переедут в Сарытогай? Не надо бы отправлять их в такую глушь.

— Ведь у него назначение,— тихо сказал Акжан.— Абдеш сам пожелал туда, где труднее. Уже есть приказ управления.

— Ойбой, управление-то подчиняется тебе! — воскликнула жена.— Неужели для нашего сына в райцентре не найдется места? Оставьте их здесь...

— Мама, выслушай меня,— перебил Абдеш,— негоже мне прятаться за спину отца. И не верю я, что можно стать человеком, если начинать в жизни с поиска легких дорожек.

— Жеребеночек мой, ну отдохнул бы еще хоть несколько недель! — умоляюще произнесла мать.

— Несколько недель? Да кто же даст мне такой отпуск? — засмеялся Абдеш, обнимая мать.— Я должен приступить к работе, пора. И не обижайся, мама, слышишь?

— Не знаю, жеребеночек мой, решайте сами,— сказала мать, глядя на сына и невестку.

На второй день после этого разговора Абдеш уехал в Сарытогай, расположенный в двухстах километрах от

районного центра. Регулярно родители получали от него письма. Акжан знал, что молодой специалист вскоре после приезда зарекомендовал себя с лучшей стороны. Абдеш, который все тяготы суровой зимы переносил вместе с животноводами отдаленных участков, как-то выехал в район реки Жыланлык.

Степь, ветер. Вокруг белым-бело. Ночной трескучий мороз еще не спал. Абдеш, чуть свет севший на коня, повернул к одинокой юрте табунщика в степи, чтобы там обогреться немного.

Молодой табунщик, истосковавшийся по человеку, очень обрадовался.

— Как дела, дорогой? — спросил Абдеш, здороваясь.

— Неплохо, — сказал табунщик, поднимая покрасневшие от бессонницы глаза. — Только вот трудновато, что я тут один.

— А где же твой напарник?

— Сами знаете, я помощник. Старший табунщик уехал в аул переодеться, привести себя в порядок. Договорились, что еще вчера он должен был вернуться, да вот что-то запаздывает. Наверно, будет сегодня. Заходите в юрту, попьем чайку, придем немного в себя. Я тоже закоченел, все на коне да на коне.

Привязав лошадей, они вошли в юрту, разогрели чай. Оказавшись в тепле, табунщик совсем разомлел, глаза у него слипались. Несмотря на это, он поднялся, чтобы опять ехать в табун.

— Скажи правду, дорогой, — обратился к нему Абдеш, — сколько дней ты не слезаешь с коня?

— Сегодня четвертые сутки, — ответил тот со вздохом.

— Тогда в табун поеду я. Ты до завтра отдохни как следует.

— Ну что вы! Вы же гость! Я сам. . .

— Нет, так не выйдет, — отрезал Абдеш. — Я полон сил, а тебе необходимо отдохнуть.

Не слушая смущенных возгласов табунщика, Абдеш сел на коня и не спеша погнал черного иноходца, на котором стал ездить с осени. Перевалив за сопку, он увидел большой табун. На ровной степи, сплошь укрытой снежной пеленой, не было ни одной неровности, на которой мог бы задержаться взгляд. Не было ничего

живого, кроме большого табуна, который с храпом паса, копытами взрывая снег. Белая пыль вихрилась вокруг. Абдеш задумчиво смотрел вдаль, покачиваясь на спине иноходца.

Мысли Абдеша прервало громкое лошадиное ржание. Абдеш оглянулся.

Перед скучившимся встревоженным табуном стоял огромный белогривый жеребец. Сильно чем-то обеспокоенный, он задвигал ушами и еще несколько раз заржал громко, на всю степь. Абдеш понял, что белогривый жеребец тревожится не зря, он либо чувствует волка, либо предупреждает об изменении погоды.

Мороз усилился. Налетели порывы ветра. Вскоре пошел густой снег. Поднявшийся неожиданно буран вовсю набирал силу. Началось подлинное светопреставление.

Абдеш поскакал за убегающим табуном. Возбужденные животные не слушались его и не поворачивали обратно. Абдеш продолжал что было силы бороться с табуном, уходившим прочь под напором ветра. Слыша ржание белогривого жеребца, Абдеш понял, что необходимо догнать его. Высоко подняв гордую голову, тот уходил во главе табуна. Не упуская его из виду, Абдеш поскакал в обход общего потока и, размахивая длинным березовым куруком, заставил белогривого повернуть обратно. Словно лишь этого и ожидая, плотный поток животных ринулся за ним следом. Постепенно Абдешу удалось согнать весь табун к затишливому склону Майдамтала. Изрядно измученный, Абдеш только было перевел дыхание, как белогривый вновь заржал тревожно. Жеребец, весь взмыленный, сам загонял в табун пытавшихся вырваться молодых коней, но тщетно...

Во главе с каурым скакуном они отделились от табуна и уходили к реке. Абдеш, хлестнув плетью своего Акбака, настиг коней у берега. Он пытался гнать их назад, к табуну, но кони упрямо шли берегом реки все дальше и дальше. Еще немного — и они свалятся с обрыва!

Абдеш поскакал наперерез возбужденным животным прямо по льду. Он был уже близок к тому, чтобы перехватить их, как вдруг вместе с конем провалился в полынью.

Акбакай то выскакивал, то погружался в воду, ста-

раясь вырваться на сушу. Наконец это удалось ему. Или полынья была неглубока, или конь обладал недюжинной силой, но он сумел зацепиться копытами за твердую землю. Выскочив на берег, Абдеш спрыгнул с коня, сорвал с себя полушубок, надеясь просушить его на ветру, но из этого ничего не вышло. Он промок насквозь, одежда в мгновение ока оледенела. Шерсть на Акбакае смерзлась в ледяную коросту, конь весь дрожал, то ли от страха, то ли от холода.

Да и сам Абдеш дрожал как в лихорадке.

Едва передвигая оледеневшие ноги, он достиг деревьев, росших на окраине Майдамтала. Отвердевшая одежда жестким панцирем сжимала тело. Казалось, кто-то безжалостный пытается переломать кости, стискивая их железными обручами.

Шатаясь, не в силах владеть своим отяжелевшим телом, Абдеш, падая, успел обнять тальник в попытке удержаться на ногах.

Белая пурга, соединившая небо с землей, продолжала бесноваться три дня и три ночи. Люди, отыскавшие Абдеша после пурги, не смогли разнять его заледеневшее объятие. Было трудно даже сдвинуть его сползшую на лоб шапку. А табун теснился перед телом Абдеша, как будто ничего не произошло...

В эти тяжкие дни пришлось Акжану проводить и особенно трудное бюро, на котором решалась судьба Мулика.

Долгий это был и мучительный разговор, оставивший чувство неудовлетворенности. Трудно было понять, по-настоящему ли Мулик осознал свои ошибки или просто напуган возможностью потерять должность, уважение окружающих. Слишком он легко обещал, слишком торопливо каялся. И все же было решено дать ему время для исправления совершенных в хозяйстве ошибок.

Абдеш, Абдеш... Лицо его и днем и ночью возникало перед мысленным взором Акжана. Деталь за деталью восстанавливал он подробности гибели сына. Оказывается, сыновей теряют в сражении не только на войне...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Истосковавшись по столице, Купия и Кумарбек задумали с наступлением весны вернуться в Алма-Ату, и все же родные сумели их удержать. Макпал волновалась за Купию, хотя та уже не жаловалась на здоровье, выглядела окрепшей. Вдыхать чистый воздух, пить медовый майский кумыс — вот самое верное лечение, доказывала Макпал. Неспроста говорили наши предки: «Там, где хороший воздух и хорошая пища, нет места болезни».

Родные приводили уйму подобных поговорок. Атым-тай слезно, как брат, просил остаться, и Кумарбек с Купией не могли отказать им. «На доброе слово не откликается только бесчестный» — это понятие они впитали с материнским молоком, да и правоту близких нельзя было не почувствовать.

Кумарбек целыми днями был погружен в работу. Он сделал для себя множество зарисовок и этюдов, написал несколько портретов Героев труда, а попутно занялся оформлением клуба. Но его не покидало сознание, что Купия тоскует по своей работе, день ото дня теряет веру в собственные силы.

Радовали ее лишь концерты самодеятельности в совхозном клубе, которые она уже несколько раз сумела организовать. Как Кумарбек открыл художника в молоденьком шофере, так Купия старалась расшевелить молодежь, научить ребят и девушек, прекрасно умевших петь у себя дома, не бояться сцены и зрителей. И это ей удавалось, но далеко не всегда. В немалой мере дело зависело от наплыва работы в совхозе. Случалось так, что ее молодые самодеятельные артисты были заняты с утра до вечера, и она часами просиживала в клубе одна. Правда, она научилась себе аккомпанировать, и время для нее не пропадало даром: каждый день, проведенный в клубе, становился репетицией. Она повторяла любимые песни, арии из оперных партий — знакомых, но еще не спетых на большой сцене.

Зима в этом году была затяжной, принесла немало бед, и весна заставила ждать себя долго. Однако не зря говорится: «Долгожданное и радует сильнее». С наступлением поздней весны снег дружно растаял, неожиданно быстро потеплело, и скот можно было вывести на пастбище. Мать-природа нежно и щедро дарила тепло

всему живому, расцвела буквально в один день, как бы говоря: «Довольно продержала я вас в тисках долгой зимы, теперь вознагражу за все».

Купия и Кумарбек перебрались в юрту, воздвигнутую на берегу Байгабыла.

В такие хорошие весенние дни на берегу полноводной, густо-зеленой реки в юрте, полной чистого воздуха, спалось крепко. Купия и Кумарбек ловили рыбку, катались на лодке, несколько раз ездили в степь к овцеводам, спускались к табунщикам. Кумарбек не выпускал из рук блокнота. С особенным удовольствием в эти дни он рисовал резвившихся жеребят, восхищаясь красотой их движений, стараясь поймать неожиданные, трудные для воспроизведения ракурсы.

На берегу реки они прожили до июня. Воздух становился горячее, уже чувствовалось жаркое дыхание лета. В один из таких дней приехал Мулик. Поговорив о травостое, об упитанности скота, о погоде, Мулик, вдруг оживившись, спросил:

— Кстати, вы, по-моему, должны знать певицу по имени Шекер?

— Вы — о Сармановой? — сказал Кумарбек.

— Да.

— Конечно, знаем. Она работает вместе с Купией.

— Она приехала в нашу область на гастроли.

— Неужели? — вздрогнул Кумарбек. — Кто вам сказал?

— Сегодня утром по радио слышал, в последних известиях.

— Значит, она приедет и в этот район? — вмешалась Купия.

— Приедет, — сказал Мулик с уверенностью. — Просто не знаю, как и быть. Ведь артисты — это такой народ... Вмиг всем закрутит голову. Работа, хозяйство — сразу побоку: любители веселья и у нас в совхозе найдутся, скот и сено забудут — помчатся в райцентр, как услышат, что артисты прибыли! Да еще возни всякой будет: пристанище им нужно, транспорт, и не какие-нибудь, а первосортные. Попробуй угоди им. И без того голова от забот пухнет, а тут новые свалились...

— Ладно, ладно, зачем выдумывать светопредставление? Если народ часа два или три послушает хорошую музыку и песню, от этого работа не станет. Наоборот,

отдохнут люди, порадуются и бодрее возьмутся за дело. Нельзя забывать, что и радость, и веселье — такая же необходимая часть жизни, как и труд, — Кумарбек начал было шутливо, но при последних словах нахмурился.

Мулик не успел ответить. Послышался шум мотора — легковая машина остановилась за юртой, громко стукнула дверца, и на пороге юрты показался Акжан.

— А, вот он, наш директор, которого днем с огнем не отыщешь, — воскликнул Акжан. — Оказывается, он тут отдыхает на лоне природы!

— Хоть вы и шутите, но я, между прочим, не отдыхаю, — возразил Мулик. — Одна из многих моих обязанностей — заскочить иногда к гостям, которые приехали в наш аул, узнать про их самочувствие.

— Вот и прекрасно. Тогда готовьтесь встретить еще одного гостя, вернее, гостью.

— Что за гостя? Вы говорите про актрису из Алматы?

— Да, именно.

— Имя ее — Шекер, фамилия — Сарманова.

— Точно. Откуда ты узнал об этом?

— Слышал и по радио, и от людей. У народа слух острый.

— Прекрасно, готовиться начинай тотчас. Гостя, приехавшего издалека, и встретить надо как следует. Пусть уедет от нас довольная.

— Когда она приезжает?

— Завтра будет в райцентре. У тебя — послезавтра.

— Может, хотите, чтобы юрту воздвигли на берегу Байгабыла?

— А что? Совсем неплохо.

— А я думаю — не нужно.

— Почему?

— Нелегко будет обслуживать ее. Я слышал, вместе с ней приезжают пять или шесть музыкантов, с ними-то проще, а вот с певицей — беда!

— Почему?

— Говорят, баранину она не ест, в юрте не ночует, в низких аульных домиках — тоже.

— Где же она тогда будет почевать?

— Почему я знаю? Когда она была в соседнем рай-

оне, то ночевала один раз в клубе, а другой вообще в машине.

— Да откуда ты все это взял? — начиная сердиться, спросил Акжан.

— Вчера в наш совхоз приезжали из соседнего района, вот и рассказали.хлопот с этой певицей не оберешься. Юрта, специально для нее поставленная, так и пустовала. Баранину она не ела, кумыс не пила — все оказалось не по ней.

— Постой, постой... Как же нам быть? — Теперь и Акжан выглядел растерянным.

— Да мы просто спросим у алма-атинцев, которые приедут вместе с ней! — вмешалась в разговор Купия. — Возможно, это и правда, что Шекер не ночует в юрте, не ест баранины и не пьет кумыса, но не стоит осуждать ее за это. У творческого человека бывают свои особенности. Шекер — женщина. Как-никак она в возрасте. Думаете, легко, проехав немалое расстояние по такой жаре, оставаться в форме, исполнять песни перед народом? Вот и приходится есть разборчиво, отдыхать на свежем воздухе... Что тут зазорного?

— Верно, верно, — заметил Акжан. — Если человек, которому надо выходить на сцену, начнет ежедневно наедаться баранины и напиваться кумысу, он, пожалуй, и петь не сможет!

— А все-таки что для нее готовить?

— погоди, не торопись, — сказал Мулику Акжан. — Готовься к встрече, как всегда. Ты что, гостей раньше не встречал?

— Значит, воздвигну юрту и нажарю баранины.

— Ставь юрту, жарь баранину, соблюдай все обычаи. Не забудь про курятину, про минеральную воду... В общем, не мне тебя учить. Помни только, что сегодня вечером мы будем ее встречать на границе с соседним районом. С этого времени она — наша гостья, смотри не попади впросак...

На зеленой траве около юрты расстелили ковер и одеяло, и когда все, сидя под открытым небом, обсуждали подробности предстоящей встречи, подъехала еще одна машина. Это прибыли Макпал, Атымтай, Фазыл и Хадиша. Купия, радовавшаяся и приезду Акжана, развеселилась как дитя.

— О моя родная, как хорошо вы сделали, что при-

ехали,— говорила она, обнимая Макпал. Хадишу, которая застенчиво поклонилась ей, Купия несколько раз поцеловала, прижав к груди. Глаза Купии сияли, восторженное выражение не сходило с лица, как будто вся природа вокруг расцвела для нее необычно яркими, радужными красками.

Солнце, густо пламенея, как раскаленный медный таз, тяжело клонилось к горизонту. Вся западная сторона неба полыхала отсветами солнечного пламени. Сверкающая полоса легла на воду, напоминая лунную дорогу, и это прекрасным и странным образом соединяло уходящий день с наступающей светлой весенней ночью...

Клубящиеся облака на темнеющем небе напоминали табун лошадей, бегущий вдоль берега реки, и розоворыжим отсвечивали лоснящиеся бока двух привязанных неподалеку жеребят.

За юртой, на земляном очаге, булькали два черных кипящих казана — это Макпал и Хадиша занялись хозяйством, варили привезенное с собой мясо. Большой самовар, не в силах противостоять накалу углей, пытел, с трудом переводя дыхание.

— Ты сегодня такая радостная,— с улыбкой сказала Хадиша, протягивая Купии чашу кумыса.

— Как же не радоваться? Если не оценишь вовремя счастливые минуты, после не однажды придется тосковать по ним...

— Купия, дорогая, мы давно не слышали твой голос. Не спела бы ты для нас? — попросил Атымтай.

— Да, да, мы соскучились по твоему голосу, тате! — звонко воскликнула Хадиша.

— Это еще ничего, вот когда она уедет от нас в Алма-Ату, тогда заскучаете по-настоящему, — вздохнула Макпал.

— Нет, теперь я буду приезжать часто, — быстро возразила Купия, — мы наладим в клубе работу по-настоящему...

Макпал опять вздохнула и недоверчиво покачала головой.

— Спой, милая, не стесняйся. Чужих тут никого нет, все свои, — тепло сказал Акжан, заметив, что Купия, собравшаяся было петь, умолкла внезапно.

— Наверно, стоя тебе будет удобнее,— сказал Кумарбек.— Ты встань.

Купия легко поднялась с места и выпрямилась. Задумчивый, углубленный внутрь взгляд ее скользнул по темной глади реки, по лицам слушателей. Чутьку прикрыв веки, она вдохновенно затянула любимую свою песню «Малыш». Нежный голос певицы, прозвучавший поначалу как бы издалека, становился громче, набирал силу.

Люди слушали песню в глубокой тишине, затаив дыхание. Даже мягкие всплески воды у берега, казалось, стали вкрадчивее, осторожнее, будто безудержно льющийся чистый голос незримой нитью связал людей и природу. Он прозвучал на самой звонкой, высокой ноте и плавно стал затихать, как бы истаял в вечернем воздухе, уплыл и последний звук вслед за гаснущими в небе облаками.

И люди зашевелились, перевели дыхание. Но тут же стали просить Купию спеть еще, и она, переполненная радостью и благодарностью, пела песню за песней.

Искусство, талант, творческая сила способны придать красоту даже некрасивому человеку. А изящная, миловидная Купия была в эти минуты поистине прекрасна — нежное тонкоствольное деревце на берегу затихшей реки. Кумарбеку она показалась в своем светлом платье, с раскинутыми руками похожей на лебедя, плывущего в небе.

Она запела «Соловья» Латифа Хамиди, сложную для исполнения, но любимую ею песню. Прозвучали первые строфы, за ними шел самый сложный припев, который требовал тонких переливов, такого голосового многоцветия, как будто мелодия лилась одновременно из тысячи горл... Но Купия вдруг поперхнулась, закашлялась, буквально задохнулась в кашле. Люди, встревоженные, сорвались со своих мест, окружили певицу. Кумарбек, поддерживая ее за локоть, усадил на стул, стоявший возле юрты.

И тут, словно попросив послушать и его песню, поблизости горестно прокричал лебедь. Одиноким, оглашая окрестности плачем, лебедь пролетел в сторону озера. Кумарбек с невольной дрожью склонился к Купии, охватил ее за плечи. Она все кашляла, не в силах остановиться.

— Что с тобою, душа моя? Не заболела ли? Береги себя,— первой заговорила Макпал, когда Купия немного пришла в себя.

— Родная моя, видите, я не могу петь! Не могу петь, Какое несчастье! — расплакалась Купия.

— Не надо, милая, не плачь, успокойся,— тихо сказал Акжан.

— Если я больше не смогу выйти на сцену, для чего мне жить? — проговорила Купия, едва сдерживая рыдания.

— Что ты говоришь! — в испуге всплеснула руками Макпал.— Уши у святых иногда бывают закрыты, а иногда открыты. Не желай плохого, душа моя!

— Нет, нет,— рыдала Купия,— лучше угаснуть, чем потерять искусство! Если существует судьба, я попросила бы ее взять в свидетели заходящее солнце, всех родных и близких вокруг и просила бы одного: «Верни мне мое искусство, а если нет — возьми и меня в придачу!»

— Замолчи, не говори так, дитя мое! — воскликнула в отчаянье Макпал.— Жизнь дороже всего. Не просят же смерти и не умирают другие из-за того, что не способны петь.

После этого взрыва чувств все торопливо разъехались, расстроенные и удрученные, предоставив Кумарбеку возможность самому утешить и успокоить Купию. Она все еще сидела на стуле у входа в юрту. Кумарбек опустился у ее ног, с бесконечной нежностью гладил ее тонкие руки, и постепенно эта тихая ласка успокоила Купию.

Кумарбек понимал ее состояние, искал и не находил слова, какие могли бы подействовать благотворно. С благодарностью подумал он о своей профессии: она требует многого от него самого, но у него есть множество инструментов, помогающих ему в работе. В конце концов, он, как и любой иной художник, способен выразить чувства и мысли свои в картине, даже преодолевая боль, может прервать работу и начать снова, едва станет легче. И нечто совсем иное — песня. Начатая, она должна быть допета до конца, и никому нет дела до того, что происходит в эти минуты с певцом. Да если бы даже было дело, есть ли что-нибудь страшнее для артиста, чем горестное соболезнование? Долг певца — всегда быть в форме, лишь в искусстве имеет он право вы-

разить свою боль, страдание, горе, у него нет права на слабость или бессилие...

Он боялся заговорить о случившемся, чтобы не вызвать вновь такой же взрыв отчаяния, но подумал о клубе, о молодежи, которая так охотно собиралась послушать Купию, поучиться у нее петь. Ведь она действительно любит прежде всего самое искусство, а не себя в нем.

Кумарбек вспомнил историю одного очень талантливого пианиста, которую слышал еще в училище. Этот необычайно одаренный юноша — ему сулили блистательное будущее — пострадал в автомобильной аварии, потерял палец. Какое страшное крушение всех надежд для человека, чьи музыкальные гибкие пальцы рисовали художники, так они были прекрасны!

Нашлись и плакальщики, и сочувствующие. Все считали, что творческая судьба юноши сломлена, выхода нет. Но в нем жила музыка неистребимой любовью, и любовь эта подсказала выход. Он стал пробовать себя как дирижер. Открылись в нем и новые качества, которых он прежде в себе не знал: способность вобрать в себя одновременно звучание многих инструментов, все их слышать, всеми распорядиться... Кумарбек нежно потерся щекой о тонкую руку Купии, припомнив, с каким подъемом тонкая эта рука на маленьком, экспромтом прозвучавшем концерте в клубе дирижировала небольшим хором совхозных работниц и какие счастливые у девушек были при этом лица...

Но заговорил он о другом:

— Как, пойдем на концерт Шекер?

Купия восторгалась: она и сама рада была отвлечься.

— Конечно, пойдем! Хотя бы поздороваемся, послушаем алма-атинские новости, пригласим ее в гости, правда? Мало ли что было! Все же у нас одно общее дело...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Подойдя к клубу, они узнали, что Шекер отдыхает в комнатке за сценой. У дверей стоял сторож, никого не пускавший. Он разъяснял шепотом, что нельзя мешать отдыху певицы, уставшей с дороги, ей сегодня выступать перед народом.

Купия потянула Кумарбека за руку к служебному входу. Там беседовали несколько человек, один из них, с красной повязкой на рукаве, был хорошо знаком и с Купией, и с Кумарбеком.

— Охраняем покой знаменитой певицы,— улыбнулся он.

— Ты пропустишь нас к ней? — засмеялась Купия.

— Простите, это не в моей власти.

— А в чьей?

— Там женщина с ней приехала, нужно спросить.

— Тогда позови ее, пожалуйста. Возможно, мы ее и знаем.

Дежурный, бросив: «Только никого не впускайте. Я мигом», — побежал на поиски. Он вернулся действительно мигом, с ним была незнакомая пожилая женщина.

— Здравствуйте,— сказала Купия.— С приездом.

— Спасибо.

— Мы тоже алма-атинцы, земляки ваши.

— Я вас узнала,— мягко сказала женщина.— Вы же Купия Сулейменова.

— Да, да,— обрадовалась Купия.— Если вы нас узнали, я надеюсь, вы поможете нам встретиться с Шеркер Айдархановной?

— Мне очень неудобно перед вами. . .

— Почему?

— Простите, не обижайтесь только,— смущенно заговорила женщина.— Она отдыхает сейчас. Если я беспокою ее, вы же знаете сами. . . Она прогонит меня.

— Если прогонит, не тревожьтесь, мы вас пригласим,— пошутил Кумарбек.

— Нет, вы не поняли. Прогонит не из клуба, а с работы. Я ведь совсем недавно у нее, обидно будет потерять место.

— Ну, оставьте, неужели она такая строгая?

— И не говорите. Пусть судьба отведет ее гнев от вас.

— Но она бывает и доброй,— возразила Купия.

— Это верно. Когда в настроении — оазис, когда нет — пустыня.

— Если вы скажете про нас, она не рассердится. Ведь она вряд ли знает, что мы сейчас в этом совхозе.

— Нет, она знает.

— Откуда?
— Сказал директор совхоза.
— О, тогда она сама пожелает встретиться с нами.
— Простите, не обижайтесь,— опять сказала женщина, отводя взгляд.

— Что вы имеете в виду? — встревожилась Купия.
— Если говорить правду, она не слишком придала этому значение. Просто ответила: «Да, я этих людей знаю».

— Значит, мы не можем зайти?
— Прошу вас, не мучайте меня,— женщина выглядела глубоко удрученной.

Купия и Кумарбек вернулись обратно. Прошлись по главной улице совхозного центра. Испытанное ими чувство неловкости постепенно приобрело иной оттенок: возможно, это оправданная суровость? Во имя искусства? И они сами были не правы в своем стремлении во что бы то ни стало повидать Шекер! В самом деле, ей нужно отдохнуть.

Они вновь появились в клубе за час до начала концерта. На этот раз их встретил администратор из бригады Шекер, бросил коротко: «К ней нельзя. Гримируется» — и ушел, подчеркивая, что разговор окончен.

Этот совхозный клуб был, пожалуй, самым большим в районе зданием после Дома культуры в райцентре. Воспользовавшись близостью райцентра, многие работники совхоза слушали там концерт Шекер еще вчера. Несмотря на это, билетов всем желающим не хватило. Конечно, интересно увидеть своими глазами певицу, чей голос слышали главным образом по радио.

Концерт состоял из двух отделений. Репертуар Шекер почти не изменился. Первые песни были зрителями встречены хорошо, но постепенно хлопки становились реже, да и пела Шекер без особого подъема, уходила надолго, и тогда на сцене оставались одни музыканты. Хотя исполняли они вещи, нравившиеся слушателям, отсутствие певицы вызывало досадливое чувство. Кто-то в зале даже озорно свистнул.

«Устала, наверно, бедная,— подумала Купия.— Легко ли петь после долгой езды на машине в такую жару!»

Шекер, видно, тоже ощутила холодок, возникший между ней и зрителями. Улыбка ее показалась Купии

насильственной, надменный взгляд говорил о скрытой ярости.

Наконец концерт, длившийся около двух часов, был окончен. Высыпавшие из клуба люди делились своими впечатлениями.

— Ну как, понравилась тебе столичная певица?

— Н-не знаю. А вот платье на ней красивое.

— Да, блестящее, все переливается.

— А ты заметила, оно еще обрамлено дорогими камешками, они прямо вспыхивают и цвет меняют, когда она поворачивается!

— Во втором отделении платье было не хуже!

Купия, готовая уже осудить в душе легкомысленных слушателей, вынесших из концерта лишь подобные впечатления, неожиданно услышала и совсем иное:

— Нет, что-то не особенно. . . Конечно, держится она свободно, смело, но голос у нашей Салимы лучше. Вспомните, как она пела на концерте самодеятельности!

— Ну, ты уж скажешь. Пела, как все поют.

— Так ведь она всего первый раз выступила, а если б ее поучить!

И вот уже новые люди, новые реплики:

— Здорово она глазами играет, прямо зовет за собой!

— Не знаю, как другие, а я бы за такой сломя голову ринулся!

— Вот, вот, чем бездельничать попусту, торопись хватиться за такую красавицу, если позовет.

— Где я найду такую?

— Найдешь. Работать ты не мастак, а в остальном — султан среди джигитов.

Кумарбек и Купия, поджидавшие Шекер возле клуба, невольно оказались свидетелями всех этих разговоров.

Шекер вышла, когда уже никого не осталось у клуба, и направилась к поджидавшей ее машине, не замечая Кумарбека и Купии. Они догнали ее, поздоровались.

— О, здравствуйте, здравствуйте. . .

— Я слышала, что вы здесь, — сказала Шекер с натянутой улыбкой. — Но, занятая концертом, признаться, забыла обо всем. Вы тут на отдыхе, а мы на работе. Поэтому не обижайтесь.

— Нет, нет, что вы. Если есть время, идемте к нам.

— Извините, не могу. Завтра, чуть свет, отправляемся в другой район. Надо отдохнуть. А вы сами когда собираетесь в Алма-Ату?

— Думаем, примерно через неделю.

— Значит, почти одновременно. Встретимся там.

— Там — совсем другое дело. Уделите нам тут немного времени,— едва слышно проговорил Кумарбек.

— У меня нет такой возможности! — голос Шекер прозвучал жестко.

— Хотя бы расскажите немного про алма-атинские новости,— попросила Купия.— Что в театре? Улан, оказывается, закончил новую оперу. Когда она ставится?

— Приступим к постановке после моего приезда,— эти слова Шекер произнесла с неприкрытым удовольствием.

По ее тону Купия поняла, что главную партию в опере Улана будет исполнять именно она. И вновь Купией овладело чувство тоскливой тревоги. Она заговорила, как бы пытаясь излить Шекер свою боль:

— Много я потеряла, когда поехала в аул! Если я вернусь в ближайшее время, как вы думаете, мне достанется роль в новой опере? Я была бы вам благодарна, если бы исполняла вашу партию во втором или даже в третьем составе. . .

— Что? — спросила Шекер, точно не расслышала сказанного.— Что вы хотите? Я не совсем понимаю. . . Ведь вы освобождены от работы в театре.

— Почему? — резко спросила Купия.

— У нас было недавно сокращение штатов. Ваша приятельница Зода вынуждена была уйти на пенсию, что поделывать!

— Но в чем моя вина? У меня отпуск за свой счет по состоянию здоровья.

— Местком не имеет права позволять людям гулять годами в отпуске. Это было общее решение месткома. И есть еще одна причина. . . Ты вот сейчас упомянула о здоровье,— Шекер перешла на «ты», заговорила интимнее,— так скажи нам спасибо за мягкое решение. Тебя бы судить надо.

— Что я натворила такого?

— Ты нашла способы скрыть, что болеешь открытой

формой туберкулеза. Понимаешь ли, чему ты подвергала своих товарищей, когда вместе с ними выходила на сцену, какой опасности?

— Кто вам сказал? Это ложь! У меня чистые легкие, только сердце неважное. Болезнь опасная для меня, не для других. И неужели я сама выпросила ее у судьбы! — Купия расплакалась.

— Ну, в этом ты обманывай своего художника. Мне скажи спасибо, что я замяла вопрос, посоветовала тебя не дергать. Лечи на воздухе свою чахотку! Сцену тебе вряд ли суждено увидеть.

Гордо повернувшись на каблуках, Шекер подошла к машине, откуда круглыми, изумленными глазами на них смотрел водитель, очевидно слышавший весь разговор.

Если человек надолго покидает обжитой дом и ставший родным город, он с чувством особой, родственной близости встречает каждого, кто приезжает оттуда. Подобное чувство привело Купию с Кумарбеком к Шекер. Они не сомневались, что и Шекер встретит их так же. И вот теперь они возвращались домой глубоко угнетенные, раскаиваясь, что так настойчиво искали встречи.

Кумарбек вновь и вновь мыслями возвращался к будущему Купии.

Он понимал: Шекер нанесла такой удар, что любой разговор сейчас покажется бестактным, жалкой попыткой просто утешить.

— Какая она все же черствая! — произнес он с неприязнью.

— Нет, нет, — живо отозвалась Купия, подавив вздох. — При всей ее резкости, боюсь, она говорила правду.

— В чем же?

— Знаешь, Кумарбек, — прошептала Купия, — в ее словах была страшная правда. Боюсь, что я и в самом деле не смогу больше выйти на сцену театра, — голос Купии дрожал, в лице не было ни кровинки.

— Ну что ты говоришь! — сказал Кумарбек, стараясь успокоить ее. — Мы еще десятки раз это обсудим...

— Что именно? — В голосе Купии прозвучала неожиданная отчужденность. — Что мы обсудим? Душевное состояние отставной певицы?

— Перестань! — Кумарбек взял ее за плечи, повер-

нул к себе лицом.— Пока человек жив, он обязан бороться. Искусство многогранно. . .

Купия безнадежно покачала головой.

Она не готова была к разговору о переменах в своей судьбе, но еще больше пугало Кумарбека другое: в этой безнадежности угадывалось безвольное принятие страдания. Слишком неожиданно и жестоко был нанесен удар, в минуту полной незащищенности.

Дома Кумарбек всячески пытался развлечь Купию, рассказывал веселые истории про Ходжинасыра. Обычно Купия, слушая их, смеялась от души, но на этот раз она ответила полным безразличием. С ужасом он чувствовал, что она уходит от него, как бы отгораживается незримой преградой. . .

— Давай спать,— сказала она апатично.— Если ты не против, я гашу свет.

— Ты спишь? — тихо спросил он через несколько минут. Купия не ответила, но по дыханию он угадывал, что она не спит.

Оба они не сомкнули глаз до утра. . .

* * *

Дальнейшее вспоминалось, как долгий, мучительный, бессвязный кошмар.

Были поспешные сборы в Алма-Ату, совсем ненужные. Купия твердила, что должна познакомиться с новой оперой Улана, должна во что бы то ни стало повидать Мубаш.

Она то повторяла, что добьется роли в этой новой опере, заставит администрацию восстановить ее на работе, то вовсе падала духом, не слышала, когда к ней обращались.

Когда однажды зачем-то зашел Мулик, она скрылась в соседней комнате, так и не вышла до конца вечера.

Кумарбек с глубокой душевной болью улавливал все переходы в ее настроении. Она не могла оправиться от перенесенного унижения. Скажи ей Шекер все то же самое, будь даже правдой самые жестокие ее слова, но если бы не было этого злого, ликующего торжества, этого стремления ранить — и Купия перенесла бы неприятный разговор иначе.

Они торопливо собрались, выехали. Последняя неделя запомнилась днями без минуты отдыха, ночами — без минуты покоя и сна. Только боль. Длительная, непрерывная боль.

А в дороге — машина «скорой помощи», запах лекарств, больничные стены.

И в палате — Купия. . .

Смертельно бледное лицо, беспомощно раскинутые руки среди сбившихся измятых простыней. Подстреленный лебедь, которому уже никогда не взлететь. . .

ЭПИЛОГ

Дом отдыха, куда Кумарбек приехал в конце мая, был расположен и в городе и не в городе: у подножия гор, вдали от шумных шоссежных дорог.

И в то же время отсюда, из отдаления, особенно широко и полно открывалась весенняя столица в своей неповторимо яркой, заново расцветающей красоте. Устремленные ввысь многоэтажные здания, зазеленевшие тополя и дубы, заманчивая прохлада аллей, фонтаны, млечным путем взметнувшие к небу водяные струи, река, похожая на живое существо, стремительное, увлеченное игрой солнечных бликов,— не хотелось отрывать глаз от этой прекрасной картины.

Человек, погруженный в работу, не всегда ощущает усталость.

На Кумарбека тяжелая усталость свалилась как-то сразу, едва он позволил себе расслабиться, подумать об отдыхе.

Как стремительно, будто спрессовавшись воедино, прокатились эти годы! Безвременная потеря Купии надломилась силы молодого джигита. Стремясь забыть, он бросался от одного дела к другому, работал порой до изнеможения. Глухая тоска наваливалась на него, едва он возвращался мыслями к прошлому, и он старался не думать, не вспоминать. Он был в непрерывном движении — поступил в Ленинградскую Академию художеств, объездил все окрестности Ленинграда и рисовал, рисовал... Несколько раз совершил поездки по стране, побывал на больших стройках, выезжал туристом в Италию, где, казалось, самые камни хранили следы прикосновений великих мастеров прошлого. Зарисовки, этюды — ко всему этому предстояло еще вернуться. Многие зарисовки напоминали наспех записанную мысль, еще не до конца ясную самому автору, но тем не менее существенную, раскрывающую его взгляды на жизнь.

И лишь по возвращении из Ленинграда в Алма-Ату он вдруг ощутил необходимость остановиться, передохнуть, оглядеть сделанное за эти месяцы и годы. Ведь у него даже не доставало сил порадоваться своим удачам, а они были,— просто, завершив одну картину, он спешил начать следующую: он инстинктивно опасался минут радостного отдохновения, какие обычно дарит

успешно законченная работа. Знал, что в эти минуты особенно остро и болезненно ощутит потерю свою и свое одиночество. Истинная радость, подобно истинному горю, нуждается в поддержке родственной души.

Он задержался в Алма-Ате лишь ненадолго — здесь одиночество смотрело на него из всех углов, подстерегало на знакомых улицах; побывал в Союзе художников, договорился о дальнейшей работе и уехал в дом отдыха «Алатау».

Неожиданная встреча произошла в первый же день. Едва Кумарбек положил свои вещи и вышел на воздух, как внимание его привлек полный человек средних лет, выходящий из машины. Когда человек неторопливой походкой двинулся к дому, Кумарбек увидел на его груди значок депутата Верховного Совета и Золотую Звезду Героя. Неужто Акжан?

— О, это ты, Кумарбек? Тоже решил немного отдохнуть? Давно приехал? — воскликнул Акжан, раскрывая объятия.

Трудно передать чувство, с каким Кумарбек припал к его груди. Другьям не нужны были слова. Обнимая Кумарбека, Акжан, казалось, безмолвно почувствовал все, что можно было бы выразить словами. И когда он ободряюще потряс Кумарбека за плечи, в этом было и сочувствие, и призыв быть сильным, помнить о долге своем перед людьми и перед самим собой.

Слова же были просты до обыденности:

— Так, так, Кумарбек... Я спрашиваю, давно ли приехал?

— Только что. А вы?

— Мне-то дней пять только и осталось. Как твоя академия? Окончил?

— Спасибо, окончил. С горем пополам. Нелегко было опять ощутить себя студентом. Вы простите, что я редко писал. Зато я про вас все знаю — из газет. И наши туда выписывал. Знаю, что вы теперь — первый секретарь обкома партии. И когда вас в Верховный Совет выбирали, мысленно за вас голосовал. И Звезде Героя порадовался...

— Благодарю, Кумарбек, я получал твои поздравления. Но ты о себе расскажи. Каковы твои планы?

— Попробую заново обживать свой дом. Большого

пока сказать не могу, сам не знаю, как все сложится. А что у вас в ауле? Извините, в области?

— Как в области, так же и в ауле,— улыбнулся Акжан смущению Кумарбека.— Трудностей хватает. Воды в реке мало, весна была не слишком удачной... Таково начало моей новой работы. Кажется, совсем пал бы духом, если бы не люди. Посевная прошла хорошо, поголовье скота выросло. И все-таки итоги ясны будут только осенью.

«Пал бы духом, если бы не люди...»

Акжан произнес эти слова, а Кумарбек вглядывался в его обветренное лицо с твердыми скулами и невольно подумал, что собеседник его и сам — один из этих людей, что и дружат, и нередко вступают в поединок с природой, а вернее — с ее страданиями, скудостью, болью. И смысл поединка в том, чтобы защитить, а не отнять.

Акжан вдруг спохватился:

— Нет, так не годится! Что это мы стоим, как будто вот-вот расстаться собираемся? Пойдем поговорим у меня.

Дежурная, отдавая Акжану ключ от комнаты, предупредила:

— Вас тут спрашивали какие-то люди, сказали, скоро вернутся.

И действительно, не успели Акжан и Кумарбек войти в комнату и присесть, как в дверь постучали. Грузноватый Акжан легко поднялся, отворил дверь. «Приветствую, приветствую, дорогой Акжан!» — услышал Кумарбек знакомый хриловатый голос.

— А, Кенжегул, здравствуй! Проходи, еще одним гостем будешь,— радушно произнес Акжан.

В проеме двери показался кругленький животик, затем в комнату вкатился, как бильярдный шар, такой же кругленький самоуверенный Кенжегул.

— Присаживайся,— пригласил Акжан, но в эту минуту его отвлек телефонный звонок.

— О Кумарбек, рад тебя видеть, какими судьбами? — засуетился Кенжегул, увидев Кумарбека. Схватил его за руку, потряс. Ни тени смущения не появилось на круглом лоснящемся лице — напротив, оно выражало лишь восторженную радость по поводу такой приятной неожиданной встречи. Внутренне укоряя самого се-

бя, Кумарбек не мог не ответить приветливой улыбкой. Почему? Можно ли поверить, что человек этот стал иным и больше не несет зла другим людям?

Кенжегул раскрыл свой объемистый портфель, стал выкладывать на стол привезенные гостинцы, с родственной приветливостью покачал головой в ответ на испуганный жест Акжана, все еще говорившего по телефону.

Положив трубку, Акжан поторопился достать из холодильника свои припасы, вышел заказать чай.

Но Кенжегул сидел как на иголках, то и дело нетерпеливо поглядывал на Кумарбека. Было ясно, что привело его сюда какое-то очередное хитрое дело. Наконец он не выдержал, поднялся:

— Акжан Жунусович, простите, меня ждут. Разрешите заскочить к вам завтра?

— Заходи, конечно.

Кажется, Кенжегул надеялся, что Акжан выйдет вместе с ним,— слишком уж явное разочарование читалось на его лице, когда Акжан проводил его только до двери. Он повторил с нажимом:

— Значит, до завтра, Акжан Жунусович!

— Заходи, заходи,— в голосе Акжана не прозвучало доброжелательности.— Вот гостинцы свои зря ты выложил, я ведь все равно скоро уезжаю.

— Ну что вы говорите! А Кумарбек? Мы же с ним — родные люди. . .

На этот раз Кумарбек не сумел выдавить даже подобия улыбки. Акжан глянул на него мельком и усмехнулся. Кумарбек ощутил с благодарностью, что он все понял, да и цену Кенжегулу наверняка давно знает. С хитрецей крестьянина и вместе — с дипломатичностью человека государственного он как бы воздвиг незримую грань, за которую Кенжегул не решался перешагнуть: потоптался на пороге, произнес еще раз на всякий случай:

— Так, значит, завтра. . .

И досадливо покосился на Кумарбека. Кенжегул привык добиваться своего с наскока, не давая собеседнику времени для размышлений. На этот раз присутствие Кумарбека явно портило ему игру. . . Впрочем, только ли это?

Кумарбек ощутил прилив горячей нежности к Акжа-

ну. «Большому кораблю — большое плавание!» — подумал он с гордостью.

Но одновременно с этой мыслью возникло неясное чувство тревоги: да, большой корабль при мелководье сядет на мель. И хорошему аргамаку нужна открытая, широкая степь, чтобы скакать в полную силу, но иногда достаточно случайного камня, чтобы он рухнул на всем скаку... Акжан — сильный человек, он многое перевидал в жизни, многое испытал. Жизнь его полна борьбы и схваток — не ради себя, во имя общих дел.

Однако не может ли случиться так, что и сильный человек вдруг не заметит коварного камня на пути, подложенного недоброй рукой? И всегда ли он, уже поднявшийся высоко, сумеет разглядеть вовремя недобрую руку? .

На следующее утро Акжан опять уехал куда-то по делам — не слишком-то умел отдыхать этот руководитель, хотя, судя по его словам, был убежден, будто по-настоящему отдыхает. А Кумарбек вновь возвращался к мыслям о живучести коварства и зла, нередко подстерегающего людей там, где они менее всего об этом думают, беспечно уверенные в самих себе. Он убедился в этом на собственном горьком опыте, и последние годы, по сути, были для него бегством от воспоминаний... Имел ли он на это право? А если бы даже имел — разве он способен забыть все, чем одарила и что отняла у него судьба? И тоже — не ради себя, во имя других...

Кумарбек стоял у окна. Утренние теплые лучи радужными переливами окрасили чисто промытые стекла.

И в этом многоцветном ореоле неожиданно выросла тонкая женская фигура, такая до боли знакомая... Кто это? Неужели возможно подобное сходство?

Кумарбек стремительно бросился к двери, сбежал по широким каменным ступеням... Женщина шагнула ему навстречу:

— Кумарбек!

— Акбокен?

Голоса прозвучали одновременно. Конечно же это Акбокен. Молодая, счастливая мать с ребенком в парке... Врач, выходявшая его с материнской нежностью и заботливостью... Когда-то его уже поразило это необычное сходство, но при первой встрече оно лишь напомнило с особой силой о Купии, а в больнице, в боль-

ничной палате все было словно в тумане,— он и верил, и не верил самому себе. Казалось, он просто преувеличивает, мучимый тоской и горем.

И вот теперь она стояла перед ним, хрупкая, похудевшая. После первых восклицаний они оба не сразу нашли слова, чтобы заговорить. За краткими мгновениями зыбкой, мнимой близости собралось слишком многое, разделявшее их.

— О Акбокен,— выговорил наконец Кумарбек.— Где вы? Как ваши дела?

Она потупилась, ответила торопливо, будто хотела помешать излишним вопросам:

— Заканчиваю диссертацию в медицинском. . .

— Когда защита?

— Осенью.

— Поздравляю, я рад,— сказал Кумарбек, пожмая руку Акбокена, вялую, внезапно похолодевшую руку.

— Вот, стану на старости лет ученым,— пошутила она грустно.

— О какой старости вы говорите? Вам еще и тридцати нет, у вас все впереди, Акбокен! — взволнованно возразил Кумарбек.

Акбокен пожала плечами, и вновь наступило молчание, тягостное, скорбное, когда двое все понимают, но им нечего сказать друг другу.

Молчание прервала Акбокен:

— Я искала вас, Кумарбек, пыталась узнать, где вы. . . Видела последнюю вашу картину «Мечты певицы». . .

По ее требовательному вопросительному взгляду Кумарбек понял, что она хотела бы услышать от него слова о поразительном ее сходстве с той, чье лицо она увидела на полотне. Вместо ответа он спросил:

— Ну, а как все остальное? Как сын?

Акбокен отвернулась. В глазах ее стояли слезы.

— Я здесь одна,— сказала она тихо, и Кумарбек почувствовал, как уязвлена эта милая женщина, несомненно желавшая встречи с ним, официальной холодностью его вопроса. И это было еще тягостнее молчания.

— Простите, Акбокен,— произнес он с проникновенной мягкостью,— я пойду пройдусь немного. . .

Она молча кивнула.

Кумарбек ступил на узкую тропу, ведущую в горы. Под ослепительно чистым небом он торопливо шагал, стараясь не соскользнуть подошвами с каменистых уступов.

Купия... Он написал ее такой, какой была она там, в степном ауле, на берегу реки. Стройное деревце, надломленное у самого корня. Отчего так получилось? И кто повинен в случившемся? Может быть, человек слишком хрупок? Не обязательно даже стремиться сломить его — порой достаточно лишь перестать оберегать...

Погруженный в свои мысли, шагал он по тропе, уходившей к седым отрогам Алатау. Путь становился все круче, идти с каждым шагом становилось труднее, но он не ощущал усталости...

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЛОГ	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	8
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	122
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	205
ЭПИЛОГ	272

Сабит Аймуханович Досанов

ГОРНАЯ ДОРОГА

М., «Советский писатель», 1981, 280 стр.

План выпуска 1981 г. № 253.

Редактор Н. И. Голосовская.

Худож. редактор Е. М. Дробязин.

Техн. редактор Е. Ф. Шареева.

Корректор Ф. Н. Аврунина.

ИБ № 2366

Сдано в набор 6.07.81. Подписано к печати 5.12.81. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ.
л. 14,70. Уч.-изд. л. 15,05. Тираж 30 000 экз. Заказ № 570. Цена 1 р. 10 к.
Издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11.
Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград,
центр, Красная ул., 1/3.